



ЮРИЙ КЛАРОВ  
ПЕЧАТЬ  
И КОЛОКОЛ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
КАЗАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА







БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

ЮРИИ КЛАРОВ

# ПЕЧАТЬ И КОЛОКОЛ

РАССКАЗЫ  
СТАРОГО АНТИКВАРА



МОСКВА ~ 1981

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



Рассматривая в музее старинные шкатулки, причудливые бронзовые часы или украшенный паутиной золотого узора боевой шлем, вы не только любуетесь красотой и восхищаетесь искусством создателей этих уникальных вещей. В вашей голове невольно возникает мысль: кому, например, принадлежала вон та сабля, инкрустированная костью, или стоящий рядом с ней кубок, свидетелями и участниками каких событий они были?

На подобные вопросы и пытается ответить, дополняя факты фантазией, а фантазию — фактами, главный герой книги Юрия Кларова «Печать и колокол» старый искусствовед Василий Петрович Белов. Читатель узнает о приключениях золотого пояса Дмитрия Донского, о той роли, какую сыграла в исторических событиях печать Лжедмитрия Первого, и о многом другом.

Оформление А. АНТОНОВА

Кларов Ю. М.

K47 Печать и колокол (Рассказы старого антиквара): Историко-приключенческие новеллы/ Оформление А. Антонова. — М.: Дет. лит., 1981. — 240 с., ил. (Библиотека приключений и научной фантастики).

В пер.: 65 к.

Историко-приключенческая книга, состоящая из пяти новелл, объединенных общим героем — старым антикваром, который рассказывает о нескольких знаменитых антикварных вещах. Судьбы этих вещей связаны с судьбами мастеров, их создавших, или с жизнью их владельцев, что позволяет автору обращаться к значительным историческим событиям.

70803—240  
К М101(03)81 459—81

P2.

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г



## ПЕЧАТЬ И КОЛОКОЛ

Со старым искусствоведом Василием Петровичем Беловым я познакомился вскоре после окончания Великой Отечественной войны, когда переживал увлечение историей. Вот тогда-то я и заинтересовался этой печатью, которая была не только свидетельницей, но и участницей исторических событий...

\* \* \*

Старая книга, замусоленные страницы которой медленно переворачивал Василий Петрович, пахла пылью, клеем и тысячелетиями. Изданная в XIX веке в Германии, она носила непривычное название: «Очерки по сфрагистике»<sup>1</sup>.

Здесь были рисунки печатей вельмож Вавилона и Египта — цилиндры и священные жуки скарабеи, печати-перстни древних греков, финикийцев, римлян, индусов, персов.

Топорщит неуклюжие крылья сфинкс с когтистыми лапами льва, туловищем собаки и головой женщины. Это перстневая печать первого римского императора, племянника Юлия Цезаря, блестящего Августа. В честь этого императора назван последний месяц лета. С его именем связаны смерть легендарной Клеопатры и покоренного ее чарами храброго Антония, завоевание Испании и превращение Рима в мраморный город.

Равнодушно смотрит на меня глазами без зрачков вырезанный на аметисте Аполлон. Он со своей неизменной лирой, его окружают музы. Бывший владелец этой печати — царь Пирр, от имени которого произошло всем известное выражение «пиррова победа»...

Шуршат страницы. Это Василий Петрович перелистывает столетия мировой истории.

Печати времен Юлия Цезаря и Александра Македонского, Ричарда Львиное Сердце и Филиппа Красивого.

Круглые, овальные, односторонние, двойные; висящие на шнурах и приклеенные к пергаменту.

Печати черного, желтого, коричневого и красного воска.

Свинцовые, серебряные, оловянные, золотые...

Еще десяток страниц — и мы в Древней Руси.

На первых русских печатях — Юпитеры, Зевсы, Посейдоны. Они были выменены на воск и меха или захвачены во время битв. Но трофейные языческие божества постепенно отступают под натиском воинственного архангела Михаила и христианских святых, которые делят свое почетное место с хищными зверями и птицами, особенно с византийскими орлами, прилетевшими сюда напрямик из Царьграда.

Памятка о Великом Новгороде — печать с изображе-

<sup>1</sup> Сфрагистика — историческая вспомогательная дисциплина, изучающая печати.

нием странного животного с лошадиной головой и львиными лапами.

Псковский барс, окруженный буквами гордой надписи: «Печать господарства Псковского»...

Шестнадцатый век... Печати Иоанна Грозного, царя Федора Иоанновича, Бориса Годунова... Бесшабашная печать Малороссийского казачьего войска: дюжий детина в лихо заломленной шапке, с пищалью и пороховым рогом у пояса.

Василий Петрович переворачивает еще одну страницу:

— А вот и она.

Я вглядываюсь в рисунок.

По ободу большой круглой печати, в центре которой под крестом и державой высоко поднял крылья трижды коронованный двуглавый орел, — надпись: «Пресветлейший и непобедимейший монарх Димитрий Иоаннович, Божию милостию Император и Великий князь всея России и всех татарских царств и иных многих государств Московской монархии подвластных государь и царь».

— Печать Лжедмитрия?

— Она самая. Печать Лжедмитрия Первого. Ее поучительную биографию я вам и хочу рассказать.

\* \* \*

Тревожно гудел колокол над Угличем.

Мокрый от пота, с растрепанной сивой бороденкой и выкаченными от ужаса белесыми глазами пономарь не жалел сил. Он уже не мог кричать, из его горла вырывались лишь хриплые звуки — то ли приглушенный шумом леса лай лисицы, то ли скрип ржавого флюгера на шпигеле дворца. Пономарь сорвал голос. Но вместо него кричал во все свое медное двадцатипудовое горло церковный колокол.

«У-бит-у-бит-у-бит!» — надрывался набат, разнося страшную весть.

Гул бился в окна, врвался в уши, перекатываясь через двойные стены крепости из тесаных сосновых бревен, заполнял раскинувшуюся за рвом Стрелецкую слободу, плыл, пугая рыбаков, над Волгой.

«Сю-да-сю-да-сю-да! Бе-ги-бе-ги-бе-ги!» — звал колокол.

И люди, бросая все, бежали на его зов. В их руках были колья, камни, вилы, топоры.



— Зарезали надежу нашу, царевича — ясно солнышко! Битяговские зарезали! — кричал, стоя на четвереньках и бренча веригами, юродивый Никульша на паперти Преображенского собора

Смяв двух стрельцов, толпа выломала ворота и, давя друг друга, мгновенно заполнила дворцовый двор.

— Где Мишка Битяговский? Ищи Мишку!

«Бей-бей-бей-бей!» — настойчиво требовал колокол.

И густой от ненависти и дыхания сотен людей воздух пронзил тонкий, как игла, бабий вопль. Это вскрикнула, захлебнувшись слезами, мамка царевича Василиса Волохова, когда ее сына Осипа вытащили из царевичевой мыленки, где он спрятался за ворохом веников, и спихнули с крыльца на выставленные вилы.

Был Осип, и нет Осипа — искололи, изрубили, истоптали...

— Чего вопишь, дура? — весело крикнул пьяный от крови стрелец в кафтане нараспашку. — По царевичу убиенному али по вору сыну? Ежели по сыну... — Стрелец ловко, одним ударом сабли, отрубил растоптанному Волохову голову, схватил ее за волосы, подбросил мячиком вверх, поймал и кинул на колени привалившейся спиной к ступеням крыльца матери. — Н-а, утешься!

«Та-ак-та-ак-та-ак!» — ликующе гремел колокол. — Бей-бей-бей!»

Вслед за Волоховым растерзали сына правителя земских дел в Угличе Данилу Битяговского да Никиту Качалова. А затем пришла очередь и Михаила Битяговского, который сам пришел на дворцовый двор урезонивать толпу

«Бей!» — взревел колокол, и в Битяговского полетели камни.

На крыльце дворца стояла, поддерживаемая под локоток своим братом Михаилом Федоровичем вдовствующая царица Мария Федоровна Нагая.

— Оборони, матушка, не дай в обиду! — кинулся к ней в ноги Битяговский.

Но царица молчала. И понял Битяговский — смерть.

«Смерть!» — подтвердил колокол.

Битяговский не успел встать с коленей: его опрокинули, сбросили с крыльца, поволокли...

Колокол умолк. В Углич вновь вернулась тишина.

Обессиленный пономарь вытер рукавом пот со лба и дрожащими от усталости руками огладил бородавку.

Сел он на бревенчатый настил, прикрыл глаза — то ли задремал, то ли задумался. Так просидел он час, а может, больше. Затем тряхнул головой, открыл глаза, огляделся.

Легкий ветерок из-за покрытых сосняком холмов пах смолой и весенней прелью. Голубело небо в кружеве белых облаков. Золотой запоной на боярском опашне сияло до блеска начищенное руками ангелов солнце.

Глянул пономарь с колокольни вниз — и не поверил глазам своим. На дворцовом дворе была обычная будничная суета, словно ничего и не произошло. Ловкие холопы в холщовых рубашках враспояску разгружали воз с битой птицей, тявкили почуявшие мясо собаки на псарне, прошла, высоко неся голову в шитом жемчугом тяжелом уборе, боярышня в зеленом шелковом летнике и сафьяновых полусапожках на высоких каблуках.

Ни толпы, ни растоптанных трупов, ни отрубленной головы Оськи Волохова на коленях Василисы... Двор чисто убран, присыпан речным песком.

Уж не привиделись ли ему убиенный царевич, окровавленные Осип Волохов, Никита Качалов, Данила Битяговский, ревущая толпа и набатный гул вот этого колокола?

Господь-то ведает. Ему, вездесущему, и разбираться...

Но разбираться в происшедшем привелось не господу, а прибывшим в Углич по повелению великого государя боярину и князю Василию Шуйскому да окольным Андрею Клешнину. Впрочем, особо разбираться им было ни к чему. Клешнин во всем полагался на князя. А хитрый и осторожный Шуйский принял решение еще в Москве. Верны ли слухи, будто царевича убили люди Годунова, нет ли, а он, Шуйский, гнева Бориса ничем не вызовет, не ему становиться поперек дороги всесильному Годунову. Не время.

Но истину князь был узнать не прочь. Истина могла стать камнем за пазухой против того же Бориса. Кто знает, как дело со временем повернется, кто под кого через год-другой подкорячиваться будет. Может, он под Бориса, а может, и Борис под него...

Опрошенные оговаривали пономаря. Видел-де он, как царевича убивали, и криком своим народ в смущение привел. Он же в набат ударил. Первый заводчик всей смуты.

Пономаря привели к Шуйскому в приемные покои царевичева дворца под вечер.

Никогда здесь ранее пономарь не был. Огляделся —

и оробел. Красота кругом дивная, будто в сказку попал. Свечи красного воска в шандалах да канделябрах. На стенах парсуны. В свинцовых решетчатых переплетах окон — прозрачная, как родниковая вода, слюда, изукрашенная диковинными картинками. Вдоль стен — лавки на витых золоченых столбиках. В красном углу под образами — дубовый восьмигранный стол, крытый голубым тонким сукном.

Но еще больше оробел он от вида сидящего перед ним на столице князя.

Истинно князь! Алого цвета ферязь с собольим подбоем и самоцветами вместо пуговиц. Под ферязью — кафтан серебряной парчи с воротником, расшитым шелками да золотом, на пальцах — перстни, а глаза под кустистыми бровями так и сверлят, так и буравят. И вышибли эти страшные глаза из головы бедного пономаря все, что он видел, знал и помнил. Загудела голова набатным колоколом. Попробуй разберись тут, что было, а что небыль, что самолично видел, а что от сновидений да от людских пересудов пришло. И, как тогда на колокольне, вновь стал пономарь мокрым от пота.

Не оставь, господи! Помоги, господи, рабу твоему!

Немая языком под студеным взглядом грозного князя, пономарь отвечал на вопросы сбивчиво и бестолково.

Доподлинно ли Битяговский со товарищи зарезали царевича? Неведомо то пономарю. Что неведомо, то неведомо... Пошто ж в набат ударил? А как не ударить, когда над царевичем смертоубийство свершили? Выходит, видел, как царевича зарезали? Вроде видел. А не померещилось ли с похмелья? Может, и померещилось... А коли померещилось, то пошто он, вор, супротив великого государя воровал, народ смущал? Того пономарь не ведает... Видать, дьявол попутал.

«И на голову слаб, и умом грабленный», — определил Шуйский, допрашивая пономаря, но от пытки все же не отказался.

Однако ничего толкового пономарь не сказал и под пыткой. А когда его стали горящими вениками охаживать, то он лишь кричал дурным голосом, а затем телом обмяк и глаза под лоб закатил.

Его облили водой, немчина лекарь смазал ожоги целебной мазью. Затем подвесили его за ноги вниз головой над костром. Вконец про все забыл пономарь: и про небо, и про золотое солнце, и про грозного князя со

студеным взглядом. Обезумел пономарь от нечеловеческих мук. Завыл он, извиваясь над костром, и закричал нечеловеческим голосом, что вместо царевича другого зарезали, что спрятали царевича люди добрые.

Жив Димитрий! Жив! И вступится Димитрий за всех сирых и убогих, что такую муку за него приняли, и перевешает он всех бояр да князей, а князя и боярина Шуйского, душегуба проклятого, за ноги над горящими угольями подвесит и прикажет ему ребра калеными щипцами ломать...

Такое несусветное кричал бедолага, что подъячий и записывать перестал.

Хмыкнул князь в бороду и приказал палачу еще угольев подложить. Только опоздал князь: ничего он уже пономарю сделать не мог — ни доброго, ни дурного... Преставился пономарь.

Так несчастным перед смертью было брошено семя, которое попало в благодатную, взрыхленную народным горем почву. Скоро из этого семени вырастет предание о печати, оттиск которой мы с Василием Петровичем рассматривали в старой немецкой книге, о чудесном спасении царевича от козней Бориса Годунова, о Марии Федоровне Нагой и о мастере на все руки Прокопе Колченогом...

Между тем князь Шуйский и окольный Андрей Клешнин отбыли в Москву, где Шуйский доложил великому государю об угличском деле. Заключение его было таким, какое требовалось Борису Годунову. Так, дескать, и так. В тычку ножом царевич играл, а тут, как на грех, случись с ним припадок падучей. Он-то в беспамятстве на нож и пал... Недосмотрела царица.

И обрушились на Углич царская немилость, а того страшней — гнев Годунова. Начались казни. Кого колесовали, кому голову отрубили, кого четвертовали, кого повесили. Мать царевича Марию Федоровну Нагую «за недосмотрение за сыном и убийство невинных Битяговских со товарищи» отправили в монастырь. Ее брата, дядю царевича, заключили в темницу. У мятежного же колокола вырвал палач медный дерзкий язык, коим тот колокол призывал народ к мятежу. А затем поставили колокол на телегу, надели на него позорный рогожный балахон и повезли под крепкой стражей в Сибирь, в ссылку. Туда же, в Сибирь, сослали и многих других участников смуты.

Покатались по большаку в никому не известный Пелым сотни телег со скудными пожитками ссыльных, с их мало-



летними детьми, женами и родителями-стариками. А вслед за телегами покатылся по убогим деревушкам, селам и городкам слух о чудесном спасении светлого лицом отрока, заступника сирых и убогих, царевича Димитрия Иоанновича.

На ночевках в незнакомых селениях при свете лучин рассказывали ссыльные шепотом о том, как после казни, что свершили богоотступники над святым колоколом, привели царицены слуги во дворец, в терем Марии Федоровны, мастера и умельца из Стрелецкой слободы Прокопа Колченогого.

Тайно то, понятно, было. Но от народа разве что утаишь? Предстал Прокоп пред ясные очи царицы и, как положено, в ноги ей бухнулся. Как пал, так и лежит себе на брюхе, не встает. Тут сомнение Марию Федоровну взяло. Спрашивает ласково: «Ты чего, Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы, лежишь на брюхе да не встаешь? Захворал, поди?» — «Не от хворости, всемилостивейшая матушка-царица, единственная нога меня не держит и в тряскости пребывает, а от испуга», — отвечает ей Прокоп. Улыбнулась ему милостиво Мария Федоровна и молвит: «Чего ж ты испужался, Прокоп?» — «А вот чего», — говорит Прокоп и указывает на язык сказненного колокола, а язык тот подле царицы как есть лежит, у самых ее ножек. «Этого, Прокоп, не боись», — говорит ему Мария Федоровна. — Сего святотатства надлежит не тебе, а Бориске Годуну да Ваське Шуйскому убояться. Держать им ответ перед богом за все их деяния мерзопакостные, противные божеским и царским установлениям. А тебе, моему верному слуге, надлежит из сей меди святой, что за моего сынка любимого вступилась да Битяговских за злоумышление покарала, две печати для Димитрия Иоанновича вырезать...» Тут Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы вроде бы в беспамятство впал. Кричит дурным голосом: «Матушка, да как же я, раб твой, печати буду резать для Димитрия Иоанновича, ежели убиенный он?! Зарезали злодеи Димитрия Иоанновича, мир праху его...» А царица Мария Федоровна смеется себе, будто серебряным колокольчиком вызванивает. «Седой ты, — говорит, — Прокоп, старый, а разума у тебя, что у дитяти малого. Неуж, — говорит, — я б допустила, чтоб нашу надежду, царевича лучезарного, Борискины холуи извели? Случись такое, сама б на себя руки наложила. Нет, не допустил греха господь. Потому и смеюсь на слова твои глупые. Уберег

господь царевича. Али не слыхал ты, что покойный Иоанмарь на пытке перед смертью своей мученической палачам кричал? То-то и оно. Святую истину кричал Иоанмарь — жив царевич».

«Да как же так, матушка, — сомневается Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы, — когда я самолично своими очами царевича в крови зрел?» — «Зрел ты, да не узрел, Прокоп, — отвечает ему Мария Федоровна. — Тот отрок безвинный, коего ты видел зарезанным, не царевич Димитрий Иоаннович, не сын мово мужа покойного Иоанна Васильевича Грозного. Не царского, а простого рода тот безвинный отрок. Подменили тем отроком царевича мои верные слуги, когда прознали про злоумышления Битяговских, коих Бориска в Углич прислал, чтобы сынка моего извести. И увезли те слуги тайно царевича из дворца в Красный бор, что за Московским холмом. Там и жило мое дитятко под неусыпным присмотром. Там оно и поныне. А теперича, Прокоп, приспело время царевичу в дальнюю дорогу собираться, покудова не проведал о моей благой хитрости Бориска Годунов. Для того и печати. Одну печать, большую государственную, с полным царским титулом, исделай. Ее я с собой в святую обитель увезу, где мне по цареву указу пострижение принять суждено. Буду ее пуше ока хранить».

А когда Димитрий Иоаннович в Москве объявится и на отцовский престол взойдет, на царствие повенчается, то пошлю ему ту печать вместе со своим родительским благословением. И будет он той печатью свои царские указы скреплять. И будут те указы милостивы к верному ему народу, люду простому, и грозны к боярам-изменщикам. Искоренит Димитрий Иоаннович весь род поганый Бориски Годунова и протчие боярские роды, что воровали супротив его в Угличе да Москве. Вот для чего та печать надобна.

А на другой печати, воротной<sup>1</sup>, вырежь, Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы, нынешний царевичев титул: «Димитрий Иоаннович, Божиею милостию царевич Великой Руси, Углицкий, Дмитровский и иных, князь от колена предков своих, и всех государств Московских государь и дедич». Сию печать, Прокоп, не в пример большой государственной, слуги мои верные в тот же час царевичу

<sup>1</sup> Воротная печать — печать, которую хранитель печати, «печатник», носил на воротах кафтана.

в Красный бор повезут. С нею Димитрий Иоаннович, как суждено ему богом, по Руси да по заморским землям странствовать тайно будет, от врагов своих до поры скрываючись. И будет ему сия печать оберегом, знаком его рода царского, чтоб его повсюду, где нужда в том будет, и в сермяге, и в лаптях за подлинного русского царевича признавали».

А как смолкла царица Мария Федоровна, то услышал Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы дивный звон колокольный. Огляделся Прокоп, да только ничего не узрел. И не мудрено, потому как чудо то было, звенел то у ножек Марии Федоровны язык сказненного колокола, из коего надлежало Прокопу печати мастерить. И звенел он будто словами человеческими: великая-де честь, Прокоп, тебе выпала... Поклонился тогда до самой земли царице Прокоп Колченогий, завернул в свою сермягу медь говорящую и унес к себе в избу пятистенную. Помолился богу — и за работу.

Три дня и три ночи в трудах неусыпных провел Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы. И вырезал он две печати дивные, где каждая буква, как птаха лесная щебечет. Принес свою работу царице. Глянула Мария Федоровна — ручками всплеснула на радостях: «Видать по всему, сам господь водил твоими руками, Прокоп!»

Облобызала царица те печати, а Прокопу поднесла ковш пенистого меда царского да наградила его за верную службу золотым узорчатым крестом нательным святейшего патриарха константинопольского. Вона какой награды сподобился!

По тому кресту и опознает Димитрий Иоаннович Прокопа Колченогого из Стрелецкой слободы, когда в Москве царем-государем объявится. Быть тогда Прокопу, хошь он и рода мужицкого, боярином, никак не меньше.

Давно погасла истлевшая лучина. Светится лишь лампадка под образами да стекают капли масла в подлампадник. Шуршат тараканы за печью, высвистывает свою нескончаемую грустную песню сверчок.

Молчат хозяева избы, знают: уши — благодать божия, язык — проклятие.

Но разве удержишься? И позавидует кто-нибудь счастливому Прокопу:

— Кому — булава в руки, а кому — костыль...

Другой же полюбопытствует:

— А где сейчас Димитрий-то Иоаннович?

Округлит глаза ссыльный и ответит строго:

— Того никому знать не положено. Может, в Малороссии где, может, в Ярославле, а может, с нами, грешными, в Пелым путь держит, из одного ковша с народом горе пьет... Да только объявится он, потому как иначе никак нельзя: одно солнышко на небе — один царь на Руси.

— А объявится-то когда?

— И то неведомо. Да только когда объявится, весь православный народ тут же позаочь узнает.

— А как народ-то узнает? Велика Русь! Покуда вьюнош с одного конца царства Российского до другого добредет, дедом седым станет. Об лаптях же и разговора нет — сколько дюжин стопчет да сколько дерев на лыко обдерет...

Ухмыльнется ссыльный:

— Простота ты, простота! Как рассуждаешь, зазря царица наказала Прокопу печати из святой меди резать? То-то и оно, что не зазря. Как приложит Димитрий Иоаннович свою царевичеву печать ко своей царевичевой грамоте — зазвенит, заиграет благовестом безъязыкий колокол в Сибири, а за ним безо всякого какого промедления и все прочие колокола на звонницах земли Русской. Услышит то благовестие в своей пустыни святой царица-инокия — вымет не мешкая из подголовника другую Прокопову печать, большую государственную, да перекрестит ее. Тут уж все российские колокола сами собой в набат ударят. Тут уж не зевай!

И вновь под злые окрики стрельцов, под плач детей и бабы причитания шли вслед за телегами в Сибирь ссыльные, оставляя после себя слухи, сомнения, надежды.

\* \* \*

— Так или приблизительно так началась вторая жизнь погибшего в Угличе сына Иоанна Грозного царевича Димитрия, — продолжал Василий Петрович. — И, как видите, в своей новой жизни Димитрий Иоаннович ничем не походил на прежнего жестокого и вспыльчивого подростка, страдающего эпилепсией. Возвратив царевичу жизнь, народ щедро снабдил его всеми добродетелями: умом, чувством справедливости, любовью к простым людям, на которых стояла и поныне стоит Русь, смелостью, благородством, скромностью и волей.

В образе нового Димитрия воплотилась всеми пытками питанная, всеми муками мученная, но так и не погибшая



безвременно в застенке вековая мечта о царе-заступнике. И, подарив царевичу жизнь, народ отдал его на попечение доброй волшебнице Марии Нагой и умельцу Прокопу, который вырезал для него из языка ссыльного колокола волшебные же печати.

Генерь царевичу оставалось лишь одно — «объявиться». И он объявился. Правда, совсем не таким, каким его создало народное воображение, но зато живой и невредимый. «Объявились» и печати...

Специалисты по сфрагистике, конечно, будут утверждать, что если Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы когда-либо и существовал, то, уж во всяком случае, он совершенно не причастен к печатям Дмитрия.

Не берусь спорить.

Судя по вздернутым вверх крыльям двуглавого орла да и по самой надписи, эта печать не русской, а скорей немецкой, французской или польской работы. На Руси тогда двуглавый орел обычно изображался с опущенными крыльями, а царь не называл себя императором и «пре-светлейшим и непобедимейшим монархом».

Не вызывает сомнения и то, что человек, именовавший себя Дмитрием, с тем же правом мог бы себя называть Иоанном Грозным или Юрием Долгоруким...

Кем он был в действительности, неизвестно. Борис Годунов утверждал, что это Гришка Отрепьев. Возможно, хотя и сомнительно. Дело в том, что Григория Отрепьева слишком хорошо знали в Москве. Как-никак, а он жил в Кремле, в Чудовом монастыре, и исполнял должность секретаря («крестового дьяка») всероссийского патриарха Иова. В этом качестве он и сопровождал патриарха, когда тот посещал Боярскую думу. Между тем Лжедмитрия не опознал, по свидетельству современников, никто: ни сам патриарх, ни архимандрит Чудова монастыря Пафнутий, ни хорошо знавшие Отрепьева в лицо бояре. Более того, Лжедмитрий демонстрировал народу Григория Отрепьева. И еще одно немаловажное обстоятельство: в Загоровском монастыре на Волыни, как писал известный историк Костомаров, хранилась книга с подписью Отрепьева. Почерк Отрепьева не походил на почерк Лжедмитрия.

Но оставим все это историкам.

В конце концов, сейчас для нас с вами не столь уж существенно, кем был Лжедмитрий и кто вырезал печати — Прокоп Колченогий по велению царицы Марии Федоровны или же, допустим, немецкий мастер из Кракова, которому

их заказал сенатор Речи Посполитой сандомирский воевода пан Юрий Мнишек. Главное то, что легенда о чудесном спасении царевича и о его возвращении оказалась пророческой.

16 октября 1604 года небольшой отряд пересек границу и вторгся на территорию государства Российского.

Развалившись в седлах, ехали разряженные как на бал знатные польские шляхтичи в окружении гайдуков. Горячили коней нарядные гусары. Ехали веселой шумной гурьбой запорожские казаки и лихие донцы в высоких бараньих шапках.

Отряд возглавлял широконосый рыжеватый молодой человек с живыми глазами и властным лицом — тот, кто именовал себя царевичем Дмитрием.

За время своего пребывания в Польше молодой человек успел многое. Он заставил поверить в свое царское происхождение — или сделать вид, что они поверили, — влиятельных польских магнатов, влюбился в Марину Мнишек и поклялся сделать ее русской царицей, пообещал будущему тестю Смоленск и Северскую землю, а затем, видимо по забывчивости, посулил то же самое королю Сигизмунду. Он очаровал шляхту своими манерами, умением владеть саблей и пистолетами, усидеть на самой горячей лошади и выйти один на один с рогатиной против медведя. Не задумываясь ни на секунду, он принял католичество и, заручившись после конфиденциальной беседы поддержкой всесильного папского нунция в Польше, получил аудиенцию у короля Сигизмунда. Правда, увязший в нескончаемой войне со Швецией король Речи Посполитой не решился на еще одну войну, но зато он снабдил молодого человека деньгами и торжественно заявил, что не будет препятствовать тем благородным шляхтичам, которые пожелают пролить свою кровь в борьбе за правое дело. А кое-кто из польских вельмож, недовольных Сигизмундом, намекнул царевичу, что когда он станет царем, то вполне сможет рассчитывать и на польский престол...

И вот поход, на который возлагалось столько надежд, начался.

Судя по тем скудным сведениям, которыми мы сейчас располагаем, рыжеватый молодой человек, отличавшийся поразительным для людей того времени равнодушием к религии, не верил ни в бога, ни в черта, но зато он не сомневался в своей счастливой звезде и в магической силе леген-

ды о чудесном спасении Дмитрия Иоанновича и его волшебной печати, сделанной из языка ссыльного колокола. Поэтому появлению отряда всегда предшествовали гонцы, которые везли с собой грамоты, скрепленные печатью с именем царевича и его титулом: «Дмитрий Иоаннович, Божиею милостию царевич Великой Руси, Углицкий, Дмитровский и иных, князь от колена предков своих, и всех государств Московских государь и дедич».

И эти грамоты были для царствующего в Москве Бориса Годунова страшной самого грозного войска. Против войска всегда можно выставить пушки и еще более грозное войско, а перед словами каленые ядра и те бессильны. Слова не захватишь в полон, не сошлешь, не забьешь в колодки. Перед грамотами самозванца без промедления распахивались ворота городов и сердца русских людей.

Путивль, Чернигов, Моравск и многие другие города встречали царевича хлебом-солью и колокольным звоном. Небольшой вначале отряд с каждым днем пополнялся за счет переходящих на сторону царевича ратников и вскоре стал немалой силой.

Дни Годуновых были сочтены, и это лучше, чем кто-либо иной, понимал князь Шуйский, когда, поддерживаемый под руки челядью, поднимался неспешно по ступенькам на Лобное место. Только что отсюда была прочитана собравшемуся на Красной площади народу грамота царевича, и люди ждали, что скажет Шуйский.

Действительно ли человек, приближающийся во главе войска к Москве, царевич Дмитрий?

Шуйский покосился на посланцев Лжедмитрия — дворян Алексея Плещеева и Гавриила Пушкина (оба, по странному совпадению, предки русских поэтов — Алексея Николаевича Плещеева и Александра Сергеевича Пушкина), — окинул своим холодным взглядом тысячи запрокинутых вверх лиц и, вскинув правую руку, зычно крикнул:

— Не имейте сомнения в сердцах и душах, православные! Подлинный царевич Дмитрий Иоаннович грамоту сию за своей печатью с гонцами прислал. Умыслил Борис Годунов известить его, да просчитался Борис. Схоронили царевича от злоумышлений Битяговских люди добрые. Жив и здрав Дмитрий Иоаннович. Замест него в Угличе попов сын погребен.

Эти же слова некоторое время спустя повторила всенародно и царица Мария Федоровна Нагая, инокиня Марфа, которую с почетом привезли в Москву, где ее

встречал новый царь (тогда-то, по преданию, царица и передала ему знаменитую печать, сделанную Прокопом Колченогим). Они обнялись, и Марфа перекрестила Лжедмитрия, который затем с сыновней почтительностью шел пешком за ее каретой.

В отличие от Шуйского, Марии Нагой не пришлось кривить душой, хотя она, разумеется, знала, что Дмитрия давно уже нет. Но если ссыльным, покинувшим Углич и отправившимся в Сибирь, нужен был царь-заступник Дмитрий Иоаннович, то изнывающей от унижений и жажды мести инокине Марфе также нужен был Дмитрий Иоаннович — мститель. А человек, который назвал ее матушкой и шел за ее каретой, был мстителем, следовательно, ее сыном. По его царскому повелению из Архангельского собора в Кремле был с позором выброшен прах ненавистного Бориса Годунова. По его же царскому повелению предали позорной смерти сына Бориса царя Федора и вдову Бориса Марью, дочь Малюты Скуратова.

Инокиня Марфа не забыла, как ее привезли в Москву, когда появились первые слухи о Дмитрии. Годунову необходимо было подтверждение, что Битяговские допреж того, как их растерзал народ, свершили свое черное дело, что человек, о котором говорят, не законный наследник занятого Борисом престола, а самозванец. Ан нет, не вышло. Напрасно у нее Борис лаской пытался, что да как, а Марья Годунова тыкала ей в лицо горящую свечу, все норовя в глаза угодить. Не поживились вороны горькой, как полынь, правдой. Ничего у них не вышло. Ничегошеньки!

Уклончиво отвечала, подрагивая своими опаленными свечой бровями, инокиня Марфа:

— Верно то, государь, шептали людишки, что сынка моего Дмитрия подменили и увезли тайно. Как не говорить? Говорили... Да токмо те, что говорили, померли. А имена ихние я запомнила. Как не запомнюешь, когда в келье своей монашеской день-деньской богу молишься! Истину же те людишки говорили, нет ли, того не ведаю. Уж не взыщи, государь!

С тем и отправили ее в обрат.

Свечой сплужать восхотели!

Свеча... Вот она, свеча всемосковская, богом зажженная, коя не брови, а весь род Годуновых дотла сожгла! Вот он, Дмитрий — свет-Иоаннович, сынок ее и утешитель, грозный царь и великий князь вся Руси. Жив он и невре-



дим, а Годуновых да Битяговских могильные черви жрут, жрут да нахваливают: хороши-де пироги деревянные с начинкой из Годуновых, всем яствам яство!

Так-то...

А потому здрав будь, все милостивейший царь Димитрий Иоаннович!

Подлинный ты по делам своим!

Так Лжедмитрия признали инокиня Марфа и всегда чувствующий, откуда дует ветер, хитроумный князь Шуйский. Так его признал народ.

21 июля 1605 года он был торжественно коронован и процарствовал на Руси без малого одиннадцать месяцев.

Лжедмитрий довольно быстро освоился со своим новым положением. Это уже был не прежний человек, вынужденный заискивать перед королем, папским нунцием и польскими магнатами, раздавая направо и налево щедрые обещания.

Первыми это почувствовали польские послы, когда им объяснили, что королю Сигизмунду не следует рассчитывать на какие-либо территориальные уступки со стороны России. Царь и великий князь всея Руси Димитрий Иоаннович благодарен-де королю за помощь в возвращении отчего престола, но королю должно быть хорошо известно, что Смоленск — исконная русская земля.

Почувствовал это вскоре и князь Василий Шуйский, когда ему как-то пришлось, согнувшись в три погибели и кряхтя, подставлять скамеечку под царские ноги. А затем это дали понять и сенатору Речи Посполитой сандомирскому воеводе Юрию Мнишеку, отцу царской невесты Марины.

Мнишек уже имел некоторое представление о тех поистине сказочных изменениях, которые произошли в судьбе скромного молодого человека, так неуверенно чувствовавшего себя в роскошном замке сандомирского воеводы. Гонцы из Москвы привозили такие подарки, что у воеводы от изумления стекленели глаза.

Чего здесь только не было! Соболя, оправленное в золото и усыпанное бриллиантами оружие, четки из невиданно крупного жемчуга, золотой рукоятник и золотой жезл, жемчужины величиной с мускатный орех, браслеты из алмазов, золотые часы в виде барана и верблюда, алмазная корона для Марины, богиня Диана, сидящая на золотом олене, пеликан, клювом достающий для птенцов свое, сделанное из рубинов сердце...

И все же, проходя мимо застывших, как статуи из камня, алебарщиков в фиолетовых кафтанах, с серебряными алебардами, воевода испытывал некоторую робость. Но главное его ждало впереди — в Большой золотой палате Кремля, своды и стены которой были украшены дивной росписью и портретами великих князей и царей земли Русской, а длинный, тянувшийся через всю залу помост устлан узорчатым персидским ковром.

От ослепительного блеска золота, серебра и драгоценных камней воевода на миг зажмурил глаза, а когда открыл их, то увидел молодого человека, который просил у него руки Марины. Да подлинно, он ли это? Молодой человек восседал на троне под балдахин, на котором сверкал двуглавый орел, сделанный из червонного золота. Над головой повелителя России — покрытое финифтью и филигранью распятие с огромным золотисто-красным топазом. Чуть пониже — усыпанная драгоценными камнями икона. Сам царь Димитрий Иоаннович — в цветной одежде, почти сплошь покрытой жемчугами и самоцветами. На груди — ожерелье из алмазов и алых, как пролитая в Угличе кровь, рубинов. На голове — корона, в правой руке — зеленый от бесчисленных изумрудов скипетр.

По обе стороны трона — телохранители-рынды с топорами на плече. Они в кафтанах из серебряной парчи, в высоких шапках, на груди позванивают золотые цепи.

Патриарх в саккосе с золотыми колокольчиками-звонцами, архиепископы в гиацинтовых мантиях, важные бояре, царские советники. Поодаль — разряженные польские паны с вислыми усами, те, что сопровождали Димитрия Иоанновича в его походе.

Юрий Мнишек застыл перед троном в глубоком поклоне, таком глубоком, что у польского вельможи заныла поясница. Из головы вылетели все слова заранее приготовленной речи. Да, это тебе не Сандомир и не Краков. Куда там!

— Видя своими глазами ваше императорское величество на сем троне, — сказал наконец Мнишек, — не знаю, не более ли должен удивляться, нежели радоваться? Могу ли без удивления смотреть на того, кто уже много лет считался мертвым, а теперь окружен таким величием... — Мнишек посмотрел на царя и уже более уверенно продолжал: — Итак, не находя слов для выражения моего восторга, я могу только поздравить ваше императорское величество и в знак неизменной, глубочайшей покорности с бла-

оговением облобызать ту руку, которую прежде я жал с нежным участием хозяина к печальному гостю... Сердце мое тает в неизъяснимой радости, когда подумаю, что за мои попечения с первого дня свидания нашего, увенчанного столь счастливым успехом, ваше императорское величество изъявили намерение соединиться со мною узами родства близкого, кровного. Вы избрали себе супругою мою дочь. Ни громкий титул царя, ни высокая почесть не изменили вашего намерения. Мне остается только молить, чтобы всевышний благословил сей союз во славу его имени, для счастья и благоденствия обширной державы Русской!

Вскоре состоялся торжественный въезд в Москву под малиновый звон колоколов царской невесты — Марины Мнишек. Этот день, самый главный день, когда исполнились все ее мечты, Марина будет помнить всю свою короткую и бурную жизнь. «Бывши раз московскою царицей, — напишет она несколько лет спустя, — повелительницей многих народов, не могу возвратиться в звание польской шляхтенки, никогда не захочу этого». А польский король Сигизмунд, когда он, забыв про Марину, захочет возвести на русский престол своего сына, получит от «русской царицы» гордое письмо.

«Если кем на свете играла судьба, то, конечно, мною, — напишет королю Марина. — Из шляхетского звания она возвела меня на высоту московского престола только для того, чтобы бросить в ужасное заключение. Только лишь проглянула обманчивая свобода, как судьба ввергнула меня в неволю, на самом деле еще злополучнейшую, и теперь привела меня в такое положение, в котором я не могу жить спокойно, сообразно своему сану. Все отняла у меня судьба. Остались только справедливость и право на московский престол, обеспеченное коронацией, утвержденное признанием за мною титула московской царицы, укрепленное войною, присягою всех сословий Московского государства».

Но все это — скитания по России, походы, битвы, окопы, темница, — все это будет потом. А пока Марина Мнишек, которой через день-другой предстоит венчание с царем и великим князем всея Руси Димитрием Иоанновичем, коронация, прием послов, пиры и увеселения, отдыхает после долгого и утомительного пути. Она в шатре, который воздвигнут в двух милях от Москвы специально к ее приезду. Шатер изукрашен золотой парчой, сафьяном и собольими шкурками. Слух Марины услаждают сотни

птиц в золоченых клетках. Стоит около шатра присланная Марине царем для ее въезда в Москву вызолоченная колесница, запряженная белыми, как первый снег, конями в сбруе из красного бархата. Двенадцать конюхов держат под уздцы двенадцать скакунов с золотыми удилами и серебряными стремянами. Вдоль дороги, от шатра до самой Москвы, выстроились в два ряда стрельцы в красных кафтанах, с пищальми в руках.

Кареты, всадники, польские гусары с пиками, гайдуки в голубых суконных кафтанах, с длинными белыми перьями на шапках, знатные московские бояре, трубачи, барабанщики, флейтисты.

Со стороны Москвы доносится едва слышный мелодичный перезвон колоколов. Столица Руси ждет невесту своего царя.

— Пора, — говорит пан Мнишек, и гайдуки помогают ему взобраться на скакуна.

Триста бояр и детей боярских, сняв свои горлатные шапки, почтительно ждут, когда Марина выйдет из шатра и сядет в колесницу.

Гремят и смолкают литавры. Их сменяют нежные голоса флейт. И вот под звуки музыки и приветственные крики стрельцов процессия торжественно трогается с места.

Нет, никогда Марина не забудет этого весеннего дня!

Не забудет она дорогу от царских палат до церкви, устланную в честь нее по красному сукну золотой парчой, бояр, которые несли перед нею скипетр и золотую державу, возделенный золотой трон, усыпанный алмазами, рубинами и сапфирами, тяжесть короны и седую склоненную голову патриарха, который целует ей руку, руку русской царицы...

Ни перед чем не остановится Марина, чтобы вернуть обратно эти волшебные дни.

Но время вернуть нельзя. Прошедшее навсегда остается в прошлом.

Между тем одиннадцать месяцев, отведенных историей для царствования человека, назвавшегося сыном Иоанна Грозного, царевичем Димитрием, подходили к концу.

Василий Шуйский считал, что наконец-то пришло его время. И он не ошибся.

В ночь на 17 мая, когда на Ильинке ударили в набат, а затем тревожным набатом загудела вся Москва, к Кремлю подъехало двести всадников во главе с Шуйским. В одной руке князя был меч, в другой — крест.

Стрельцы, охранявшие ворота, всполошились:

— Кто будете?

Несколько всадников спешилось:

— Отчинный ворота.

— Настрого заказано,— сказал стрелецкий пятидесятник.— Неладно так-то...

— Отчинный. Ну?!

Тускло блеснула сабля. Пятидесятник пошатнулся и грузно осел на землю. Задергался, захрипел, захлебываясь собственной кровью. Гулко грохнула, плеснув огнем, пищаля. Побросав бердыши, стрельцы кинулись в сторону Москвы-реки.

Набатный гул нарастал. Факелами в ночи пылали подожженные дома. Скрипнув, распахнулись тяжелые ворота на ржавых петлях.

Шуйский, без шапки, в панцире с золотой насечкой, высоко поднял над головой крест:

— С богом!

И застучали дробью барабанов копыта коней по высланной тесаными бревнами кремлевской дороге. Туда, к Сретенскому собору, где высился темным треугольником недавно отстроенный дворец.

— С богом!

...Тридцать немцев-алебардщиков, которые несли караул во дворце, огнестрельного оружия не имели, алебарды же годились лишь для торжественных церемоний. Несколько потоптали конями, застрелили. Остальные были смяты и оттеснены во внутренние покои.

Долго рубился в проеме двери любимец царя боярин Петр Басманов. Двух холопов Шуйского до пояса располосовал. Но пал и Басманов с рассеченной головой...

Человек, называвший себя Димитрием Иоанновичем, выхватил у телохранителя алебарду. Ударил обухом по чьей-то голове в горлатной шапке и тычком вонзил острие в грудь очередного нападающего.

— Прочь! — повелительно крикнул он.— Я вам не Борис!

Ошеломленная толпа в растерянности отхлынула от дверного проема.

Лжедмитрий быстро затворил дверь и запер ее. Переступил через труп Басманова, который лежал в луже крови, не выпуская из рук меча.

Жалобно скулили и плакали, забившись в углы, карлики и карлицы. Стонал раненый телохранитель на лавке.

Всполошенно летал по зале, натываясь на стенные подсвечники, обезумевший от ужаса пестрый заморский попугай, не ко времени выскочивший из своей клетки.

Царь отбросил в сторону ненужную алебарду. Склонившись над Басмановым, попытался разжать его пальцы, но мертвый боярин не хотел отдавать свой меч.

Дворец-ловушка. Здесь смерть неминуема. Но если удастся выбраться на Житный двор, где несут караул стрельцы, он спасен.

Если удастся выбраться...

Одновременно грянуло несколько выстрелов, и стена за спиной царя покрылась щербинами дыр. Под напором тел затрещала дверь.

Там, за дверью, была его смерть.

Лжедмитрий побежал по переходам дворца к зале, слюдяные окна которой выходили на Житный двор. Локтем вышиб узорчатую свинцовую раму, вскочил на подоконник. Под окном белели возведенные для иллюминации к праздникам подмости. На мгновение застыл в нерешительности — и прыгнул. Почувствовав под ногами зыбкую упругость прогнувшихся досок, прислонился спиной к стене дворца.

Нет, не напрасно он всегда верил в свою счастливую звезду!

Теперь оставалось перепрыгнуть на следующий, нижний ярус, а затем спуститься во двор.

Из окна над его головой что-то кричали, грозя оружием. Но никто там не решался повторить этот рискованный прыжок.

Лжедмитрий глянул вниз, напряг мускулы.

Прыжок — и, споткнувшись о выступ тесаного бревна, человек, взявший имя царевича Димитрия, плашмя падает с тридцатифутовой высоты вниз...

У него сломана правая нога и повреждены ребра, на губах пузырится кровь, но он жив.

Пока еще жив...

Сейчас его схватят набежавшие приспешники Шуйского. Потом его будут пытать, глумиться над ним и наконец пристрелят. А через час-другой, привязав к ногам веревки, его труп поволокут через Иерусалимские ворота на Красную площадь. Там один из бояр бросит ему на живот маску, воткнет в мертвый рот дудку и скажет:

«Долго мы тебя тешили, а теперь ты нас позабавь!»  
Затем тело Лжедмитрия сожгут, зарядят пеплом вместо



ядра пушку и выстрелят в ту сторону, откуда он пришел...

Но для того ли народная легенда воскресила погибшего в Угличе Димитрия Иоанновича, снабдив его волшебной печатью, чтобы дать ему погибнуть в Москве?

Нет, в ту ночь погиб не Димитрий Иоаннович, а другой человек. Димитрий Иоаннович вновь спасся.

Будь здрав, Димитрий Иоаннович!

\* \* \*

— Князь Шуйский потратил немало времени и сил, чтобы обосновать события той ночи и свое право на престол,— продолжал Василий Петрович.— В грамоте от московских бояр, дворян и детей боярских, которая послана была во все концы земли Русской, сообщалось, что, по свидетельству его матери и дядей, царевич Димитрий подлинно умер и погребен в Угличе. Престол же захватил хитростью и чародейством Гришка Отрепьев, чернокнижник и вор, что теперь-де справедливость восстановлена: Гришка-самозванец казнен и прах его развеян по ветру, а царем провозглашен князь Шуйский, славный потомок Рюрика и Александра Невского. В особой грамоте мать царевича, инокиня Марфа, на которую Шуйский сумел воздействовать и без горящей свечи, каялась, что из страха признала по малодушию Гришку Отрепьева за своего покойного сына.

Но, увы, все эти грамоты не помогли Василию Шуйскому.

Убийством Лжедмитрия и последовавшим вслед за ним воцарением Шуйского были недовольны крестьяне и холопы, ждавшие от сына Иоанна Грозного облегчения своей доли, служилые люди, которым Димитрий Иоаннович вдвое увеличил жалованье, многие дворяне, купцы и даже некоторые вельможи, связавшие свою судьбу с судьбой самозванца. В числе таких вельмож был князь Григорий Петрович Шаховской, человек смелый, честолюбивый, с авантюрным складом ума и пылким воображением.

Род Шаховских, как и род Шуйских, происходил, по преданию, от Рюрика. Но, в отличие от Шуйских, Шаховские всегда почему-то оставались в стороне. Не были они взысканы царскими милостями ни при Иоанне Грозном, ни при Федоре Иоанновиче, ни при Годунове. Зато Шаховские стали в чести при Димитрии Иоанновиче. Как и Петр

Басманов, погибший с мечом в руках, защищая царя, Григорий Шаховской был любимцем самозванца.

Верил ли князь, что сидящий на троне действительно сын Иоанна Грозного? Вряд ли. Да его этот вопрос особо и не занимал. Петр Басманов как-то сказал о Лжедмитрии: «Подлинный ли он сын Иоанна, нет ли, а лучшего царя нам все равно не найти». Наверное, того же мнения придерживался и Шаховской. Другой царь Шаховскому был не нужен.

В Кремль князь Шаховской прискакал уже тогда, когда с самозванцем было покончено. Обезображенный труп недавнего повелителя России лежал вверх лицом у крыльца, и приспешники Шуйского, хохоча и издеваясь, привязывали к его ногам веревки. Рука Шаховского потянулась к мечу, да остановилась, только пальцы в кулак сжались.

Стоявший неподалеку Шуйский, искоса взглянув на мрачное лицо князя, усмехнулся. Шуйский подумал, что Шаховскому повезло. Прискачи он часом раньше — и лежать ему, как Петьке Басманову, с изрубленной головой. Проспал Гришатка Шаховской свою смерть! Проспал... А жаль, что князюшко под горячую руку не попался. Ох, как жаль! Давно по его буйной голове плаха плачет, горячими слезами заливается!

Но Шуйский не любил торопиться. Поэтому, взойдя на престол, он, опасаясь недовольства бояр, не казнил ненавистного ему князя. Он лишь решил удалить Шаховского из Москвы, назначив его воеводой в Путивль. Если бы Шуйский знал, что Григорию Шаховскому только того и надо. Если бы он догадался о замыслах князя...

— А теперь,— предложил Василий Петрович,— вернемся с вами к печати, к большой государственной печати, на которой вырезана надпись: «Пресветлейший и непобедимейший монарх Димитрий Иоаннович, Божию милостию Император и Великий князь всея России и всех татарских царств и иных многих государств Московской монархии подвластных государь и царь».

Так вот, эта печать, которая, казалось бы, после смерти самозванца никому больше не нужна, была похищена. И, как вскоре выяснилось, похитил ее ненавистник царя Василия, потомок легендарного Рюрика, князь Григорий Петрович Шаховской...

Шуйский понимал, чем ему грозит эта печать в руках

Шаховского. В погоню за Шаховским, отправившимся в Путивль, было послано сто конных стрельцов. Но погоня запоздала.

В ту минуту, когда стрельцы неспешно выезжали из московских городских ворот, князь Григорий Шаховской, которого сопровождали два молодых шляхтича из свиты Марины Мнишек (в ту страшную ночь князь спас их в своем доме от разъяренной толпы) и несколько вооруженных пищалями холопов, уже подъезжал к переправе через Оку у Серпухова. В суме, притороченной к седлу его коня, лежала печать, которая по замыслу Шаховского должна была вновь воскресить погибшего в Угличе царевича и свергнуть с трона князя Шуйского.

Переправа много времени не заняла. Перевозчик, широкоплечий парень в сером сермяжном кафтане и войлочной шапке, ловко, на лету, подхватил брошенную князем серебряную монетку, спрятал ее за щеку и низко поклонился щедрому боярину:

— Удачи тебе во всем, благоворец!

Князь потрепал холку своего коня, строго сказал:

— Никто не благ, токмо один бог. Благодарите же не меня, слугу царского, а его, — князь указал на одного из шляхтичей, — нашего пресветлого царя и великого князя Димитрия Иоанновича, коего ты чрез Оку переправил. — И так как изумленный перевозчик застыл чурбан чурбаном, Шаховской взмахнул плетью и крикнул: — На колени перед его царским величеством!

Перевозчик упал как подкошенный, уткнув в траву лицо. А когда поднял голову, всадники были уже далеко.

Встал он, поискал глазами упавшую на землю шапку и увидел свиток грамоты с восковой печатью на шелковом шнуре и золотой перстень с изумрудом — дар Димитрия Иоанновича. Не извел, выходит, лукавомудрый Васька Шуйский природного царя. Жив Димитрий Иоаннович. Снова замест него иного извели...

В тот же день о происшедшем уже знал весь Серпухов. Грамоту Димитрия Иоанновича читал народу с лобного места поп-расстрига, а к домику перевозчика и не потолкнешься — полгорода собралось. Каждому было лестно поддержать в руках перстень царский и послушать про Димитрия Иоанновича, про его золотую карету, которая ладей переплыла через Оку, про корону, усыпанную яхонтами, про то, что сказал Димитрий Иоаннович перевозчику: «Всегда я стоял за народ, а теперича приспело

время народу за меня постоять, за государя природного, коего бояре за склонность сердечную к людям рода подлого извести возжелали».

Между тем Шаховской благополучно добрался до Путивля. Здесь шляхтичи, расставшись с князем, перешли границу и вскоре вручили письмо Шаховского супруге Юрия Мнишека. Князь сообщал о событиях в Москве, о том, что Юрий Мнишек, его дочь и оставшиеся в живых поляки сосланы Василием Шуйским в Ярославль, и о своем желании отомстить за смерть царя.

А через неделю-другую из Путивля во все концы России полетели «царские» грамоты с большой государственной печатью «пресветлейшего и непобедимейшего монарха» Димитрия Иоанновича. Димитрий Иоаннович сообщал о боярском заговоре, о своем вторичном избавлении от смерти и грозил страшной карой изменникам. В грамотах также сообщалось, что всех, кто готов взяться за оружие, ждет в Путивле верный воевода Димитрия Иоанновича, князь Григорий Петрович Шаховской.

Вскоре Шуйский убедился, что мертвый Лжедмитрий для него страшней, чем живой.

И если к тому времени был жив ссыльный, рассказывавший о чудесном колоколе и волшебных печатях, вырезанных Колченогим Прокопом из Стрелецкой слободы, он мог увидеть и услышать, как его слова превратились в явь.

... «Как приложит Димитрий Иоаннович свою царевичеву печать ко своей царевичевой грамоте — зазвенит, заиграет благовестом безъязычный колокол в Сибири, а за ним безо всякого какого промедления и все прочие колокола на звонницах земли Русской. Услышит то благовестие в своей пύстыни святой царица-инокия — вымет не мешкая из подголовника другую Прокопову печать, большую государственную, да перекрестит ее. Тут уж все российские колокола сами собой в набат ударят. Тут уж не зевай!»

Правда, царица-инокия отеклась от признанного ею год назад сына. Печать к грамотам прикладывал не Димитрий Иоаннович, уже дважды погибший, а Григорий Петрович Шаховской, по выражению летописца, «главный заводчик всей крови». Но что касается российских колоколов, то они действительно безостановочно и настойчиво гудели, призывая постоять за «склонного к народу» истинного царя Димитрия Иоанновича.

Колокола предрекали боярскому царю Василию Шуйскому кровавое восстание холопов, крестьян и задавленных податями черных посадских людей.

В то время как в Путивль к Шаховскому ежедневно прибывали отряды крестьян, холопов и казачьей вольницы, которые привозили на справедливую казнь супротивников Дмитрия Иоанновича — бояр и воевод, начались волнения в Чернигове, Туле, Кашире, Рязани, Нижнем Новгороде, Калуге и Смоленске.

Заволновалась и Москва, где из рук в руки передавались грамоты Дмитрия Иоанновича и подметные письма. Мало того, на многих боярских домах здесь стали появляться надписи, гласившие, что царь Дмитрий Иоаннович отдает хоромы этих «злодействующих гадов» своему верному народу на разграбление.

Тревожно и беспокойно стало в Москве. Заскрипел и зашатался трон под Василием Шуйским. Чем его поддержишь? Не молитвами же...

Пытаясь отвлечь надвигающуюся беду, царь Василий приказал привезти из Углича в Москву гроб с телом царевича Дмитрия. Но народ уже ничему не верил. Солгавший единожды, солжет и вторично.

Кому ведомо, царевич ли в гробу? Может, Шуйский подложил туда какого иного младенца? А печать на грамотах Дмитрия Иоанновича подлинная, большая государственная.

Жив Дмитрий Иоаннович!

Но с особой силой всероссийский пожар вспыхнул, когда несуществующий Дмитрий Иоаннович назначил своим «большим воеводой» крестьянского вождя Ивана Исаевича Болотникова, а лукавый князь Шаховской с должным смирением перед «большим воеводой» вручил Болотникову царскую грамоту, скрепленную большой государственной печатью.

«Отважный витязь», как именовали Болотникова современники, был некогда холопом князя Телятевского. В молодости он бежал от князя на юг к казакам. Во время одной из битв был захвачен татарами и продан в Турцию. Здесь он попал на галеры. Из рабства его вместе с другими пленниками освободили венецианцы. Пробыв некоторое время в Венеции, он через Польшу вернулся в Россию, где его ждали великие победы, слава, пытки и смерть...

Князь Шаховской, сразу же поверивший в военные таланты Болотникова, передал ему командование над две-

надцатитысячным отрядом. И князь не ошибся в своем выборе. Болотников оказался не только блестящим полководцем, но и организатором, прекрасно понимающим народные чаяния.

Дмитрий Иоаннович крестьянского вождя Ивана Исаевича Болотникова стал символом борьбы за свободу.

В своих «листах» Болотников призывал к оружию угнетенных, обещая от имени царя волю и справедливость.

Письма Болотникова не сохранились. Но некоторое представление о них дает грамота патриарха Гермогена. Воззвания Болотникова, писал Гермоген, внушают черни «всякия злыя дела на убийство и грабеж, велят боярским холопам побивати своих бояр... и шпыням и безмыянным ворах, — злобствовал Гермоген, — велят гостей [богатых купцов] и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их, воров, к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и околичество, и дьячество».

В то время как Болотников формировал в Комарицкой волости, где осело много беглых крестьян и холопов, армию, которая могла бы успешно противостоять войскам Шуйского, князь Шаховской занялся подыскиванием нового Лжедмитрия.

Большая государственная печать не могла больше заменять Дмитрия Иоанновича. Недаром же, как стало известно Шаховскому, бояре, посвященные в закулисную сторону происшедшего, ехидничали: «Ежели в Москве на троне хоть плохонький, а царь, то в Путивле замест монарха печать бессловесная царствует. А замест думы боярской в том Путивле князюшко Шаховской. С им, верно, тая печать и совет держит».

Что там говорить, нужен царь. Да где его найдешь? Царь не гриб — под осиною не сыщешь...

Действительно, отыскать подходящего Дмитрия Иоанновича оказалось делом не простым.

Ведь новый Лжедмитрий должен был в какой-то мере устроить и холопов Болотникова, разоряющих боярские поместья (не по душе это князю Шаховскому, но что поделаешь?), и бояр, отстаивающих свои родовые вотчины; руководителей дворянского ополчения, ставших под знамена сына Иоанна Грозного (их холопы Болотникова тоже не очень жалуют), и польских шляхтичей; самого князя Шаховского и казачьих атаманов; польского короля и православное духовенство. Наконец, желательно, чтобы новый Лжедмитрий хоть немного внешне походил на

прежнего и чтобы его признала своим мужем «русская царица» Марина Мнишек...

Трудная задача стояла перед Шаховским, которого Болотников, уже выступивший в поход, все время донимал просьбами, а затем и требованиями, чтобы Дмитрий Иоаннович прибыл наконец в войска и царским словом подтвердил свои обещания холопам и беглым крестьянам. Ведь Болотников не сомневался в существовании Дмитрия Иоанновича, назначившего его «большим воеводой»...

В очень сложном положении оказался Шаховской!

Между тем поход крестьянской армии несуществующего Дмитрия Иоанновича начался успешно. Уже в августе 1606 года Болотников наголову разбил под Кромами войска Василия Шуйского. Эта блестящая победа послужила сигналом к повсеместному восстанию холопов и крестьян против своих господ. Все обездоленные стекались к Болотникову. Город за городом провозглашал царем Дмитрия и присылал Болотникову своих ратников. К его армии примкнули также мелкопоместные тульские дворяне, руководимые Истомой Пашковым, и рязанские помещики во главе с Прокопием Ляпуновым.

22 октября 1606 года войска Болотникова расположились в селе Коломенском, под самой Москвой. Здесь Болотников построил крепость с земляным валом, а его отряды перекрыли все дороги, ведущие к столице. По существу Москва оказалась на осадном положении.

Неделя-другая — и в столицу своего государства вновь въедет сын Иоанна Грозного, дважды спасшийся от врагов пресветлый царь и великий князь Дмитрий Иоаннович.

Но где же он? Где Дмитрий Иоаннович?

С этим вполне обоснованным вопросом к Болотникову обращается депутация москвичей. Москва, говорят они, готова свергнуть Василия Шуйского и открыть ворота своему законному государю, но пусть Болотников покажет его. Истинный ли то государь? Вновь мчатся гонцы Ивана Исаевича Болотникова в Путивль к Шаховскому. Больше медлить нельзя. Когда прибудет к своему победоносному войску Дмитрий Иоаннович?

Шаховскому ответить нечего. Он лишь разводит руками. Царь в Польше, в замке своего тестя Юрия Мнишека. Покуда царь приехать не может, но вот грамота с его большой печатью... Однако в сложившейся ситуации печать уже больше не может заменять царя. Нужен царь, а его нет. И в городах, поддержавших Болотникова, нараста-

ют среди народа сомнения: а не ошиблись ли, откачнувшись от Василия Шуйского? Печать печатью, а царя-то нет... Может, правду говорил Шуйский, что подлинный царевич в Угличе смерть принял? Ходят разные слухи и среди ратников. А подлинно ли царь холопам свободу обещал? Не обман ли то? А может, насылил несбыточно-го — да в кусты?

И все же Иван Исаевич Болотников, несмотря ни на какие помехи, готовится к решительному наступлению. Между тем на сторону Шуйского переходит со своим отрядом Ляпунов, которому не по пути с вождем холопов и крестьян Болотниковым. Затем — новый удар в спину. Во время наступления, цель которого — полное окружение Москвы, Болотникову изменяет Пашков.

Что же дальше?

Шуйский предлагает Болотникову сдаться, обещая крестьянскому вождю высокие почести и награды.

Нет, Болотников не сложит оружия, пока не выполнит все, что посулил народу законный царь Дмитрий Иоаннович. Ему же лично ничего не нужно — ни чинов, ни богатства. «Я целовал крест своему государю Дмитрию Иоанновичу — положить за него живот, — ответил он Шуйскому, — и не нарушу целования. Верно буду служить государю моему и скоро вас проведу».

Но после решительного сражения у деревни Котлы войска Болотникова вынуждены были отойти к Калуге. Болотников укрепил город и с успехом отражал все попытки царских войск взять Калугу штурмом.

Весной 1607 года направленный князем Шаховским на выручку Болотникова отряд разгромил войска воевод Татеева и Черкасского. Тогда Болотников выступил из Калуги. Осаждавшие Калугу войска разбежались, оставив обоз и пушки. Отряды Болотникова направились к Туле, где уже находился князь Шаховской, который так и не нашел устраивающего всех Дмитрия Иоанновича...

О встрече Шаховского и Болотникова нам ничего не известно. Но можно предположить, что она отнюдь не была теплой, так как Болотников к тому времени уже наверняка подозревал князя в обмане.

Тула была последним оплотом крестьянского восстания. Поэтому вся энергия Болотникова была направлена на укрепление города. Выстоять во что бы то ни стало!

Войска Шуйского неоднократно пытались штурмовать стены города, но не добились ни малейшего успеха. Ни при-



ступы осаждающих, ни голод не ослабили твердости и мужества воинов крестьянской армии. Неизвестно, сколько времени продолжалась бы осада и чем она закончилась, если бы к Шуйскому не явился сын боярский — «большой хитроделец» Иван Мешок Кравков. Кравков брался построить на реке Упе плотину и затопить город. Царь дал согласие. Плотина была построена, и в Тулу хлынули потоки воды.

Наводнение и голод стали верными союзниками Шуйского. Но, несмотря на, казалось бы, безнадежное положение, Болотников продолжал сопротивляться. Лишь после того, как Шуйский торжественно и всенародно поклялся («целовал крест») сохранить жизнь всем участникам обороны Тулы, ворота города открылись перед царскими войсками.

10 октября 1607 года вождь крестьянского восстания Иван Исаевич Болотников, явившись в полном вооружении к Шуйскому, снял с себя саблю с золотой рукоятью (подарок несуществующего Дмитрия Иоанновича) и положил ее перед царем.

Благородный витязь верил в благородство своих врагов. Но Василию Шуйскому не впервой было нарушать клятвы...

По приказу царя Болотникова схватили и заковали в цепи. Так его привезли в Москву, куда он еще недавно рассчитывал войти победителем. Здесь он был посажен в тюрьму. А несколько месяцев спустя, когда объявившийся наконец на Руси Дмитрий Иоаннович (Лжедмитрий Второй) повел войска на Москву, раздавая крестьянам земли «изменников-бояр», Болотникова в сопровождении многочисленной стражи повезли в далекий Каргополь.

Здесь по повелению озлобленного Шуйского Ивану Исаевичу Болотникову выкололи глаза, дабы он и на том свете не смог зреть с укоризной в очи царя-клятвопреступника, а затем бросили в прорубь на реке Онеге.

Шаховской тоже не избежал царской кары. Но Шуйский вновь поостерегся казнить смертью Рюриковича. Князь лишь был сослан на Кубенское озеро. В отличие от Болотникова, «всей крови заводчик» не только остался жив, но и командовал впоследствии отрядом в войске Лжедмитрия Второго, а затем пытался взбунтовать казаков в ополчении Минина и Пожарского. Князь оказался таким же живучим, как и похищенная им в мае 1606 года печать.

\* \* \*

— Таким образом,— сказал Василий Петрович,— легендарная печать Прокопа Колченого из Стрелецкой слободы, пользуясь выражением злоязычных московских бояр, «процарствовала в Путивле замест монарха» почти полтора года. И это «царствование» ознаменовалось бунтами холопов, дворцовых и боярских крестьян, черных посадских людей, поджогами боярских усадеб и великим страхом власть имущих перед «народом подлого звания», почувствовавшим свою силу.

В умелых руках мстительного князя Шаховского, который был при ней «замест Боярской думы», печать Прокопа Колченого из Стрелецкой слободы не только вторично воскресила погибшего в Угличе царевича, но, что более важно, внесла немалый вклад в крестьянское восстание, расшатала и без того шаткий трон боярского царя, добвив русскую землю пеплом сожженных боярских вотчин. И если провинившийся перед царем колокол сослали в Сибирь, то «царствовавшую» в Путивле печать следовало бы, с точки зрения Шуйского, по меньшей мере четырежды четвертовать, а затем десять лет поджаривать на медленном огне ее изрубленные куски...

Но мы совсем забыли про Марину Мнишек, с которой расстались в тот день, когда она под звуки труб, барабанов и литавр въезжала на золоченой колеснице в праздничную Москву,— сказал Василий Петрович.— Не пора ли вновь с ней встретиться?

\* \* \*

В то время как Лжедмитрий, спасаясь от преследователей, бежал по переходам дворца, другая группа заговорщиков вышибла тяжелую дубовую дверь, которая вела в покои царицы, ясновельможной пани Мнишек, воеводенки Сandomирской и старостенки Львовской.

Камердинер только что коронованной царицы, пытавшийся оказать сопротивление, был тут же зарублен. Кто-то пристрелил фрейлину царицы, некстати подвернувшуюся под горячую руку. Саму Марину, спрятавшуюся под пышной юбкой одной из придворных дам, не тронули, только припугнули для порядка. Баба — она и есть баба, что с нее возьмешь?

Рачительные бояре хотели лишь одного: пушай Марина вернет в казну все, чем поживилась у самозванца. Негоже на ветер пускать нажитое русскими царями да великими князьями. Не дело то.

Марина не возражала. В ту страшную минуту она готова была расстаться со всем, лишь бы сохранить жизнь.

Прибывший после убийства Лжедмитрия Шуйский самолично наблюдал за дьяками, светличными писцами и алмазчиками, которые пересчитывали и составляли опись золотых статуэток, фряжских часов, алмазных диадем, перстней, ожерелий, жемчужных нитей, золотых тазов для мытья рук, белильниц и румяльниц.

В постельных покоях царицы, где под шатром на витых столбиках стояла покрытая резьбой и позолотой кровать, было душно. Пахло ячным пивом, которое лили в «топлю для духа», и гуляфной водкой (розовой водой).

Князь недовольно сопел в усы. Не было пеликана, достоящего для птенцов свое рубиновое сердце, четок из жемчуга, больших золотых часов с трубачами и барабанщиками, алмазной короны... Видно, все это осталось в Польше. «Пошарпал вор царскую казну!»

Под требовательным взглядом Шуйского придворные дамы стали поспешно складывать в принесенные сундуки платья царицы, ее сафьяновые полусапожки с серебряными и золотыми подковками, кружева, русские и польские шубы, расшитые жемчугом шелковые летники, украшенные самоцветами опашни, собольи душегреи, усыпанные алмазами кокошники, кики и убрusy. Дошел черед и до самой царицы... Когда Марина осталась в одном ночном капоте, Шуйский махнул рукой:

— Будет!

Кто-то из детей боярских подал князю резной ларец слоновой кости с золотой короной. В нем лежали письма Лжедмитрия Марине и пергаментный свиток с золотым обрезом. Князь развернул пергамент и, шевеля пухлыми губами, прочел про себя: «Мы, Дмитрий Иоаннович, Божиею милостию царевич Великой Руси, Углицкий, Дмитровский и иных, князь от колена предков своих и всех государств Московских государь и дедич. («Ах, вор! Трясца его бей на том свете!») Рассуждая о будущем состоянии жития нашего не только по примеру иных монархов и предков наших, но и всех христиански живущих, за призрением Господа Бога всемогущего... усмотрели есмя и улюбили себе, будучи в королевстве в Польском... приятеля и

товарища, с которым бы мне, за помощью Божиею, в милости и в любви непремяемой житие свое проводить, ясновельможную панну Марину с Великих кончиц Мнишковну... дочь ясновельможного и пана Юрья Мнишка... Мы убедительно его просили, для большего утверждения взаимной нашей любви, чтобы вышереченную дочь свою, панну Марину, за нас выдал в замужество... Как вступим на наш царский престол отца нашего, и тотчас послов своих пришем до наяснейшего короля польского, извещаючи ему и быючи челом, чтоб то наше дело, которое ныне проеж нас, было ему ведомо и позволил то нам сделати без убытка.

Третье то: той же преж реченной панне, жене нашей, дам два государства великия, Великий Новгород да Псков, со всеми уезды, и с думными людьми, и с дворяне, и с детьми боярскими, и с попы, и со всеми приходы...»

Шуйский слышал про этот документ раньше, но увидеть собственными очами привелось лишь сейчас. Он взглянул на дату — 25 мая 1604 года. Договор с сандомирским воеводой вор подписал, когда готовился к походу в Россию. Знатный подарок посулил он Маринке. Тароват к ней был «Дмитрий Иоаннович». Русь, будто пирог с зайчатинной, нарезал, а ей самый жирный кусок — сделай таку милость, отведай, красна девица, увесели мою душу! «Великий Новгород да Псков, со всеми уезды»... Это тебе не перстенок, не корона алмазная, не шуба соболья!.. Э-хе-хе! Грехи наши тяжкие! Приворожила она его, что ли?

Князь окинул оценивающим взглядом стоявшую у витого столбика кровати женщину в ночном капоте.

Уложенные по-польски короной пышные волосы цвета вороньего крыла, соболиные брови, громадные, будто с иконы, глаза, затененные длинными и густыми ресницами...

Оно, конечно, верно — хороша, да не на русский манер. И породы не видать. Нет породы. Ни вальяжности тебе, ни дородности, ни стати, ни смирения благолепного, что всяку жену честного рода украшает. Какое уж смирение! Глазищи сквозь ресницы, как у волчицы, горят, огнем адским плещутся. Волчица, как есть волчица. И глядит и ходит волчицей...

Чернокнижница, решил Шуйский, волшебством присушила к себе сердце вора, по всему видно.

Скрипели перьями писцы и дьяки, составлявшие опись. Мимо окон спальных покоев с хохотом, гиканьем и свистом протаскивали за ноги труп самозванца. Марина стояла

спиной к окну, не видела, но по спине ее пробежала дрожь, бледное лицо с темными глазами стало совсем белым. Запрыгал на груди золотой крестик с брильянтами. Шуйский крикнул. На какое-то мгновение ему стало жаль эту гордую женщину, процарствовавшую всего несколько дней и теперь потерявшую все.

— Небось озябла, Марина Юрьевна?

Марина ничего не ответила, будто не слыхала.

«Спесива», — беззлобно подумал Шуйский. Он поискал холодными взглядными глазами в ворохе шуб, выбрал поплотнее, малость траченную молью, и приказал своему холопу отдать ее Марине.

— Иззябла, пушай прикроется. Негоже так-то, — сказал князь и, помедлив, добавил: — А крестик тельный у ей отыми. Тоже, видать, из казны царской...

Через некоторое время, когда в Москве стали появляться подметные письма и грамоты с печатью Дмитрия Иоанновича, а крестьянская армия Ивана Болотникова начала свой победоносный поход, Шуйский приказал отправить Марину и ее отца в Ярославль.

Дома, в которых находились высланные, были обнесены частоколом и охранялись стрельцами. Сюда допускались лишь слуги. От них-то Марина и узнала, что ее муж, оказывается, не был убит, как уверял Шуйский. В городе говорили, что Дмитрий тогда бежал из Москвы и теперь находится в Путивле, а его войска во главе с Болотниковым бьют почем зря воевод Шуйского. Не сегодня-завтра он вновь вернется в свой стольный город.

Но осень сменилась зимой, зима — весной, весна — летом. Вновь пришла осень, а в положении Марины ничего не изменилось. Доходившие же теперь до Ярославля слухи были противоречивы: то ли Дмитрий Иоаннович бьет Шуйского, то ли Шуйский бьет Дмитрия Иоанновича — не поймешь.

Но в июне 1608 года Юрий Мнишек получил почти одновременно два радостных известия.

Первое привез важный московский боярин, присланный в Ярославль Шуйским. Оказывается, «наяснейший король польский» Сигизмунд не забыл про сandomирского воеводу и его несчастную дочь. По его ходатайству великий князь и царь Руси Василий Иванович («Покарай его, господи!») изволил дать согласие на возвращение в Польшу всех ярославских ссыльных. Но, само собой понятно, Марина Юрьевна («Трясца ее бей, черно книжницу!») должна

в Москве, куда их спервоначалу повезут, всенародно отречься от звания русской царицы, а воевода — навсегда забыть про вора и черно книжника Гришку Отрепьева и впредь не именовать того вора своим зятем и царем.

Второе же известие привез переодетый в русское дворянское платье плечистый, весь в сабельных шрамах одноглазый шляхтич князя Яна-Петра Сапеги. Он сообщил воеводе, что Дмитрий Иоаннович жив и во главе войска успешно продвигается к Москве, где первым делом отсечет голову изменнику Шуйскому — зрелище, которым князь не прочь насладиться. Кроме того, польский магнат, отряд которого идет на помощь Дмитрию Иоанновичу, просил заверить Юрия Мнишека, что сочтет долгом чести освободить ясновельможного пана воеводу и его дочь, когда Мнишеков из Москвы повезут в Польшу. Князь Сапега тотчас доставит их к Дмитрию Иоанновичу, который ждёт не дожидется встречи с любимой женой и любезным его сердцу тестем.

Видимо, тогда же, как залог скорой встречи венценосных супругов, шляхтич вручил Марине вывезенную атаманом Заруцким из осажденной Тулы большую государственную печать, дважды воскресившую Дмитрия Иоанновича.

На печати по-прежнему, как и два с лишним года назад, темнела знакомая надпись: «Пресветлейший и непобедимейший монарх Дмитрий Иоаннович, Божию милостию Император и Великий князь вся России и всех татарских царств и иных многих государств Московской монархии подвластных государь и царь».

Марина не могла отвести глаз от печати, которая была для нее не просто куском металла, а свидетельством того, что скоро воеводенка Сandomирская и старостенка Львовская вновь ощутит на голове своей тяжесть русской короны и увидит согнутые боярские спины в Большой золотой кремлевской палате, где со временем среди портретов великих князей и царей русских появится и ее изображение: «Марина Юрьевна, Божию милостию Императрица и Великая княгиня вся России и всех татарских царств и иных многих государств Московской монархии подвластных государыня и царица»...

Одноглазый шляхтич с изумлением смотрел на преобразившееся лицо дочери сandomирского воеводы. Матка боска! Не глаза — звезды! Бледные щеки вспыхнули румянцем, горят огнем...

Женщины, женщины, кто вас может понять?!

Он покосился на воеводу, подкрутил усы и, подбоченясь, оперся на саблю. Но Марина не видела его и не слышала, что он говорит. Марина в эту минуту вслушивалась в звон московских колоколов и восторженные крики народа, приветствующего возвращение своей любимой царицы.

Трещали барабаны, цокали по тесаным бревнам копыта сотен коней, нежно звучали флейты, и щебетали птицы... Будь здрава, Марина Юрьевна!

Она видела, как небесной молнией сверкнул над головой Шуйского топор палача — и покатилась, застучала по ступеням эшафота бородастая голова проклятого князя. Тук-тук-тук...

А вот и построенный в ее честь дворец с видом на Москву-реку, стены покоев, обитые парчой и рытым бархатом. Позолоченные гвозди, крюки, цепи и дверные петли. Зеленые печи, обведенные серебряными решетками, алые шторы на слюдяных окнах...

— Если пани Марина позволит... — сказал одноглазый шляхтич и тут же поправился: — Если ваше императорское величество позволит, я пойду спать. Надо отдохнуть. Завтра опять в дорогу.

Марина кивком головы отпустила шляхтича. Она положила печать на стол и нежно погладила ее ладонью.

Увы, Марина тогда еще не знала, что нельзя доверять свидетельству печати, вырезанной Прокопом Колченогим из Стрелецкой слободы, если эта печать уже побывала в ловких руках князя Шаховского, атамана Заруцкого, польского авантюриста Сапеги и человека, подлинного имени которого никто и никогда не узнает...

Вскоре Мнишеков доставили в Москву. А оттуда, опасаясь разосланных по всем дорогам отрядов самозванца, повезли не прямо к границе, а окружным путем: сначала в Углич, который положил начало истории с печатью, а затем в Тверь. Но эта хитрость ни к чему не привела. 16 августа у деревни Любеницы Мнишеки были перехвачены всадниками Яна Сапеги, который встретил Марину как законную русскую царицу. Тут же ее приветствовал спешивший к самозванцу русский князь Масальский.

Не следовало бы Масальскому излишне откровенничать, а не удержался...

Князь влил первую ложку дегтя в бочку меда. Большую ложку...

— Вы, Марина Юрьевна, радуетесь предстоящей встрече, веселитесь, — не без ехидства сказал Масаль-

ский. — Оно бы и кстати. Да только в Тушине, Марина Юрьевна, не ваш муж. Дмитрий Иоаннович, да не тот, что в Москве. Другой в Тушине Дмитрий Иоаннович...

Марина побелела.

— Говорите, князь, да не заговаривайтесь!

Высказанное Масальским могло стоить ему головы. И, испытывая злорадное удовлетворение, князь в ту же ночь тайно покинул лагерь Сапеги.

То, что сказал Масальский, было ошеломляющей неожиданностью для Марины, но не для сandomирского воеводы, которого Сапега уже посвятил в летопись царствования в Путивле похищенной князем Григорием Шаховским большой государственной печати и в то, как атаман Заруцкий с помощью панов отыскал для России нового Дмитрия Иоанновича.

— Как это ни печально, но ваш зять действительно убит москалями 17 мая 1606 года, — говорил Сапега Юрию Мнишеку. — Но поверьте вашему старому и искреннему другу, пан воевода, его гибель отнюдь не означает гибели ваших надежд. Отнюдь. Во Франции, когда умирает король, говорят: «Король умер. Да здравствует король!» В этом великая мудрость. Люди в коронах, как и все мы, смертны. Но сама корона, возвышающая человека над своими соплеменниками, вечна. Каждому, кто ее надел, она дарит власть, права, могущество. И король вечен так же, как и его корона, пока она, разумеется, находится на его голове... Ваш зять убит, но русский царь Дмитрий Иоаннович жив. Пусть он в ином обличье, но кто посмеет разглядывать лицо под короной? Смелчак тут же станет добычей палача... Следовательно, ваша очаровательная дочь не вдова, а жена русского царя Дмитрия Иоанновича, коронованная царица. Она по-прежнему имеет законное право на русский престол и на все привилегии, вытекающие из этого права. Единственное, что от нее требуется, — «узнать» Дмитрия Иоанновича. Но разве так уж трудно узнать своего супруга, даже если за два прошедших года он несколько изменился лицом? Ведь корона на нем будет та же самая, русская царская корона...

Мнишек и князь Сапега проговорили всю ночь. Разговор двух вельмож был предельно откровенен.

О Лжедмитрии Втором Сапега был невысокого мнения.

Новому Дмитрию Иоанновичу не хватало остроты ума и соответствующего его высокому сану воспитания. Пан



Меховицкий, пытавшийся обучить его манерам, к сожалению, не преуспел. Черная кость!

Смущало Сапегу и отсутствие вкуса. Разве человек с тонким вкусом будет именовать себя: «Димитрий Иоаннович, царь и государь вся Руси, Богом избранный и дарованный, Богом хранимый и чтимый, Богом помазанный и возвышенный над всеми прочими царями»?

— «Богом чтимый»! — смеялся Сапега. — Уж не зачисляет ли он всевышнего в число своих верноподданных бояр?!

Но Сапега ни в чем не винил князя Шаховского, атамана Заруцкого и польских панов. Упаси бог! Как говорят москали, на безрыбье и рак рыба. И если польская шляхта сумеет прибрать его к рукам, оттеснив русскую чернь и казачью вольницу, то польза от того будет великая. А пан воевода уже сейчас может извлечь немалую для себя выгоду. Ведь самозванец крайне заинтересован в том, чтобы русская царица Марина Юрьевна признала его подлинным Димитрием Иоанновичем. Счастье сандомирского воеводы в его собственных руках: от него зависит, остаться ему или нет тестем русского царя. Ведь Шуйский популярностью не пользуется, а русская чернь ждет не дожидается нового Болотникова и точит топоры на бояр.

На кого возлагает надежды чернь? На Димитрия Иоанновича. А кто может защитить бояр от крестьян и холопов? Шуйский? Нет, тот же Димитрий Иоаннович. Потому-то к нему и те и другие тянутся. Одни волю у него ищут, другие — управу на свое быдло. В Тушинском лагере и холопов с кольями увидишь, и знатных русских князей, и казаков, и польских панов.

Большая сила собирается в Тушине, а число сторонников Шуйского все уменьшается да уменьшается. Недолго ждать, когда «богом чтимый» Димитрий Иоаннович на престол взойдет. Тогда Димитрию Иоанновичу уже не понадобятся ни Марина, ни воевода Сандомирский. А куда они ему нужны. Ох, как нужны! Так что пусть Марина Юрьевна не упустит своего счастья. Или сейчас, или никогда. Решать ей, конечно, и пану воеводе. Но и добрый совет князя Сапегу чего-нибудь да стоит. Князь Сапега не зря прибыл в Тушино из Польши со своими храбрыми воинами. Князь будет до последнего биться за Димитрия Иоанновича и... за себя. Он не сомневается в победе. Князь еще украсит алмазами и самоцветами сбрую своего коня, а его дворцу в Москве позавидует сам польский король.

Богата Русь и щедр на русское добро «богом чтимый» Димитрий Иоаннович!

Ночной разговор с Сапегой, который был пересказан воеводой дочери, произвел на нее сильное впечатление. Правда, сразу решиться на такой шаг Марина не могла. Но уж слишком многое сулила волшебная печать, вырезанная Колченогим Прокопом из Стрелецкой слободы...

И все-таки по просьбе Марины и Юрия Мнишека отряд Сапегу не сразу въехал в Тушино, а разбил свои шатры в версте от лагеря.

Начались пятидневные переговоры между Лжедмитрием Вторым и Юрием Мнишеком, в которых, разумеется, принял участие и князь Сапега.

Переговоры напоминали базарный торг. Воевода очень боялся продешевить. Но сделка была для него выгодной. Лжедмитрий Второй оказался еще более щедрым, чем Лжедмитрий Первый. Он обещал воеводе за Марину триста тысяч рублей и Северскую землю с четырнадцатью городами. А когда Шуйский будет свергнут с престола, то на голову Марины всероссийский патриарх вновь наденет корону. Разве плохая цена за признание?

Плата приличная, ничего не скажешь...

— Согласна? — спросил воевода дочь.

Марина молчала.

— Решай. Самозва... Димитрий Иоаннович ждет ответа.

Это была единственная возможность вернуть прекрасное прошлое. Но как Марине был омерзителен человек, выдававший себя за Димитрия Иоанновича! Лицо, походка, манера говорить — все в нем вызывало отвращение. Нет, ни за что!

— Да или нет? — вновь спросил воевода, который уже начинал терять терпение.

— Да, — коротко и твердо сказала Марина.

Так в Тушине появилась царица.

Когда карета Марины въехала в укрепленный лагерь самозванца, с земляных валов ударили пушки — вторично спасшийся от смерти Димитрий Иоаннович приветствовал возвращение своей любимой жены.

Царь и царица, как это и было предусмотрено договором — триста тысяч рублей и Северская земля с четырнадцатью городами! — нежно обнялись на глазах у ликующего народа и не менее нежно расцеловались. Как-никак,

а они не виделись более двух лет. Стосковались друг по другу...

— Здрав будь, наш отец Димитрий Иоаннович!

— Будь здрава, наша матушка-царица Марина Юрьевна!

Юрий Мнишек, закончив свои деловые отношения с самозванцем, пробыл в лагере недолго. Новый Димитрий Иоаннович не вызывал симпатий. Кроме того, воевода слишком устал от приключений в России. Не по возрасту!

Налюбовавшись подарками от зятя (они были получены сверх обговоренного) и проследив за их упаковкой, Юрий Мнишек отбыл в родной Сандомир. Марина осталась в Тушине.

Князь Сапега, как выяснилось, проявил необоснованный оптимизм. Дела Лжедмитрия Второго не так уж долго шли в гору.

Силы самозванца, несмотря на вливающиеся в его армию отряды польских искателей приключений, не увеличивались, а уменьшались, вначале незаметно, а потом все более явственно. Заигрывания с боярами, грабежи шляхтичами сел и деревень заставили одуматься многих русских крестьян и холопов, которые стали понимать, что им не по пути с Димитрием Иоанновичем. Нет, на русскую «чернь», на тех, кого Сапега именовал «быдлом», Лжедмитрий не мог положиться.

Сильно пошатнули его положение и неудачные сражения под Псковом и Тверью. А когда Сигизмунд решил посадить на русский престол своего сына и объявил Шуйскому войну, то Тушино стали покидать и польские паны, предпочитавшие сражаться не под знаменами самозванца, а под знаменами своего собственного короля.

Теперь уже Марина не печалилась по поводу отсутствия в Тушине деликатесов (в марте 1609 года она писала отцу: «Помню, милостивый государь батюшка, как Вы с нами кушали лучших лососей и старые вина пить изволили. Этого здесь нет. Если имеете, покорно прошу прислать»).

Обстановка в лагере самозванца настолько накалилась, что Лжедмитрий, опасаясь заговора польской шляхты, для которой он стал теперь досадной помехой («Да здравствует русский царь Владислав Сигизмундович!»), бежал ночью в Калугу. Вскоре туда же уехали ненавистник Шуйского князь Шаховской и атаман Заруцкий.

Оставаться в Тушине, где началась резня между поляками и казаками, было опасно. Марина покинула лагерь и отправилась в Дмитровск к князю Сапеге.

Сапега принял ее гостеприимно, но сдержанно. От прежнего оптимизма у князя не осталось и следа. Настроен он был мрачно. По его мнению, Марину не ждало ничего хорошего. Без поддержки шляхты Димитрию Иоанновичу придется туго. А на поддержку рассчитывать больше не приходится. Какая уж тут поддержка! Сейчас война между Сигизмундом и Шуйским, а Димитрий Иоаннович не нужен ни тому, ни другому. Воевать ему против обоих противников? Пустое дело. Ждать у моря погоды? Тоже не выход. Плохи дела Димитрия Иоанновича. Не видать ему престола. Сидеть на русском престоле сыну польского короля Владиславу. Ничего уж тут не поделаешь. Судьба!

Сапега убедительно советовал Марине, пока еще не поздно, вернуться в Польшу. Этим она спасет не только себя, но и окажет услугу польскому королю. Ведь тому тогда легче будет справиться с Димитрием Иоанновичем. А король не забывает услуг. Марину в Польше ждет почет. Здесь же, в России, ей больше не на что рассчитывать. Князь не хочет ее запугивать, но она должна готовиться к самому худшему. Дни Димитрия Иоанновича сочтены, он всего лишь зерно между двумя жерновами. Увы, но это так. Польша, только Польша. Ежели ясновельможная пани согласна вернуться домой, князь готов ей в этом помочь.

Сапега говорил убедительно, еще более убедительно, чем тогда, когда сопровождал Марину в Тушинский лагерь. Но уж слишком много наобещала Марине печать Колченогого Прокопа, которая, как залог прекрасного будущего, хранилась в ее походном сундучке.

Нет, никогда она не откажется добровольно от престола. Никогда!

— Мне ли, царице всероссийской, в таком презренном виде явиться к родным моим?! — гневно сказала Марина. — Я готова разделить с царем все, что бог ни пошлет ему.

Сапега лишь пожал плечами. В конце концов, это ее дело. Уговаривая пана воеводу и Марину признать Лжедмитрия, он рассчитывал на выгоду для себя, теперь же... Дальнейшая судьба надменной красавицы его не очень занимала. У князя были свои заботы.

— Итак, вы уезжаете к Димитрию Иоанновичу?

— Да.

— Польские гусары будут счастливы сопровождать вас.

В ту же ночь в мужском кафтане красного бархата, в высоких сапогах со шпорами, с пистолетами и саблей Марина в сопровождении выделенного ей Сапегой конвоя усакала в Калугу.

А в декабре 1610 года Лжедмитрий Второй был убит из мести своими же приспешниками.

Но мечта Марины о троне вместе с ним не умерла. Почему бы не провозгласить царем всея Руси новорожденного Иоанна Димитриевича, правительницей при котором будет все та же Марина Мнишек? Неизвестно, кто подсказал ей эту мысль — печать Прокопа или атаман Заруцкий. Во всяком случае, Заруцкий обещал Марине свою поддержку. Но выполнить свое обещание он не смог...

В 1611 году на всю Россию прозвучали слова, сказанные в Нижнем Новгороде народу Козьмой Мининым: «Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, ни жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником».

Начальником ополчения, призванного освободить Москву от интервентов, был выбран по совету Минина князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Благодаря кипучей деятельности Козьмы Минина, который, по словам летописца, «жаждущия сердца ратных утолял и наготу их прикрывал и во всем их покоил и сими делами собрал не малое воинство», ополчение вскоре стало мощной силой.

Что может противостоять этой силе?! Явившиеся в Россию за легкой поживой войска польского короля? Казачьи атаманы, желающие посадить на трон сына Марины Мнишек, новорожденного Иоанна? Шведы, к чьей помощи прибег, пытаясь усидеть на троне, Василий Шуйский?

«Захотим помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего...»

Нижегородское народное ополчение Минина и Пожарского, в которое влились ратники из других русских городов, выступает в поход.

Атаман Заруцкий прекрасно понимает: это страшная

угроза не только для короля Сигизмунда, но и для честолюбивых планов Марины.

Заруцкий готов на все. Он не боится крови.

Но разве пигмей может справиться с великаном?

И все же что-то надо предпринимать.

Казаки Заруцкого пытаются остановить войска князя Пожарского на дороге из Переяславля в Москву.

Тщетно.

Марина по совету Заруцкого отправляет посла в Персию. Она предлагает союз шаху, не скупясь ни на какие обещания. Почему бы шаху не помочь русской царице?

Тщетно.

Посол перехвачен ратниками народного ополчения. Шах не получит грамоты пани Марины и не пришлет в Россию своих войск.

Что же еще?

Марина и Заруцкий подкупают убийц. На Пожарского совершается покушение.

Тщетно.

Казак, пытавшийся зарубить князя, схвачен и закован в цепи.

Наступает октябрь 1612 года.

Древняя столица России Москва полностью очищена от войск Сигизмунда. Один из тяжелейших периодов в истории России, получивший название «Смутного времени», завершен. Россия ликует.

Заруцкий и Марина обречены. Но атаман не отступил от своего обещания, которое теперь заведомо невыполнимо. Заруцкий не сложил оружия.

Отправленный против него воевода князь Одоевский в конце 1613 года нагнал мятежного атамана под Воронежем. Ожесточенная битва продолжалась два дня и закончилась поражением Заруцкого. С остатками своего отряда Заруцкий и Марина уходят в Астрахань. Здесь Марина вновь пытается заручиться поддержкой персидского шаха. Одновременно она отправляет посла и в Турцию.

Опасаясь новой смуты, царь Михаил Романов шлет атаману в Астрахань грамоту. «Вспомни Бога и душу свою и нашу православную христианскую веру... — пишет он. — Отстань от своих непригожих дел, не учиняй кровопролитий в наших государствах, не губи души и тела своего, побей челом и принеси вину свою нам, великому государю, а мы, государь, по своему царскому милостивому нраву

тебя пожалуем, вины твои все тебе простим и покроем нашим царским милосердием; и вперед вины твои никогда помянуты не будут; а вот тебе и наша царская опасная грамота!»

Семнадцатилетний Михаил Романов, который был не только «млад» и «неопытен», но и «скорбен умом» (Шереметев писал князю Голицыну в Польшу, что «Миша Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поведен»), верил, видно, в силу царского слова и царских грамот. Но его опытные советники немало повидали в Смутное время. Они были очевидцами того, как Шуйский, тут же забыв про «крестное целование», казнил Ивана Исаевича Болотникова, как царица Мария Федоровна своим царским словом заверила народ, что Лжедмитрий ее сын...

Нет, не поверит Заруцкий! Да и нет ему хода в обрат, не одной веревочкой связан он с ворухой Мариной и воренком Ивашкой. Заруцкого не царским словом, а пищалью да саблей брать надо!

Потому-то вслед за грамотой царя Михаила в Астрахань с большим войском были посланы все тот же князь Иван Одоевский и окольный Семен Головин.

Но когда стрельцы подошли к городу, выяснилось, что ни Марины, ни мятежного атамана там уже нет. Пока шло войско, в Астрахани произошло восстание. Восставшие побили много казаков мятежного атамана и осадили Кремль, в котором заперлись Марина и Заруцкий. Кремль подожгли, да только без пользы... Ночью осажденным удалось прорваться к Волге, где они захватили струги. На тех стругах и ушли вниз по течению к морю. Искать их искали, а не нашли. То ли в Персию убежали, то ли на Яик...

«На Яик ушли», — сказал под пыткой схваченный в степи казак Заруцкого.

Одоевский отправил на розыски беглецов несколько стрелецких отрядов.

24 июня один из них вышел к Медвежьему острову, где стоял построенный волжскими казаками острог. Здесь-то и нашли свое последнее пристанище атаман и русская царица Марина Юрьевна с сыном Иоанном. Острог обложили со всех сторон: мышь незамеченной не выскочит. Казаки отстреливались, но вяло — и воинов не густо, и припасов в обрез.

Стрелецкий голова Михайло Соловцов послал в острог стрельцов для переговоров. Выдадут казаки воров, при-

несут вину свою — живы будут. Нет — всех стрельцы перебьют. Стрельцов несколько сот, казаков несколько десятков...

Атаман Треня Ус сказал Заруцкому:

— Ты уж, Иван Мартынович, не обессудь, а замест тебя помирать нам вроде бы и не с руки... Да и царица нам опосля нашей смерти ни к чему. Так что извиняй, Иван Мартынович!

Заруцкий, изогнувшись всем телом, выхватил саблю. Но на него навалились, сшибли с ног, обезоружили.

Треня Ус подошел к Марине:

— Не обессудь и ты, Марина Юрьевна. Видать, не судьба тебе корону носить. Кафтан на тебе мужской, выходит, и долю тебе свою не по-бабски, а по-мужски принимать надо — без криков да причитаний. На все свое время: и на гульбу и на ответ, Марина Юрьевна! Не обессудь. Не по своей вольной воле стрельцам выдаю.

Марина Мнишек, Иван Заруцкий и трехлетний «царь всея Руси Иоанн Димитриевич» были связаны казаками и приведены на арканах к Соловцову.

«Иоанна Димитриевича» стрелецкий голова велел связать: «И так не убежит несмышлениш. Ишь, слезьми заливаются. Хошь и воренок, а все одно дите малое».

6 июля все трое были доставлены в Астрахань. Оттуда их на стругах повезли в Казань.

Большую же государственную печать, которая лежала на дне сундучка Марины, Михайло Соловцов, как только струги отплыли от астраханской пристани, в Волгу бросил.

Всплеснулась серебром волжская вода — и вновь гладь.

Отцарствовала воровская печать Гришки Отрепьева!

Да была ли она, эта печать, найденная Михайлом Соловцовым на дне сундучка Марины Мнишек, той Марины, что сидит сейчас в оковах на палубе струга?

Может, ее вовсе и не было, привиделось стрелецкому голове?

Нет, была. По всему видать, была, проклятая.

И печать была, и колокол, что сполох бил, и бунт холопов, и пожарища, и страшный Иван Болотников, коему по указу царя Василия Ивановича Шуйского глаза выкололи да в прорубь спустили... Все было. Было, да прошло. И слава богу, что прошло!

Михайло Соловцов вытер свои опоганенные воровской печатью руки о полу кафтана, истово перекрестился, вдох-



нул полной грудью густой, пахнувший травой и рыбой воздух.

Легкий ветерок колыхал висящий над стругом царский флаг с ликом Казанской божьей матери. Отливали бронзой под неярким утренним солнцем мокрые от пота голые спины гребцов. Скрипели уключины весел. Лениво, будто спросонья, катила свои волны Волга. Кричали над водой чайки.

Тишь да благодать. Вот так бы до самой Казани!..

Соловцов слово в слово помнил наказ князя Ивана Никитича Одоевского: «Везти Марину с сыном и Ивашку Заруцкого с великим береженьем, скованных, и станом становиться осторожно, чтобы на них воровские люди безвестно не пришли. А буде на них придут откуда воровские люди, а им будут они в силу... побити до смерти, чтобы их вору живых не отбили».

Что ж, стрелецкий голова и его стрельцы настороже. Но волжские берега пустыньны — ни конных, ни пеших.

Соловцов зыркнул своими рысьими глазами под навес, где сидела с сыном Марина, и подумал: «Авось пронесет! Кто их отбивать будет? Без надобности они теперича лихим людям!»

Стрелецкий голова не ошибся. Никто не пытался напасть на государевы струги. И Марина, и Заруцкий, и «воренок Ивашка» уже никому больше не были нужны...

Узников без всяких происшествий доставили в Казань, а оттуда повезли посуху в Москву.

В Москве Заруцкого посадили на кол, малолетнего «Иоанна Дмитриевича» всенародно повесили за Серпуховскими воротами, а Марину... Впрочем, как закончила свою жизнь в России царица-одногодневка, в точности никому не известно. Кто говорил, что ее утопили, кто — что была она удушена. Во всяком случае, когда происходил обмен военнопленными с Польшей, королю официально было сообщено, что «вора Ивашку Заруцкого и воруху Марину с сыном для обличенья их воровства привезли в Москву... и Марина на Москве от болезни и от тоски по своей воле умерла».

Печатью же, которую стрелецкий голова Михайло Соловцов утопил в Волге, польский король по понятным причинам не интересовался. Не польской была та печать, а русской, простого мужицкого рода. И вырезал ее на страх боярам из языка ссыльного колокола русский умелец, Прокоп Колченогий из Стрелецкой слободы славного го-

рода Углича, где жил царевич Димитрий, коего, по преданию, бояре за его склонность к простому люду убить восхотели. Да не вышло то подлое дело у бояр: жив остался Димитрий Иоаннович!

А когда вернулся Димитрий Иоаннович на царство, то поставил он ту печать на свою грамоту, которая волю народу давала. Да только бояре ту грамоту скрыли, а Димитрия Иоанновича сказнили смертью лютою...

Вот какой была печать, которую Михайло Соловцов в Волге утопил!

Разве могла такая печать безвозвратно погибнуть? Нет, конечно.

Оказавшись на дне Волги, большая государственная печать Лжедмитрия лишь покинула страницы истории и вновь вернулась в легенду.

А легенда та рассказывала о чудодейственной силе печати. Тому, кто завладеет печатью Прокопа Колченогого, уверяли старики, быть царем на Руси. Но не обычным царем, а мужицким, добрым и справедливым, милостивым к народу и грозным к его поработителям, таким царем, о котором испокон веков мечтали русские крестьяне и холопы и каким они сделали царевича Димитрия.

Ну, а царем, понятно, каждому лестно стать. Потому-то охотников завладеть печатью Прокопа Колченогого немало нашлось. И дело то нехитрым казалось: место, куда Михайло Соловцов кинул со струга печать, в точности все окрест знали. Да и не мудрено было его приметить. Ежели ты там в полночь на лодке проплывешь, то обязательно услышишь из-под воды набатный гул. Там-то и ищи. Лежит там на дне печать, тебя дожидается...

Просто будто бы, да не очень. Многие пытались ту печать разыскать, а не смогли. Все дно обшупали — нет печати. То ли илом затянуло, то ли водяной ее под свою охрану взял и с ныряльщиками шутики шутил, а только все попусту.

Не дается ни в чьи руки печать Прокопа Колченогого. Что тут будешь делать!

Поостыл народ. Бог с ним, с царством, думает. Добудешь его али нет, а ребятишки тем временем с голоду помрут. И ранее без короны да трона жили, и теперича проживем. Ловилась б только рыбка в матушке-Волге. Оно и понятно, ежели с умом рассуждать: на пустое брюхо и царство не в царство.

Вот тут-то и нашелся добрый молодец. Правду сказать,

не астраханец, а казак с Дона. Звали того казака Степаном Тимофеевичем Разиным. Он-то и поднял печать Прокопа Колченого со дна Волги. Как ему удалось, бог весть. Да только слух был, что печать он и не искал вовсе. Сама-де всплыла она рыбкой со дна — и напрямик ему в руки юркнула. Дескать, долго я тебя дожидалась, любезный Степан Тимофеевич, да вот и дождалась, дотерпелась. Бери меня. Быть тебе, Степан Тимофеевич, мужицким царем!

Вон как!

Поглядел Разин на печать, а она на солнце жар-птицей горит. Значит, без обману, подлинная печать, царская.

Вышел он из воды на берег — а тут чудо! Загремел сам по себе ссыльный колокол в Тобольске, а вслед за ним по всей Руси из конца в конец все прочие колокола грянули. Аж земля затряслась!

Услышал то в Москве царь Алексей Михайлович и лицом побелел, ни кровинки. «Быть, говорит, великой беде для моего царства. Ктой-то, говорит, печать Прокопа Колченого на дне Волги отыскал». Ну, тут, понятно, все бояре да дворяне всполошились. Такой испуг на них нашел, что дрожья дрожат. А мужикам тот набат в радость, потому как волю возвещает. Взялись они за вилы да за топоры — и к Степану Тимофеевичу. Раз, дескать, отыскал ты печать Прокопа Колченого, то быть тебе мужицким царем Степаном Первым. Не отвертись. Веди нас, Степан Тимофеевич Первый, на бояр да на дворян. Будем с тобой за землю и волю биться.

И пошло великое народное войско, как встарь крестьянская рать Ивана Исаевича Болотникова, на своих кровопийцев-притеснителей.

Многих царских воевод побил оно, многих злодеев смерти предало. И быть бы простому казаку Степану Тимофеевичу мужицким царем, да оплошал он ненароком: обронил в бою печать Прокопа Колченого. Она и затерялась. А без той печати на Москву хода нет. Всякому понятно. Вот тогда-то все прахом и пошло.

Побили народную рать Степана Тимофеевича царские стрельцы. А самого Степана Тимофеевича как бунтовщика в Москве казнили.

Печать же Прокопа Колченого, кою обронил Степан Тимофеевич, царь Алексей приказал своим воеводам сыскать. Да только тот указ исполнен не был: не нашли воеводы печать, как ни старались. И решил тогда царь

Лексей — хитрый был царь! — убоготворить ссыльный колокол, чтобы он, значит, больше никаких помех для его царствования не делал. И послал он в Тобольск главного своего воеводу боярина Морозова. Тот, ясное дело, рад стараться. Поехал боярин в Сибирь и привез оттуда в Углич с превеликим почетом ссыльный колокол. Дескать, вот тебе царская милость. Окажи и нам милость, Христа ради, не бунтуй больше народ.

Так по сей день и стоит возвращенный из ссылки колокол в Угличе. И всяк может прочесть на нем надпись: «Сей колокол, в который били в набат при убиении благоверного царевича Дмитрия... прислан из гор. Углича в Сибирь в ссылку во град Тобольск к церкви всемилостивого Спаса, что на торгу.. Весу в нем 19 пд. 20 ф.»

А обо всем остальном в надписи той, известное дело, умолчали, чтобы народ не смущать.

Помнит колокол уговор с боярином Морозовым, молчит. А все ж три раза в год тихонечко по ночам вызывает жалостливо — никак удержаться не может. А вызывает он в дни смерти Дмитрия Иоанновича, Ивана Исаевича Болотникова да Степана Тимофеевича Разина..

Скорбит по ним колокол. Поминает, значит



## СЕРДЦЕ МАРАТА

Как грозное предупреждение всем врагам королевской власти возвышалась восьмибашенная Бастилия над Сент-Антуанским предместьем Парижа.

Казематы крепости-тюрьмы отличались вместительностью. В них с лихвой хватало места для всех неугодных всехристианнейшему королю строптивых вельмож и слиш-

ком глубокомысленных философов, бунтарей, ведьм, алхимиков, колдунов, придворных интриганов и свободолюбивых поэтов.

Узниками Бастилии были таинственный человек с лицом, постоянно закрытым железной маской, которому посвящены сотни исследований, рассказов и романов, король авантюристов граф Калиостро, великий Вольтер и даже французская энциклопедия, книга, по мнению монарха, оскорбляющая святую церковь и подрывающая устои королевской власти.

За четыре столетия камни Бастилии не только покрылись мхом, но и имели честь познакомиться со многими узниками, чем-либо разгневавшими Карла Безумного и Карла VII, многочисленных Людовиков и различных Генрихов.

Казалось, королевская власть и ее грозный оплот вечны. Но наступил 1789 год, и 14 июля Бастилия штурмом была взята восставшим народом. А еще через некоторое время крепость-тюрьма превратилась в руины. На месте Бастилии раскинулась обширная площадь с многозначительной надписью: «Здесь танцуют». И действительно, парижане праздновали здесь свое освобождение. Что же касается камней крепости, то они были проданы с аукциона. Выручка по точным подсчетам современников составила весьма солидную сумму: 943 тысячи 769 франков.

Этими камнями украшали фасады домов, на которых было написано: «Свобода, Равенство, Братство», строили из них «Алтари отечества» и складывали постаменты для статуй. Камни тюрьмы превращались в бюсты Жан-Жака Руссо, Вольтера, Дантона, Робеспьера, в амулеты солдат революции, табакерки санкюлотов, в серьги «а ля республика» и колые «гильотина».

Камням Бастилии, ставшим реликвиями революции, предстояла долгая жизнь.

Треугольному, оправленному в серебро каменному медальону, который лежал перед нами на гладкой полированной поверхности письменного стола, было без малого двести лет. Немой свидетель Французской революции...

Но немой ли?

По темному от времени серебру медальона раскинулась черная паутина миниатюрных, почти микроскопических рисунков.

— Ньелла или, как у нас ее чаще называют, чернь, — объяснил Василий Петрович. — Один из древнейших спо-

собою обработки серебра. Ньеллатор обычно рисует орнамент, портрет или сцену на прозрачной бумаге и специальной иглой процарапывает контуры на металл. Затем — гравировка резцом. Образовавшиеся углубления заполняются расплавленной смесью олова, меди, буры и серы. Потом выступающие наружу излишки сплава удаляются, и после охлаждения получается ньелла — черное изображение на белом блестящем фоне. Ньеллатор должен быть искусным рисовальщиком и хорошим гравером. Рисунки на этом медальоне сделаны в манере флорентийских мастеров, но скорее всего их делал француз.

Я взял медальон в руки и поднес его к глазам. Ньелла изображала похороны Марата.

На лицевой стороне медальона в орнаменте из острокопечных фригийских колпаков высилась украшенная лентами четырехгранная усеченная пирамида. На ее вершине в окружении горящих факелов стояло ложе с обнаженным по пояс, так, чтобы была видна рана, телом Друга Народа. Справа — ванна, в которой тяжелобольной Марат работал над очередным номером своей газеты, слева, на деревянном чурбане, служившем трибуну революции письменным столом, — его окровавленная рубашка.

На тыльной стороне медальона, в его верхней части, — прорезные контурные изображения Бастилии и двух отрубленных голов: Людовика XVI и Шарлотты Корде. Под ними — снова сделанные чернью слова Марата: «Свобода должна существовать только для друзей отечества, железо и казни — для врагов».

Медальон не напоминал о прошлом — он его воскрешал.

Всматриваясь в рисунки, я видел перед собой семнадцатилетнего юношу Жан-Поля Марата, который собирается ехать в далекий Тобольск для астрономических наблюдений, Марата-ученого, чьи исследования электричества были удостоены похвалы Франклина, и Марата — члена грозного Конвента, в ботфортах, кожаных штанах, в куртке с открытым воротом и красным платком на голове...

Я чувствовал дыхание сотен людей, сгрудившихся в Пале-Рояле вокруг скамьи, на которой стоял Камилл Демулен, призывающий народ к оружию. Видел раздраженное старческое лицо русской императрицы Екатерины II, склоненное над листом плотной бумаги с золотым обрезом. «Я не верю в великие правительственные и зако-

нодательные таланты сапожников и башмачников, — писала царица. — Я думаю, что, если бы повесить некоторых из них, остальные одумались бы... Эти каналы совсем как маркиз Пугачев».

Я слышал грохот пушек и стук деревянных башмаков санюлотов, мелодию «Марсельезы» и голос Робеспьера, видел, как представители Совета Коммуны вручают почетную шпагу основательнице Народного клуба вооруженных женщин Теруань де Мерикур. Вместе с членами Национального собрания читал обращение гражданок секции городской ратуши:

«Жанна д'Арк спасла Францию в царствование деспота Карла VII. Окажемся ли мы менее мужественными, мы, свободные гражданки, поклявшиеся скорее умереть, чем вернуться в прежнее рабство?»

\* \* \*

В своей автобиографии Марат писал, что в пять лет он хотел стать школьным учителем, в пятнадцать — профессором. В восемнадцать — писателем, а в двадцать — гениальным изобретателем. Жак Дюпонт, которого называли на улице Муфтар Жак Десять Рук или Жак Счастливчик, был слишком слаб в грамоте, чтобы изложить на бумаге свои мечты. Да и мечтал ли он в детстве? Его будущее было предопределено чуть ли не при рождении. Маленький Жак твердо знал, что станет так же, как его отец, куафером. Не каким-нибудь брадобреем, а именно куафером, создающим из обычных, ничем не примечательных волос, растущих по воле всевышнего на голове у любой женщины, изящные и причудливые куафюры — прически-шляпы, подлинные произведения высокого искусства.

Из всех многочисленных ремесел куаферство было наиболее почетным, а главное — прибыльным. Если на улице Муфтар большинство жителей ютилось в жалких лачугах без печей и ежедневно обедало жидкой чечевичной похлебкой с ячменным хлебом, то в доме Дюпонтов никто не дрожал от холода, а в похлебке, которую варила мать Жака, порой можно было без особого труда выудить кусок не особенно жилистого мяса. Более того, маленький Жак, прозванный товарищами Счастливчиком, получал от отца по праздникам несколько су и мог угостить своих друзей самыми изысканными яствами, не исключая каштанов в сахаре. И Дюпонт-старший ежедневно молился

за здоровье королевы Марии-Антуанетты, той самой австриячки, которую проклинали все его соседи: бочары, лудильщики, плотники, угольщики и чистильщики обуви.

Отец Жака рассматривал ее как святую покровительницу куаферов. Ведь не кто иной, как она ввела в моду высокие, иногда в метр вышиной, прически, которые подпирались специальными пружинными подушечками на проволоке или китовом усе. Она, благослови ее бог, даже сама изобрела как-то удивительную куафюру-ландшафт. Голову королевы украшали сделанные из собственных волос и цветной эмали очаровательные горы, между которыми в зеленеющих долинах, извиваясь, текли ручьи из серебряного глазета и цвели белым шелком вишневые сады. Правда, куафюра оказалась несколько тяжеловатой, поэтому, чтобы Мария-Антуанетта не потеряла своей королевской осанки, ее прическу сзади поддерживал специальной палочкой с золотым полумесяцем шоколадный грум в белой чалме.

Куафер из Сент-Антуанского предместья никогда, разумеется, не был в числе тех, кто колдовал над волосами королевы или ее придворных дам. Герцогини и маркизы обходили его своим вниманием. Но зато к нему охотно обращались жены и дочери мелких чиновников, откупщиков средней руки и лавочников. Каждая уважающая себя дама стремилась блеснуть оригинальной куафюрой.

Дюпонт-старший был завален работой, и не достигший еще десяти лет Жак старательно помогал отцу. Вначале его обязанности сводились лишь к тому, чтобы подать отцу ту или иную расческу, щипцы, помаду для волос, коробочку с вырезанными из тафты мушками, вовремя накинуть на даму пудер-мантиль и, пока отец не закончит пудрить куафюру, держать перед лицом клиентки длинную маску со слюдяным окошечком для глаз.

Жак с интересом наблюдал, как волосы дамы под умелыми руками его отца за несколько часов превращались то в рыцарский замок, то в рог изобилия, то в розовый куст.

Вскоре он научился пользоваться набором расчесок и гребешков, щипцами для завивки, многочисленными помадами и подбирать цветные гаммы из пудры всех цветов и оттенков. Затем он попробовал делать эскизы новых куафюр. Некоторые из этих набросков отец одобрил. Куафюры-накладки «Висячие сады Семирамиды» и «Морской бой» пришлось по вкусу почти всем клиенткам, а куа-

фюра «Афродита» пользовалась популярностью даже среди настоящих светских дам.

Дюпонт-старший предрекал своему сыну великое будущее. Но пророк из него не получился. Жак так и не стал куафером, а его отец в один из ненастных парижских дней внезапно превратился из уважаемого мастера в обычного уличного брадобрея, который радуется любому клиенту и едва сводит концы с концами. Своим падением, как и возвышением, он был обязан все той же Марии-Антуанетте... После болезни королева потеряла почти все свои волосы. Поэтому куафюры тут же вышли из моды. Версальские, а вслед за ними и все прочие французские дамы вновь стали носить скромные небольшие чепчики: «чепчик-репа», «чепчик-капуста», «чепчик-сельдерей»...

И, посоветовавшись с женой, убитый горем Дюпонт решил определить сына в ученики к серебряным дел мастерам мосье Жиронди, который охотно взял способного мальчика.

Исчезновение куафюр не было для Жиронди таким несчастьем, как для Дюпонта. Серебряные блохоловки по-прежнему пользовались спросом, только теперь их носили не в волосах, а на груди в виде медальона и именовали «щитами Минервы». Серебряные же пряжки на мужских башмаках совсем не уменьшились в размерах. Кроме того, к мосье Жиронди поступали заказы на украшение серебром ручек зонтиков, тростей и лорнетов.

Дела же отца Жака пришли в окончательный упадок. Теперь по милости проклятой австриячки дом Дюпонтов уже ничем не отличался от других домов на улице Муфтар. Здесь, так же как и у соседей, ели жидкую похлебку, носили деревянные башмаки и молили бога подарить Франции другую, более порядочную королеву, с сердцем, открытым для простого люда, и, если бог, конечно, не возражает, с длинными и густыми волосами, специально предназначенными для замечательных куафюр...

Старый куафер даже придумал королевскую прическу. Украшенная золотой и серебряной филигранью, она должна была отразить славные дела королей из династии Бурбонов начиная с доброго Генриха IV, который хотел, чтобы каждый его подданный мог полакомиться пуляркой.

Дюпонт мечтал о том, как его куафюра завоюет всю Францию и его имя будет знать каждый подмастерье, посвятивший свою жизнь куаферству. Но узкие, без тротуаров улицы Парижа, по которым с грохотом стреми-



тельно проносились элегантные экипажи и золоченые кареты, не были приспособлены для мечтаний. И когда отец рассказывал Жаку — в который раз! — о своей королевской куафюре, на набережной Контти их сшибла карета.

Обычно аристократы из-за подобных пустяков не задерживались. Но на этот раз кучер, повинаясь приказу своего господина, придержал лошадей.

Брат короля и будущий король Франции граф д'Артуа, обладавший, по словам современника, «всеми качествами, необходимыми для того, чтобы изящно проиграть сражение и любезно разорить династию», искал популярности не только у дворянства, но и у глубоко презираемой им черни. И хотя этот прыщеватый юноша очень торопился в Версаль, он не мог лишить себя удовольствия продемонстрировать истинно королевское великодушие и трогательную заботу о будущих подданных. Поэтому граф послал лакея передать пострадавшим свой тощий по милости скупердя брата кошелек («О, эта свинья Луи!») и выразить сожаление, что его кучер столь неловок.

К несчастью, Дюпонт-старший не смог оценить самоотверженность высокородного графа, так как был уже мертв. Зато пестрая уличная толпа приветствовала д'Артуа восторженными криками, а нищие, не обращая внимания на удары бича (кучер вымещал на них свою обиду за незаслуженный выговор господина), плотным кольцом окружили карету, моля о подавании и показывая свои язвы.

Между тем, растолкав зевак и убедившись, что брадобрею теперь ничего не нужно, кроме заупокойной молитвы и места на кладбище, посланец графа, отличавшийся трезвостью ума и хорошим знанием арифметики, поспешно разделил содержимое кошелька на две части. Одну половину он оставил себе, а другую честно отдал Жаку, который со сломанными ребрами лежал в сточной канаве и тихо стонал.

Молодой неотесанный простолюдин, конечно, не догадался поблагодарить графа за милость, тем не менее лакей, который тоже был чем-то вроде графа среди прочих лакеев, сообщил ему, что его господин, граф д'Артуа, щедро оплатил похороны умершего, а к нему придет врач. Кажется, молодого недотепу это проняло: на его глазах выступили слезы. Но до чего все-таки груба и неблагодарна парижская чернь! Лакей был возмущен. Но он, понятно, ничего не сказал своему господину. Он был хоро-

шо вышколен и не хотел ничем огорчать своего великодушного хозяина.

...Кучер в последний раз достал бичом наглого одного нищего, который кричал, что потерял свою ногу, сражаясь за христианнейшего короля, и карета помчалась в Версаль.

Итак, Жака не зря прозвали Счастливым.

Во-первых, отец его умер не от голода, а погиб под колесами великолепной позолоченной кареты младшего брата всемилостивейшего монарха, рассказывая сыну о куафюре, а не о болезнях.

Во-вторых, сам Жак не только не разделил участи отца, но и удостоился благосклонного графского внимания.

В-третьих, его ребра, ничем не примечательные ребра обычного ремесленника из предместья, оценили не в несколько су, а в десять ливров, что делало его почти состоятельным человеком и давало возможность из ученика сразу же превратиться в серебряных дел мастера.

В-четвертых, его теперь бесплатно лечил один из лучших медиков Парижа, «врач неизлечимых», доктор графа д'Артуа.

А в-пятых, и это самое главное, врач, навещавший Жака, знал не только медицину. Он знал, что нужно для счастья простых людей Франции. И в этом не было ничего удивительного, потому что ему предстояло вскоре стать одним из главных вождей Французской революции...

Так смерть куафера из Сент-Антуанского предместья свела Жака Десять Рук с Другом Народа Жан-Полем Маратом, врачом, ученым, памфлетистом и пламенным революционером, всегда утверждавшим, что «любовь к людям — основа любви к справедливости».

С тех пор Жак редко виделся с Маратом, но Марат навсегда вошел в его жизнь, так же как и тот знойный июльский день 1789 года в саду Пале-Рояля, когда из кафе де Фуа вышел со шпагой в одной руке и пистолетом в другой молодой, но уже достаточно известный журналист Камилл Демулен. Демулен призывал народ к оружию. Король, говорил он, должен наконец подчиниться воле третьего сословия, самого многочисленного сословия страны. Закончив свою горячую речь, оратор отломил нависшую над его головой веточку каштана и прикрепил к шляпе зеленый лист. И все слушавшие его поняли, что зеленый цвет — это цвет возрождающейся Франции. Тогда же на улицах Парижа появились женщины с волосами, укра-

шенными листьями каштана — куафюра, которую не успел придумать отец Жака. Женщины раздавали прохожим зеленые ленты. Этими лентами штурмующие Бастилию обвивали свои ружья, пики и пистолеты.

А потом, когда пропахший пороховым дымом, в изорванной одежде Жак нес пику, на острие которой качалась голова последнего коменданта павшей Бастилии де Лонэ, он думал об отце и Марате, о торжестве справедливости, о том, что самовластию аристократов положен конец. Жак считал, что революция, о которой ему говорил «врач неизлечимых», завершена. Но революция только начиналась.

Газета Жан-Поля Марата «Друг народа» была тревогу, предупреждая о готовящемся в королевском дворце заговоре и призывая французов, которым дорога завоеванная свобода, к бдительности. Но в Париже и его предместьях верили в доброго патриота Людовика XVI, верного сына Франции, который вместе с народом радуется поражению аристократов.

Верил в короля и Жак Десять Рук. Да и как не верить, если в Национальном собрании зачитывался королевский циркуляр: «Враги Конституции не перестают повторять, что король несчастен, как будто для короля может существовать другое счастье, кроме счастья его народа». Чтение этого документа прерывалось криками: «Да здравствует король!» Нет, Национальное собрание не сомневалось в преданности короля народу и поэтому направило во дворец депутацию, которая поздравила монарха и вручила ему сделанный на серебре Жаком Дюпонтom миниатюрный портрет. На этом барельефе Жак изобразил Людовика с головой, увенчанной фригийским колпаком — символом революции. Это была работа зрелого мастера — мосье Жиронди мог гордиться своим учеником. Монарх был растроган.

А утром 21 июня 1791 года Жак вместе с другими парижанами узнал о его вероломстве: королевская чета бежала из Парижа, чтобы возглавить армию эмигрантов, мечтающих о возвращении прошлого.

Вскоре стали известны и некоторые подробности заговора. Оказалось, что паспорт и необходимые для побега деньги изменники получили от русской баронессы Корф. Всехристианнейший король покинул дворец под видом лакея баронессы, а Мария-Антуанетта изображала ее горничную.

Да, не зря покойный отец Жака молил всевышнего о другой королеве. Но чем лучше своей жены сам король? И вообще, нужны ли свободной Франции король и королева?

Жан-Поль Марат считал, что нет, не нужны. И на этот раз Жак уже не сомневался в справедливости его слов...

Людовику не удалось убежать. Задержанные народом «лакей» и «горничная» госпожи Корф вынуждены были вернуться в Париж.

В тот же день Жак Десять Рук ударом молотка расплющил возвращенное ему прачкой из Тюильрийского дворца изображение короля-изменника. А некоторое время спустя бесформенный кусочек серебра превратился под руками мастера в чеканный брелок, имеющий вид рыцарского меча, перевитого трехцветной лентой. На ленте были вырезаны слова Марата: «Я поверю в Республику только тогда, когда голова Людовика XVI не останется на его плечах».

Этот брелок висел на цепочке часов парижского палача мосье Сансона, когда тот исполнил приговор Конвента над Людовиком XVI...

В отличие от своего соседа и товарища по ремеслу Россиньоля, которого революция сделала вначале комиссаром секции, а затем генералом и командующим армией, Жак Дюпонт не участвовал в боях с австрийцами, пруссаками и шуанами. Тем не менее он был добрым патриотом, что признавал и боевой генерал Россиньоля.

Жак служил Республике резцом, карандашом и кистью.

По его эскизу была вырезана знаменитая агатовая чаша, из которой во время революционных праздников пили символическую «воду свободы» на площади Бастилии члены Конвента. Его брелоки (заступ с надписью «Лучше смерть, чем рабство») стали принадлежностью каждого якобинца. Жак Десять Рук был одним из ревностных помощников первого художника Республики, друга Робеспьера Жака-Луи Давида, картины которого и поныне являются украшением лучших музеев мира. Вместе с ним Жак работал в Коммуне искусств и обсуждал, какими должны быть памятник «Слава французского народа» и «Храм революции».

Между тем в конце июня Марат тяжело заболел. Его постоянно мучили нестерпимые боли. Некоторое облегчение давали лишь теплые ванны. Марат-врач знал, что болезнь неизлечима и дни его сочтены, поэтому Марат-ре-

волюционер торопился, он хотел успеть сделать как можно больше до своей смерти. На учете была каждая минута. Марат с помощью жены и сестры превратил ванну в кабинет и, полуслепой, изможденный, ежедневно здесь работал по 16—18 часов.

В эти дни Жак Дюпонт в последний раз видел бывшего врача графа д'Артуа. Клуб Кордельеров включил его в делегацию, навещавшую больного в начале июля 1793 года. Их встретила и проводила к мужу молчаливая Симона Эрар.

Над покрытой доской ванной, рядом с которой стоял чурбан с чернильницей, возвышалась, как всегда, перевязанная красным платком голова Марата. Услышав скрип открываемой двери, Марат положил перо на доску и улыбнулся вошедшим. Симона внесла два тяжелых, грубо сколоченных стула.

Жак с ужасом смотрел на землистое лицо Друга Народа, на его выступающие углами из-под сорочки ключицы, исхудавшие руки. За то время, что они не виделись, Марат постарел на двадцать лет. Он казался дряхлым стариком. По-прежнему молодыми оставались только его пронизательные, живые глаза.

Угадав мысли Жака, Марат пожал плечами.

— Меня нисколько не беспокоит, — сказал он, — проживу ли я на десять лет больше или меньше. Мое единственное желание — сказать при последнем издыхании: «Я умираю удовлетворенный, так как отечество спасено».

Делегация кордельеров пробыла у Друга Народа недолго. Когда они уходили, Марат сказал:

— Ничего, друзья, у меня в запасе четыре месяца жизни, а может быть, и полгода...

Но Марат ошибся: его жизнь исчислялась не месяцами, а днями. Смерть уже стояла подле его дома в обличии миловидной двадцатипятилетней девушки с белокурыми волосами, одетой по последней моде того времени.

— Я хотела бы попасть к Другу Народа...

— Он тяжело болен, гражданка, — сказал Дюпонт

— Но у меня важное дело...

— Он никого не принимает.

— Жаль, очень жаль.

Девушка повернулась и пошла прочь. Это была аристократка из Нормандии, Шарлотта Корде, та самая Шарлотта Корде, которая десять дней спустя предстанет перед революционным трибуналом по обвинению в убийстве

Жан-Поля Марата и чей череп через девяносто шесть лет привезет на Парижскую выставку как самый сенсационный экспонат внучатый племянник Наполеона I Роланд Бонапарт...

Шарлотта Корде знала, как следует добиваться приема у Друга Народа. Рядом с убитым Маратом лежал окровавленный нож и прочувствованное письмо убийцы: «Достаточно того, что я была несчастна, чтобы иметь право на Вашу благожелательность».

Благожелательность Марата стоила ему жизни...

\* \* \*

Передавая Конвенту свою знаменитую картину «Смерть Марата», Луи Давид сказал: «Народ обращался к моему искусству, желая вновь увидеть черты своего друга... Я услышал голос народа, я повиновался ему».

Картина Давида предназначалась для миллионов французов, а сделанная из камня Бастилии Жаком Дюпонт-ом ньелла, в которую он вложил всю свою любовь к Марату, олицетворявшему Великую Революцию, — лишь для одной француженки: вдовы Друга Народа Симоны Эрар.

Когда Жак через несколько дней после смерти Марата принес медальон, Симона долго рассматривала ньеллу, и по щекам ее текли слезы. Затем она отрицательно покачала головой. Нет, она не примет этого подарка. Ей не понравилась ньелла? Нет, ньелла великолепна, но она не будет ее носить. Она не имеет на это права. Медальон, посвященный Жан-Полю, должен принадлежать только ему. Это будет справедливо.

Жак недоумевал. Может быть, горе лишило несчастную рассудка? Зачем мертвому медальон?

Но Симона не лишилась рассудка...

— Жан-Поль мне как-то говорил, — сказала она Жаку, — что сердце Вольтера было продано мужем его приемной дочери какому-то английскому коллекционеру за триста луидоров... К сердцу Марата не тянутся грязные руки, оно не будет продано с аукциона. Для сердца Марата высечена урна. Пусть медальон с пеплом сердца Друга Народа и хранится в этой урне. Медальон Друга Народа должен находиться там же, где и он сам.

Жак не возражал: то, что хотела Симона, действительно было справедливо.

Вечером того же дня Жак Дюпонт, его сосед, в не-

давнем прошлом рабочий-ювелир, а ныне генерал, Россиньоль, Симона Эрар и сестра Марата Альбертина встретились в саду Кордельерского монастыря возле холма из каменных глыб.

Здесь в закрытом железной решеткой склепе покоилось тело Друга Народа.

Альбертина отдала Жаку медальон, и Жак осторожно взял его в руки.

Это была сделанная им нъелла, но теперь камень Бастилии и серебро превратились в реликвию народа Франции: внутри медальона лежал маленький, цвета алой крови мешочек с пеплом сердца Жан-Поля Марата. В руках Жака было вечно живое горячее сердце Республики, и Жаку казалось, что он слышит тихий стук этого неутомимого сердца, которое билось для счастья простого народа.

Подержав несколько мгновений в руках медальон, Жак передал его Симоне, она поднесла нъеллу к лицу и приоткрыла к ней губами. Затем нъеллу взял Россиньоль и опустил пепел сердца Марата в урну, на дне которой лежали окрашенные кровью листки «Друга народа» от 13 августа 1792 года. Они находились тогда рядом с Маратом...

Россиньоль поклонился урне. Его примеру последовали остальные. Все четверо молчали. На возвышающейся над холмом пирамиде матовым блеском отливали покрытые позолотой слова: «Здесь покоится Марат, Друг Народа, убитый врагами народа 13 июля 1793 г.».

Марат погиб в тяжелое для Республики время. Против революционной Франции объединились все монархии Европы. Недисциплинированная, плохо вооруженная, голодная и раздетая армия Республики отступала под напором австрийцев, пруссаков и испанцев.

Необходимы были срочные, решительные меры. И революционное правительство их приняло.

Конвент утвердил декрет о всенародном ополчении. Пока враг не будет изгнан с территории Республики, все французы объявлялись мобилизованными. Молодым и одиноким предстояло сражаться на фронте, а пожилым и семейным — делать оружие, амунисию и собирать необходимую для производства пороха селитру.

На фасадах домов, в том числе и на доме Жака Десять Рук, который, словно оправдывая свое прозвище, превратил ювелирную мастерскую в ружейную, появилась гордая

надпись: «На гибель тиранам живущие в этом доме сдали полагающуюся порцию селитры».

Армии Республики нуждались в обуви. И добрые патриоты вместо кожаных башмаков стали носить деревянные, а комиссар Конвента Сен-Жюст, обращаясь к муниципалитету Страсбурга, заявил: «Десять тысяч солдат ходят босиком; разуйте всех аристократов Страсбурга, и завтра, в 10 часов утра, десять тысяч пар сапог должны быть отправлены в главную квартиру!»

На следующий день именитых жителей Страсбурга безошибочно можно было распознать по ногам...

Дети сдавали на оружейные заводы свои чернильницы, которые их отцы переливали в пули. Женщины щипали корпию и ухаживали за ранеными. И 30 декабря 1793 года в семь часов утра в Париже прогремел мощный артиллерийский залп, возвестивший о начале празднества в ознаменование побед на фронте. К Марсову полю двинулись вооруженные делегации 48 секций Парижа. Впереди, предшествуемый военными трубачами, — отряд кавалерии. За ним — 48 пушек, по одной от каждой секции. Ветераны революции, штурмовавшие Бастилию, несут вылитый из бронзы бюст Друга Народа. Этот бюст сделан тем же Жаком Десять Рук из обломков трофейных пушек. Военный оркестр исполняет «Гимн в честь Марата, Друга Народа, мученика свободы».

Да, Франция не забыла Марата. Когда Жак Дюпонт вечером пришел в сад Клуба Кордельеров, то он увидел, что железная решетка у входа в склеп украшена лавровыми ветками, а урна с пеплом сердца Друга Народа увита трехцветными шелковыми лентами.

«Меня несколько не беспокоит, проживу ли я на десять лет больше или меньше. Мое единственное желание — сказать при последнем издыхании: «Я умираю удовлетворенный, так как отечество спасено...»

Жак подошел вплотную к урне и тихо сказал:

— Отечество спасено, Друг Народа.

И ему вновь послышался стук сердца Марата.

Отечество спасено. Об этом свидетельствовали сообщения, поступавшие с фронта. Армии тиранов не в состоянии были выдержать натиск волонтеров революции.

И все же Жак, как и многие другие якобинцы, жестоко ошибался. Революция по-прежнему находилась под угрозой. Более того, день ото дня эта угроза нарастала. В самом Париже ткалась паутина заговора. В Конвенте испод-

воль готовился переворот. И 9 термидора (27 июля) 1794 года Робеспьер, его младший брат Огюстен, Сен-Жюст и другие соратники Неподкупного — так назвал Робеспьера Марат — были арестованы, а 10 термидора гильотинированы.

Исполнителем казни был тот же мосье Сансон, который до того казнил Марию-Антуанетту, Шарлотту Корде и прочих врагов революции. И если бы Жак Дюпонт находился в то время на площади, он бы заметил на животе палача хорошо знакомый ему серебряный брелок в форме перевитого трехцветной лентой рыцарского меча...

Мосье Сансон с привычной добросовестностью обошел эшафот, держа за волосы отрубленную им голову Неподкупного. Каждый человек в собравшейся вокруг эшафота многотысячной толпе мог убедиться, что мосье Сансон хорошо знает свое дело и не зря получает от казны деньги...

Казни следовали одна за другой. Термидорианцы пышно праздновали свою победу. На праздничный бал жена одного из руководителей переворота, мадам Тальен, прозванная Божьей матерью 9 термидора, явилась в длинной античной тунике с цветной накидкой и легких, одетых на голые ноги сандалиях. На голове прекрасной мадам возвышалась усыпанная изумрудами и украшенная белым атласом куафюра, на пальцах ног сверкали тысячами огней золотые кольца с бриллиантами, стоившими целое состояние. Это был прямой вызов голодающим парижским рабочим.

Термидорианцы каленым железом выжигали все, что напоминало о недавнем прошлом. По решению нового правительства было разрушено здание якобинского монастыря, где находился ненавистный термидорианцам Клуб. На месте Клуба раскинулся рынок имени 9 термидора, на котором, по мнению парижан, распродавались не столько продукты, сколько Республика...

Были упразднены Парижская коммуна и революционные комитеты, выпущены из тюрем роялисты — их место в камерах заняли якобинцы.

Всем, кто был связан с казненным Робеспьером, грозила смерть. Сразу же после переворота термидорианцы арестовали первого художника Республики Давида, генерала Россиньоля и даже будущего императора Франции — в то время мало кому известного генерала Бонапарта, которого заподозрили в симпатиях к якобинцам лишь на том основании, что комиссаром в южной армии был брат Ро-

беспьера Огюстен... Впрочем, все трое вскоре были выпущены, а генерал Россиньоля, несмотря на обвинительный приговор, получил назначение в действующую армию. Уж слишком большой популярностью пользовался этот генерал у рабочих и ремесленников Парижа...

На улицах кричали: «Долой якобинцев!», а порой можно было услышать: «Да здравствует король!»

В садах Пале-Рояля и Тюильри вновь появилась разряженная в пух и прах золотая молодежь с лорнетами и богато разукрашенными тростями. Мюскадены — бульварные франты, смачивавшие во время казни Робеспьера свои носовые платки в крови Неподкупного, распевали антиякобинскую песню «Пробуждение народа против террористов» и аплодировали генералу Мену, войска которого зверски подавили восстание санкюлотов и разоружили Сент-Антуанское предместье.

Все менялось. Лишь по-прежнему в саду Кордельерского монастыря белела мраморная урна с пеплом сердца Друга Народа. Более того, не желая без особой нужды раздражать простой люд, деятели 9 термидора в сентябре 1794 года торжественно перенесли тело Друга Народа в Пантеон (урна с сердцем осталась в саду монастыря). Термидорианцы не без оснований считали, что мертвый Марат для них не опасен.

Но перенесенному из сада Кордельеров гробу недолго суждено было стоять в Пантеоне. Слишком ненавистна была сама память о Друге Народа тем, кто фланировал теперь по улицам и бульварам города. И в феврале 1795 года Париж облетела весть, что мюскадены ворвались в Пантеон и надругались над прахом Марата.

Когда, узнав о случившемся, Жак Десять Рук прибежал в сад Кордельеров, он увидел валявшуюся на земле расколотую урну: мюскадены бесчинствовали и здесь. Невдалеке под чугунной скамейкой, на которой любила сидеть Симона Эرار, он нашел красный мешочек с пеплом и окрашенные кровью Марата листки «Друга народа»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Альбертина Марат подарила эти листки полковнику Морэну, который собирал коллекцию патриотических документов эпохи. А много лет спустя на них появилась запись, сделанная рукой знаменитого французского писателя Анатоля Франса: «По смерти полковника Морэна эти кровавые листки были перенесены со всеми его книгами в отель гр. А. де ла Тредуайер. У этого дворянина мрачные листки вызвали чувство отвращения, и он принудил моего отца убрать их; отец дал их мне, и таким путем они попали ко мне. Анат. Франс».



Жак обшарил все вокруг — медальона не было...

Чтобы расчистить дорогу к трону, консулу Бонапарту необходимо было избавиться и от приверженцев Бурбонов, мечтавших вместо казненного Людовика XVI провозгласить королем его брата, и от якобинцев, которые продолжали отстаивать идеалы Республики. Но все же, по мнению первого консула, якобинцы представляли для него бóльшую опасность, так как пользовались поддержкой народа.

Наполеону нужен был лишь повод для их разгрома. И такой повод вскоре представился.

24 декабря 1800 года, когда первый консул, направляясь в Оперу, проезжал по улице Сен-Никез, позади его кареты взорвалась «адская машина». Мостовая покрылась телами убитых и раненых. Наполеон же не только остался жив, но и не получил даже царапины..

Как вскоре выяснилось, покушение на улице Сен-Никез организовали роялисты. Тем не менее начавшиеся сразу же после взрыва аресты якобинцев продолжались. Арестован был и генерал Россиньоль, которого полиция пыталась представить чуть ли не главным заговорщиком.

Полицейский чиновник, допрашивавший генерала, долго и настойчиво добивался от Россиньоля признания в том, что тот, якобы находясь на улице Сен-Никез, подал знак террористам приступить к действиям, как только появилась карета Наполеона. Но Россиньоль не собирался признаваться в том, к чему не имел ни малейшего отношения. И во время одного из допросов чиновник положил перед генералом медальон работы Жака Десять Рук:

— Вам знакома эта вещь?

— Да.

— Она была найдена недалеко от места взрыва.

— Допускаю такую возможность.

— У нас имеются данные, что медальон принадлежит вам.

Россиньоль заявил, что медальон никогда не являлся его собственностью и был похищен из урны в саду Кордельеров мюскаденами почти шесть лет назад. Что же касается самого Россиньоля, то он в то время, когда было совершено покушение, находился у себя дома в Сент-Антуанском предместье.

— Кто это может подтвердить?

— По меньшей мере три свидетеля.

— Три якобинца? — усмехнулся чиновник. — У поли-

ции более широкие возможности, чем у вас, генерал. В случае необходимости мы выставим тридцать три свидетеля. Но мне почему-то кажется, что такой необходимости не будет. Лучше всего против вас свидетельствует ваше собственное прошлое, генерал.

— Но, в таком случае, среди обвиняемых должен быть и министр полиции господин Фуше,— сказал Россиньоль.— В прошлом он был депутатом Национального собрания, председателем Якобинского клуба и, наконец, членом Конвента, из тех, что вместе с Дантоном, Маратом и Робеспьером голосовал за смерть Людовика...

— Прошлое господина министра успел забыть не только он сам, но и Франция,— возразил чиновник,— а о вашем прошлом все помнят, в том числе и вы. Поэтому, если вы даже не причастны к покушению, для вас все равно имеет смысл чистосердечно признаться. Лишь это может спасти вашу голову. Надеюсь, вы меня поняли?

Россиньоль прекрасно понял своего собеседника, но у него не было никакого желания признаваться в том, чего он не совершал. И хотя генерал великолепно знал хамелеона Фуше, с которым ему неоднократно приходилось встречаться во времена революции, он не мог не использовать последний шанс. Поэтому Россиньоль попросил передать министру полиции свою просьбу вызвать его на допрос. Чиновник не возражал. Разумеется, он безотлагательно передаст просьбу арестованного. В этом Россиньоль может не сомневаться.

— Но, как вы сами понимаете, генерал, министр очень занят и вряд ли сможет уделить вам время...

Однако сомнения чиновника не оправдались: Фуше нашел время для беседы с опальным генералом. Вечером того же дня Россиньоля привезли под охраной в министерство полиции и ввели в роскошно обставленный кабинет бывшего председателя Якобинского клуба.

— Мне бы хотелось побеседовать со своим старым другом наедине,— сказал Фуше, любезно приветствуя Россиньоля.

Стража тотчас же удалилась.

— Садитесь, генерал. Прискорбно, что нам привелось встретиться при таких печальных обстоятельствах, но все равно мне очень приятно вас снова видеть. Я стал сентиментален, а вы вызываете воспоминания, которые всегда приятны хотя бы потому, что являются воспоминаниями.

Россиньолю заметил на украшенном бронзой столе министра все тот же медальон.

— Прекрасная вещь,— сказал Фуше, который неплохо разбирался в ювелирных изделиях.— Если не ошибаюсь, работа Дюпонта?

— Да.

— Некогда я хотел у него приобрести бюст покойного Марата. Кстати, к Жан-Полю я всегда относился с глубоким уважением, хотя покойник и был несколько резковат и нетерпим. Но, насколько я понял, вы решили меня навестить не для того, чтобы предаваться воспоминаниям?

Выслушав Россиньоля, Фуше улыбнулся:

— Использовать медальон в качестве доказательства? Да, выдумка не из удачных. Ведь историю медальона знаете не только вы. К сожалению, в моем министерстве пока еще слишком много дилетантов. Увы, но это так. Можете не сомневаться, что ваша критика будет учтена, а виновные — мною наказаны. Я не потерплю таких грубых методов в полицейской работе. Но боюсь, что в вашей судьбе это никакой существенной роли не сыграет...

— Вы считаете меня виноватым в покушении?

— Разве я произвожу впечатление дурака? — вопрос на вопрос ответил Фуше.

— Тогда в чем же дело?

— В том, что вам необходимо было своевременно покинуть Францию.

Россиньолю пожал плечами.

— Вы, надеюсь, не будете отрицать, что являетесь якобинцем?

— Я всегда был якобинцем.

— То, что вы им были, не беда. Беда в том, что вы им остались,— благожелательно сказал Фуше. Он взял в руки медальон и прочел вслух выгравированные на нем слова Марата: — «Свобода должна существовать только для друзей отечества, железо и казни — для врагов»... Очень хорошо сказано,— кивнул головой Фуше.— У Жан-Поля было золотое перо. Но времена меняются. И первый консул считает, а у меня нет никакого желания с ним спорить, что друзьями отечества являются лишь друзья генерала Бонапарта. А ведь вы себя к их числу не относите, не правда ли?

— Нет, я не отношу себя к друзьям первого консула,— подтвердил Россиньолю.

— Тогда для вас остаются лишь железо и казни...

— Даже если я не принимал участия в покушении?

— А какое это имеет значение? Если вы не принимали участия в этом заговоре, то вы, по всей вероятности, будете участвовать в следующем. Не лучше ли вас избавить от искушения? Я очень сожалею, генерал, но не уверен, что смогу чем-либо помочь вам. Впрочем, я подумаю.

...Спустя две недели, когда Россиньоля отправляли в ссылку на Сейшельские острова, его навестил в тюрьме полицейский чиновник.

— Господин министр поручил мне передать вам этот медальон и сказать, что, к его глубочайшему сожалению, это единственный подарок, который он может вам сделать.

Что ж, Фуше проявил если не благородство, то внимание. На большее Россиньолю и не рассчитывал. Он вложил в нательную переданную ему накануне Альбертиной Марат красный мешочек и повесил медальон себе на шею.

А на следующий день отплывающий из Марселя бриг «Святая Женеви́ева» навсегда увез мятежного генерала из Франции...

\* \* \*

— Теперь, насколько я понимаю, нам с вами предстоит путешествие на Сейшельские острова? — предположил я.

Василий Петрович отрицательно покачал головой:

— Не угадали. Но мы действительно покинем Францию.

— И куда же мы отправимся?

— В Россию, в излюбленную летнюю резиденцию русских императоров и императриц — в Царское Село.

Треугольный медальон загадочно мерцал в свете настольной лампы.

В орнаменте из остроконечных фригийских колпаков на вершине пирамиды покоилось освещенное факелами тело Друга Народа. Лавровый венок, ванна, окровавленная рубашка...

Резец мастера пронес через века не только память о великом революционере, но и торжественную скорбь французского народа, прощающегося с Маратом.

— С того дня, как генерал Россиньолю оказался на борту «Святой Женеви́евы», прошло семнадцать лет,— сказал после паузы Василий Петрович.— За эти годы, как вы знаете, в мире произошло много больших и малых событий. Некоторые из них давно забылись, другие вошли в

учебники истории. Взошла и закатилась звезда Наполеона. Закончил работу Венский конгресс, на котором державы-победительницы, ссорясь и угрожая друг другу, разделили наконец богатое «наследство», основательно перекроив карту Европы. В Париже обосновался Людовик XVIII, и из Франции были изгнаны «цареубийцы», голосовавшие за смерть казненного в революцию короля. Среди них оказались такие разные люди, как художник Луи Давид и бывший министр полиции Фуше.

В России возникло тайное политическое общество, в которое вошли будущие декабристы, а в Швеции придворные врачи избавили наконец своего монарха от татуировки «Смерть тиранам!». Увы, офицер французской республиканской армии, ярый якобинец Бернадот, никак не мог предугадать, что когда-нибудь сам станет «тираном» под именем Карла XIV Иоанна, короля Шведского...

Да, много событий произошло за семнадцать лет. Но казалось, что они даже краем не коснулись Царского Села. Здесь все было по-прежнему. Ни в чем не изменился облик выстроенного еще при Елизавете и расширенного в царствование Екатерины II Большого дворца и старинного парка. Так же как семнадцать лет назад, дворцовые служители зажигали по вечерам разноцветные фонари в «китайской деревне», которые высвечивали причудливые изображения драконов, черепах и бабочек.

И все же дворцовый парк не совсем такой, как в 1800 году, — исчезла чопорность. Теперь в нем чаще звучат смех и веселые голоса молодых людей. Это лиценсты. И если бы мы с вами прошли по тенистым аллеям парка, мы бы наверняка повстречались с юным Пушкиным, Дельвигом или Кюхельбекером. Но нас интересует дальнейшая судьба медальона, который давно уже покинул Сейшельские острова. Поэтому направимся в ту часть Царского Села, которая почему-то получила название Софии. Здесь неподалеку от Гостиного двора, где можно приобрести высшего разбора атласные карты для игры в вист и шнип-шнап-шнур, лайковые перчатки, голландские цилиндры, лакированные штиблеты и прочие нужные и не очень нужные вещи, стоит дом с мезонином. В нем живет со своей семьей (жена и дочка, старшая дочь уже замужем) преподаватель французской словесности и грамматики, профессор Царскосельского лицея Давид Иванович

де Будри, или, как его называют за глаза камердинер Севостьян, Давид Не Мудри.

Давид Иванович — обрусевший француз. Он, как и положено подданному русского императора, монархист и примерный чиновник с образцовым послужным списком.

Еще в 1784 году двадцативосьмилетним молодым человеком де Будри приехал в Россию в качестве воспитателя детей русского аристократа, камергера Василия Петровича Салтыкова. Здесь он, подобно многим другим своим соотечественникам, прочно осел, женился, пустил корни. В 1804 году Давид Иванович принял русское подданство, поступил на государственную службу и окончательно стал русским, может быть, даже еще более русским, чем многие природные русаки.

Де Будри, чье шестидесятилетие недавно торжественно отмечали преподаватели Царскосельского лицея, любит зимнее катание с гор, знает толк в паровой стерляди, маринованных грибах и растегах. Он хорошо разбирается в русской истории и литературе. В его домашней библиотеке рядом с произведениями Рабле, Ронсара, Монтеня, аббата Прево стоят тома Державина, Фонвизина, Ломоносова и Жуковского.

Давид Иванович, предупредительный и добродушный по характеру, охотно предоставляет возможность пользоваться своей библиотекой каждому желающему. Но один шкаф здесь постоянно закрыт на ключ. Между тем литература, которая в нем хранится, представляет значительный интерес хотя бы потому, что она никак не согласуется с тем Давидом Ивановичем, которого все так хорошо знают. Полки этого шкафа заставлены произведениями времен Французской революции. Здесь стихи мятежного Лебрена, книга Себастьяна Мерсье «Новый Париж». А на самой нижней полке лежат завернутые в пергаментную бумагу комплекты газеты Жан-Поля Марата «Друг народа» и помеченные 1782 годом революционные памфлеты самого Давида Ивановича, опубликованные им во время женевского восстания...

Нет, Давид Иванович никогда не унижался до того, чтобы скрывать свое прошлое. В глубине души он даже гордился им. Но стоит ли его афишировать? Прошлое — часть настоящего. А он как-никак чиновник. Царский чиновник.

Но воспользуемся отсутствием Севостьяна, который сопровождает мадам де Будри, уехавшую сегодня вместе

со своей младшей дочерью в Петербург, и без спроса заглянем в маленькую голубую гостиную, обклеенную бархатными, с начесом шпалерами, как в то время называли обои.

Давид Иванович на этот раз не один. Он уже около часа беседует с черноволосым тщательно одетым молодым человеком, виконтом де Коссе. Вернее, Давид Иванович не столько беседует, сколько слушает неожиданного посетителя, которого сегодня видит впервые. Судя по выражению лица де Будри, он несколько растерян, но старается это скрыть.

Гость Давида Ивановича рассказывает о Марате, Шарлотте Корде, Жаке Десять Рук, Симоне Эرار, Жозефе Фуше и генерале Россиньоле...

\* \* \*

— С глаз долой — из сердца вон. Кажется, так говорят русские?

— Да,— подтвердил де Будри,— так говорят в России.— Он снял очки и тут же вновь водрузил их на переносицу.

— К сожалению, это соответствует истине не только в России,— краешком красиво вырезанных губ усмехнулся виконт.— Со времен Адама и Евы людям свойственны легкомыслие и забывчивость. Но, к чести ремесленников Сент-Антуанского предместья, надо сказать, что они не забыли генерала Россиньоля. Память о нем жива до сих пор. И эхом этой памяти стал только что вышедший в Париже роман «Робинзон из Сент-Антуанского предместья». Не изволили читать?

— Нет,— сказал Давид Иванович, хотя роман уже несколько дней как стоял на заветной полке.

— Если желаете, я вам его пришлю.

— Вы очень любезны, виконт, но мои занятия в лицее оставляют слишком мало досуга. Чем примечателен сей роман?

— Только одним, уважаемый господин де Будри: он опровергает приведенную мною пословицу — автор романа рассказывает то, о чем говорят в Сент-Антуанском предместье.

— Вон как?

— В предместье уверены, что Россиньоля жив. Там считают, что он бежал из ссылки в 1805 году и после дол-

гих приключений добрался на шлюпке до берегов Африки, где вскоре основал могущественную негритянскую республику. В этой республике царствуют свобода, равенство и братство. В их честь построен из пальмового дерева храм, в котором люди поклоняются не богам, а отлитым из чистого золота статуям Жан-Жака Руссо, Вольтера, Эберта и Марата.

— Странная фантазия.

— Фантазия? Нет, мечта. Мечту, в отличие от якобинцев, нельзя ни расстрелять, ни сослать, ни гильотинировать. Она бессмертна. Поэтому для Бурбонов мечты французского народа страшнее пушек и кинжалов.

— Чаше всего мечты — всего лишь сказки.

— Но иногда и революции...

Де Будри испытующе посмотрел на своего странного собеседника. Бледное лицо виконта стало еще бледнее. Молодому человеку было не более двадцати — двадцати двух лет.

Виконт де Коссе... Нет, его визитер ничем не походил на отпрыска старинного дворянского рода: ни манерами, ни мыслями. Тайный агент царской полиции?

Может быть, на него донес кто-то из лицестов?

Нет, конечно, нет. Но кто же он тогда и что ему нужно от преподавателя Царскосельского лицея господина де Будри?

Непонятный визит с каждой минутой становился для Давида Ивановича все более тягостным. Де Коссе бередил уже зажившие раны.

— Однако боюсь, что я вам прискучил.

— Напротив,— вежливо возразил Давид Иванович.— Все, что вы говорите, очень интересно. Продолжайте, пожалуйста.

— Ну что ж, ежели я вас не утомил, то оставим мечты и вернемся к действительности,— сказал виконт.— К сожалению, господин де Будри, в Африке нет и не было республики, о которой рассказывается в романе, а в Сент-Антуанском предместье напрасно ждут вестей от Россиньоля. Генерал больше никогда не вернется в Париж и не прийдет туда своих гонцов.

— Он, конечно, погиб? — сказал Давид Иванович, чтобы что-то сказать.

— Да. Россиньоля давно нет в живых. Ссылка, которую во Франции принято называть «сухой гильотиной»,

убила его. Он умер от гнилой лихорадки в 1802 году и похоронен в кокосовой роще на самом высоком холме острова Махэ. Его хоронили рабы плантатора Прюде. Они ни в чем не отступили от последней воли покойного. На гранитной глыбе, установленной на могиле, нет имени умершего. На ней лишь высечены фригийский колпак и короткая надпись: «Один из миллионов». В той же могиле похоронен пепел сердца Жан-Поля Марата. Да, в той же могиле,— подтвердил виконт, смотря прямо в глаза де Будри.— Такова была воля покойного. Генерал считал, господин де Будри, что имеет право на такую высокую честь, что он завоевал это право, сражаясь за Республику и свято храня память о Друге Народа. И мне думается, что Россиньоль в этом не ошибся.

— Значит, сердце Марата похоронено на острове Махэ? — пробормотал Давид Иванович.

— Да,— подтвердил его собеседник,— на острове Махэ. Но медальон, о котором я вам говорил, там не остался.

— Где же он?

— У меня.

Давид Иванович снял очки и стал тщательно протирать стекла.

— Медальон работы Жака Десять Рук был сохранен одним из негров, хоронивших Россиньоля, и в дальнейшем передан английскому матросу, который в прошлом году переслал его с оказией в Париж. Вот он.

Виконт достал из кармана треугольный, желтого тисненого сафьяна футляр и раскрыл его. В футляре лежал медальон.

Под знаменами парижских секций шли, четко отбивая шаг деревянными башмаками, хмурые санкюлоты. Неловко ступали, словно плыли по воздуху, девушки с кипарисовыми ветвями в руках. Шли, опустив головы, члены Конвента, Парижской коммуны, Якобинского клуба и Клуба Кордельеров. Звучала музыка. Ее грустную и торжественную мелодию оборвал пушечный салют. А может быть, это был гром?

Кто-то говорил Давиду Ивановичу, что во время похорон Марата в Париже разразилась страшная гроза. Да, так оно и было. Гроза.

Давид Иванович чувствовал, как по его щекам ползут редкие крупные капли дождя. Сейчас хлынет ливень. Вон там черное небо уже рассекла, осветив лица людей, несущих

гроб, зигзагообразная молния. Над Парижем гремел гром.

Виконт что-то говорил, но его слова заглушали раскаты грома, шум дождя и топот тысяч ног. Давид Иванович расслышал лишь последнюю фразу:

— Теперь этот медальон ваш.

Медальон? Какой медальон? О чем он говорит?

Давид Иванович вытер платком свои влажные морщинистые щеки.

Дождь... Нет, дождя больше не было. Он прошел. За окном вновь сияло солнце и чирикали царскосельские юркие воробьи. Зычно кричал, расхваливая свой товар, продавец сбитня. Шелестели по мостовой дутые шины подъезжающих к Гостиному двору экипажей. Давид Иванович по-прежнему сидел в глубоком мягком кресле в своей уютной голубой гостиной.

Он спрятал носовой платок, откашлялся.

— Простите, я немного отвлекся. Что вы сказали?

— Теперь этот медальон ваш,— повторил виконт.

— Простите, но я не совсем вас понимаю. Какое, собственно, касательство имеет ко мне этот медальон? — спросил де Будри, в котором с новой силой вспыхнули подозрения.

— Вы уверены, что нуждаетесь в объяснениях?

Давид Иванович отвел глаза в сторону. Мысли в его голове путались. Так и не дождавшись ответа, виконт сказал:

— У Друга Народа был младший брат, который, насколько мне известно, разделял мысли и чувства Жан-Поля Марата. Во всяком случае, он принимал участие в женевском восстании. В дальнейшем, опасаясь преследований, он воспользовался предоставившейся ему возможностью и уехал в Россию. С того дня братья больше не виделись. Но они переписывались. Когда Друг Народа нуждался или ему требовались деньги для издания газеты, сыгравшей такую выдающуюся роль в революции, младший брат всегда приходил ему на помощь...

— Откуда вы все это знаете?

— Не все ли равно, господин де Будри? Главное не это. Главное в другом. Симона Эрар считает — и я разделяю ее мнение,— что сделанный добрым патриотом Жаком Десять Рук медальон после смерти генерала Россиньоля должен принадлежать Давиду Марату. Симона хочет, чтобы эта реликвия всегда напоминала Давиду о его великом



брате, который навеки останется в истории Франции. Но ежели Давид Марат забыл и не хочет вспоминать свою подлинную фамилию, то... Я готов считать, господин де Будри, что моего сегодняшнего визита к вам не было. Забудьте о нашей встрече — она не состоялась. Еще одна легенда, не так ли? В конце концов, если в Сент-Антуанском предместье возникла легенда о негритянской республике генерала Россиньоля, то в Царском Селе вполне могла возникнуть другая, столь же далекая от истины, — о посещении сыном Россиньоля младшего брата Друга Народа... Честь имею, господин де Будри!

Россиньоль взялся уже за ручку двери, когда Давид Иванович остановил его:

— Уделите мне еще несколько минут, господин Россиньоль.

— Есть ли в этом надобность? — резко спросил гость.

— Присядьте, пожалуйста.

Россиньоль неохотно опустил в кресло.

— Слушаю вас.

— Я не желал бы, чтобы вы сделали поспешный, а следовательно, неправильный вывод, — с трудом подбирая слова, сказал Давид Иванович. — Молодости свойственны порыв и горячность, старости, когда кровь в жилах остывает, — нерешительность и осторожность. Таков удел стариков, а я старик, мой юный друг, мне за шестьдесят.

Россиньоль пожал плечами:

— Я далек от того, чтобы обвинять вас в чем-либо.

— Я не опасаясь обвинений, — покачал седой головой Давид Иванович. — Совесть моя чиста. Но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли и не осуждали естественную для моего преклонного возраста осторожность, возможно, иной раз и излишнюю... Сегодня я вас увидел впервые, а я далеко не равнодушен к судьбе своей семьи. Вы не женаты?

— Нет.

— А у меня жена, дочери и внуки. Когда-нибудь вы сможете меня понять лучше.

— Нужны ли столь обширные объяснения, господин де Будри? — нетерпеливо спросил молодой Россиньоль.

— Нужны, — сказал Давид Иванович. — Нужны для того, чтобы вы не составили обо мне превратного представления. Я старик, — повторил он, — но при всем том смею вас заверить, что брат великого Марата, хотя он остался в стороне от борьбы, не забыл и никогда не забудет

свою подлинную фамилию. Я горд тем, что являюсь братом Жан-Поля Марата, перед которым я преклонялся всю свою жизнь. Об этом знают воспитанники лицея. И знают об этом они от меня. Если вы сможете уделить мне еще немного времени, то я вам представлю некоторые доказательства сказанному.

Де Будри проводил молодого Россиньоля в библиотеку и, открыв заветный шкаф, достал оттуда папку с гравюрами времен Французской революции. Среди них была и гравюра со знаменитой картины Луи Давида «Смерть Марата».

— Теперь вы, надеюсь, мне верите?

— Да, господин де Будри.

— Де Будри? — переспросил Давид Иванович.

— Нет, конечно, — поправился Россиньоль, — Марат, гражданин Марат.

Давид Иванович растерянно улыбнулся.

— «Гражданин Марат»... Не предполагал, что ко мне когда-либо так обратятся. — Он положил футляр с медальоном на верхнюю полку и закрыл шкаф на ключ. — «Гражданин Марат»... Не откажите старику в любезности, повторите еще раз. Ведь так меня больше никто называть не будет...

— Счастлив был с вами познакомиться, гражданин Марат, — сказал Россиньоль.

\* \* \*

Василий Петрович не торопился с продолжением своего рассказа. Он вообще не любил торопиться.

— Что же потом произошло с медальоном? — поинтересовался я, когда молчание, по моему мнению, слишком затнулось.

— Что произошло потом?.. — Он поудобнее устроился в кресле, вытянул свои длинные худые ноги.

В наше время на географических картах земли почти не осталось белых пятен. Времена Колумбов, Магелланов и Берингов безвозвратно прошли. Но на картах истории по-прежнему много пробелов. До сих пор осталось тайной, повинен ли Борис Годунов в смерти царевича Димитрия. Точно не установлено, кем же был, в конце концов, Лжедмитрий Первый — Гришкой Отрепьевым, как считает большинство историков, шляхтичем-авантюристом или кем-либо еще. Тысячи и тысячи белых пятен! Но еще больше неизведанного на пути тех, кто пытается просле-

доть судьбу какой-либо вещи, будь то хранящаяся в Эрмитаже древнегреческая ваза, знаменитый пояс Димитрия Донского, послуживший поводом к кровавым междоусобицам на Руси, похищенный из хранилища ловким жуликом скифский шлем, легендарный перстень Александра Сергеевича Пушкина или этот медальон.

Вещи не оставляют дневников и мемуаров, а летописцы редко балуют их своим вниманием. Поэтому зачастую приходится прибегать к более или менее обоснованным предположениям, догадкам, а то и к фантазии. Формулировка «так было» заменяется другой — «так могло быть»...

Я заверил Василия Петровича, что подобная формулировка меня полностью устраивает.

\* \* \*

И вновь мы с Василием Петровичем в Царском Селе. Но на этот раз не в уютной гостиной милейшего Давида Ивановича, которого уже нет в живых, а на берегу поросшего лилиями и кувшинками дворцового пруда.

Наше общество составляет новый самодержец всея Руси император Николай I, его бывший главный воспитатель, а ныне дряхлый старик генерал-от-инфантерии и член Государственного совета граф Матвей Иванович Ламсдорф и любимец царя рыжий ирландский сеттер с длинным роскошным хвостом и верноподданническим взглядом темно-коричневых глаз — Роби.

\* \* \*

Было восемь часов утра. Сквозь решето листвы прикрытое деревьями солнце сеяло светлые блики на темную поверхность пруда, от которого еще поднимался, тая в воздухе, легкий парок ночного тумана.

Царь играл с сеттером. Он коротким взмахом руки бросал в густую маслянистую воду носовой платок, и собака, не дожидаясь команды, стремительно кидалась в пруд. «Хорошо, Роби», — говорил царь, отбирая у сеттера принесенный им платок, и вновь бросал его в воду.

Неподвижное белое лицо с тяжелыми оловянными глазами ничего не выражало. Не лицо — маска. Но старик Ламсдорф хорошо изучил своего воспитанника, которого некогда доверил его попечению Екатерина II. Николай мог ввести в заблуждение кого угодно, но не его. Едва заметные розовые пятна на скулах его величества красноре-

чиво свидетельствовали о том, что император нервничает.

По этим пятнам да еще по легкой дрожи подбородка Ламсдорф некогда безошибочно определял, что его высококородный воспитанник опять поленился и не выучил очередного урока.

«Если не ошибаюсь, у вашего высочества снова не оказалось свободного времени?» — мягко и почтительно спрашивал он.

Мальчишка молчал, но его скулы еще более розовели.

«Весьма сожалею, — по-прежнему мягко говорил Ламсдорф, так и не дождавшись ответа, — но вынужден по велению долга и для вашей же пользы прибегнуть к столь огорчающим меня мерам. Как обычно, пять розог, ваше высочество».

Да, за годы своей добросовестной службы Ламсдорф совсем неплохо изучил маловыразительное лицо и куда более выразительные ягодицы своего воспитанника. И в глубине души старик считал, что именно розги помогли его подопечному не только взобраться на русский трон, но и усидеть на нем. Старик верил в чудодейственную силу телесных наказаний. А видит бог, будущий император получил столько розог, сколько с лихвой хватило бы на всю династию Романовых.

Выскочив из пруда, сеттер шумно отряхнулся рядом с Ламсдорфом, забрызгав водой шитый золотом генеральский мундир, и громко залаял. По аллее к пруду шел запыхавшийся от быстрой ходьбы тучный камер-лакей. Остановившись в нескольких шагах и опасливо поглядывая на рычащего сеттера, он поклонился.

— Прибыл фельдъегерь из Санкт-Петербурга от генерала-губернатора Голенищева-Кутузова, ваше императорское величество.

— Наконец-то! — вырвалось у Николая. Он скомкал в руке мокрый платок, бросил на траву. Собака тотчас его подхватила и вопросительно посмотрела на хозяина. — Фу, Роби!

— Прикажете доставить донесение сюда?

— Не трудись, — сказал Николай и, резко повернувшись на каблуках, направился к дворцу, сопровождаемый еле поспевающим за ним камер-лакеем. Впереди бежал Роби.

Ламсдорф посмотрел им вслед. Царь шел быстрым и четким строевым шагом, развернув плечи и откинув назад голову. И Ламсдорф с удовлетворением подумал, что его

усилия даром не пропали: из Николая получился неплохой фрунтовик.

«И на лошади прилично сидит, не как собака на заборе... — мелькнуло в голове у старика. — А тех пятерых, значит, повесили...»

Ласково пригревало солнце. Разомлевший от тепла Ламсдорф кряхтя уселся на скамейку и задремал.

Между тем Николай, сдерживая нетерпение, взял у фельдъегеря пакет, нарочито замедленным движением руки сломал сургучную печать и достал депешу.

«Экзекуция, — прочел он, — кончилась с должною тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного... О чем Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу».

Тонко и протяжно завыл сидящий у ног Николая Роби. — Уберите собаку!

На мгновение розовые пятна на скулах царя стали красными и тут же исчезли.

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком...»

Где-то в отдалении яростно лаял Роби. Император вложил депешу в конверт и небрежно бросил на инкрустированный перламутром столик. Затем он принял подобающую случаю скорбную позу, вздохнул и перекрестился:

— Прости им, господи, их тяжкие прегрешения перед Россией!

Николай повернулся к фельдъегерю:

— Ты присутствовал в Петропавловской крепости при... экзекуции?

— Никак нет, ваше императорское величество!

— Почему же? Зрелище поучительное... Передай на словах генерал-губернатору, что я его благодарю за верную службу и жду сегодня вечером.

Затем Николай отправился в дворцовую часовню, где заказал панихиду по «рабам божьим: Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаилу Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому». А вечером того же дня он выслушал подробный доклад о казни от приехавшего из Петербурга генерал-губернатора Голенщикова-Кутузова.

Император был доволен: с бунтовщиками наконец покончено. И все же в ту ночь Николай I долго не мог уснуть. Нет, его беспокоила не совесть, а воспоминания. Воспоми-

нания об ужасе, пережитом им 14 декабря 1825 года. Воспоминания о дерзких словах бунтовщиков, о протоколах допросов, о суде.

Как император и рассчитывал, тщательно подобранные им члены Верховного уголовного суда проявили должное рвение: главные участники заговора были приговорены к четвертованию, которое после царствования Екатерины II в России не применялось. Это давало возможность царю проявить «христианское милосердие», и Николай, разумеется, не преминул этим воспользоваться. Четвертование? Ни в коем случае!

Царь не дал согласия «не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние... ни даже на простое (!) отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную»

Бескровная казнь? Ну что ж...

Судьи прекрасно понимали, чего от них ждет император: в назидание потомству Пестеля, Рылеева, Муравьева Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского следовало повесить.

Так появилось на свет новое решение, такое же лицемерное, как и слова императора: «Соображаясь с Высокомонаршим милосердием, в сем самом деле явленным смягчением казней и наказаний, прочим преступникам определенным», суд заменил четвертование, «яко казнь мучительную... с пролитием крови сопряженную», на гуманную и бескровную виселицу...

В полдень 12 июля 1826 года, когда куранты Петропавловского собора играли «Боже, царя храни», узников русской Бастилии — так называли Петропавловскую крепость — под конвоем доставили в дом коменданта. Здесь старый чиновник зачитал им окончательное решение.

Затем пятерых смертников отвели в казематы Кронверкской куртины, где им предстояло провести последнюю ночь перед казнью. Одиночные камеры здесь разделялись дощатыми перегородками, и узники могли свободно разговаривать друг с другом, стража им не препятствовала. Декабристам разрешили написать своим близким и даже встретиться с ними. Они уже были почти мертвыми, их отделяли от смерти не более десяти часов...

А в три часа ночи, как только стало светать, всех пятерых вывели из камер

Воздух пах дымом и гарью. На фоне еще не достроенной виселицы, вокруг которой суетились плотники и па-

лачи, горели многочисленные костры. Отсветы пламени играли на штыках, пряжках ремней и орленых пуговицах выстроенных солдат.

Куранты Петропавловского собора пробили половину четвертого, но виселица еще не была готова.

Генерал-губернатор Петербурга, тучный, с багровым лицом, косясь на сидящих на траве смертников, злым шепотом распекал коменданта крепости, который беспо мощно разводил руками.

Но вот вбит последний гвоздь. К коменданту крепости подходит старший палач:

— Готово, ваше высокоблагородие!

...Когда чиновник закончил чтение приговора, смертники поцеловались. Затем они повернулись друг к другу спинами, чтобы пожать на прощание скованные руки.

— Поторопитесь, господа!

Два дюжих, похожих друг на друга, как близнецы, палача подняли их на скамью, поставленную под перекладной виселицы, надели холщовые белые саваны и петли.

Снова загрели барабаны. Затем рвущая уши барабанная дробь оборвалась, наступила бесконечная гнетущая тишина.

Генерал-губернатор что-то тихо сказал коменданту, тот кивнул и сделал рукой едва заметный знак старшему из палачей. Палач неторопливо огладил бороду, а затем резким ударом вышиб из-под ног осужденных скамью, которая с глухим стуком упала на доски помоста. Пятеро закачались в петлях...

И тут произошло то, о чем мимоходом упомянул в своем донесении царю генерал-губернатор: «По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались...»

Проломив доски помоста, смертники рухнули в ров. Их с трудом оттуда вытащили. У Рылеева была рассечена бровь, кровь заливала ему лицо. Сергей Иванович Муравьев-Апостол сказал: «Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!..»

Бородатый палач с побелевшим лицом и выкаченными от ужаса глазами подошел к Голенищеву-Кутузову, запынаясь спросил:

— Прикажете отменить, ваше высокопревосходительство?

По древнему обычаю, казнь должна была быть отме-

нена. Но генерал-губернатор визгливо крикнул:

— Вешай! Снова вешай!

Тем не менее «эзекуцию», которая «кончилась с должной тишиной и порядком», пришлось на некоторое время отложить: запасных веревок в крепости не оказалось...

Так Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Петр Григорьевич Каховский были казнены дважды.

А ночью, когда Николай I мучился бессонницей и воспоминаниями, а его бывший воспитатель, поборник розог и позтшпицрутенгов, престарелый генерал Ламсдорф сладко спал, укрывшись пуховым одеялом, трупы пятерых погибших за счастье России вывезли на телеге через Иоанновские ворота Петропавловской крепости и зарыли в землю.

Место захоронения было покрыто тайной. Так пожелал император...

А в 1917 году, когда русский народ разорвал и сбросил с себя оковы самодержавия, а потомок Николая I отрекся от престола и был сослан в Тобольск, журнал «Огонек»<sup>1</sup> опубликовал статью «Таинственная находка на о. Голодай в Петербурге». В ней писалось: «В «Биржевых ведомостях» недавно появилось сообщение секретаря Общества памяти декабристов В. В. Святловского о знаменательной находке на о. Голодай в Петрограде могил и останков 5 казненных декабристов, находке, произведенной 1 июня с. г. во время прокладки водопроводных труб около одного строящегося на острове здания. На глубине двух с лишним аршин, позади двухэтажной каменной постройки, на дне узкой и отчасти покрытой водой траншеи видны были остатки трех полуразрушенных гробов, стоящих близко друг от друга.

2 июня В. В. Святловский, руководивший работами, нашел остатки пяти гробов, из которых только один, первый из найденных, представлял собой нечто более цельное.

В этом лучше сохранившемся гробе были видны останки человека, одетого в форму полковника александровского времени.

Хорошо сохранились части мундира, эполеты, а также обувь на ногах. Обращало внимание большое количество ремней, найденных на ногах трупа, что давало возмож-

<sup>1</sup> «Огонек», 1917, № 23.

ность предположить, что ноги трупа были связаны этими ремнями.

Все останки были тщательно собраны и сфотографированы. Все собранные предметы, тщательно уложенные в лучше сохранившийся гроб, а равно останки остальных гробов перенесены в подходящее помещение и сданы на хранение.

Возникает серьезный вопрос, представляют ли пять найденных гробов действительно гробы пяти казненных декабристов.

Местонахождение могил совпадает с рассказами старожилов и литературными данными. Военная форма первого гроба относится к 20-м или 30-м годам прошлого столетия...

По определению военных, бывших на раскопках, найденная форма могла принадлежать только штаб-офицеру, полковнику или подполковнику. Похороненный был положен в гроб без оружия, а самые гробы были поставлены, по-видимому, в общую могилу не в обычном порядке, чересчур тесно один к другому, не так, как обычно хоронят на православных кладбищах...

Вот в этой-то траншее спустя несколько дней после публикации в журнале статьи юный землекоп Евграф Усольцев и нашел медальон Жака Десять Рук...

\* \* \*

— Были ли то действительно останки пяти казненных декабристов? На этот вопрос трудно ответить безоговорочно, — продолжал свой рассказ Василий Петрович. — Тут слишком много и «за» и «против». Но для Грани Усольцева, когда он явился ко мне с просьбой перевести с французского на русский вырезанные на медальоне надписи (тогда мы с ним и познакомились), подобного вопроса не существовало. Он не сомневался, что его товарищи нашли тела тех, кто в июле 1826 года отдали жизнь за свободу России. Эту уверенность он пронес через всю свою жизнь. И, признаюсь, я никогда не пытался посеять в его душе сомнение...

Усольцев считал — я его тогда же, в 1917 году, посвятил в предполагаемую историю медальона, — что Давид Марат незадолго до своей кончины подарил нбеллу кому-то из будущих декабристов, воспитанников Царскосельского лицея, — Пушкину или Кюхельбекеру, а тот, в свою

очередь, отдал ее одному из руководителей восстания.

Евграф Николаевич пытался обосновать свою версию, и в какой-то степени ему в этом повезло.

Во время гражданской войны, когда партизанский отряд имени Марата, которым командовал Евграф Николаевич, квартировал в Новом Селенгинске, маленьком заштатном городке в Забайкалье, издавна служившем местом ссылки, Усольцеву, по его словам, привелось увидеть крайне любопытную вещь. В мастерской Гусино-Озерного буддийского монастыря, расположенного неподалеку от Селенгинска, ему среди прочих диковинок показали серебряную шкатулку, изготовленную, по преданию, в часовой, ювелирной и оптической мастерской, открытой некогда в городке сосланными сюда на поселение после отбытия срока каторги декабристами Николаем и Михаилом Бестужевыми.

Рисунки и надписи на стенках этой шкатулки были похожи на рисунки и надписи, вырезанные на медальоне. Таким образом, Бестужевы, возможно, у кого-то видели этот медальон.

Усольцев считал, что они видели его у Рылеева. Как известно, Александр Бестужев дружил с Рылеевым и в 1823—1825 годах издавал вместе с ним известный альманах «Полярная звезда» (Герцен называл Рылеева «рыцарем «Полярной звезды»). Тот же Рылеев в 1824 году принимал Николая Бестужева в Северное тайное общество.

Усольцев предполагал, что медальон, созданный в разгар Французской революции, был у Кондратия Федоровича Рылеева, когда тот в тревожные и напряженные дни подготовки декабрьского восстания писал своего «Гражданина»:

Я ль буду в роковое время  
Позорить гражданина сан  
И подражать тебе, изнеженное племя  
Переродившихся славян?  
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья  
В постыдной праздности влачить свой век молодой  
И изнывать кипящею душой  
Под тяжким игом самовластья

Рылеев не мог «в постыдной праздности влачить свой век», и, тяжелобольной, он говорил товарищам по восстанию: «Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям

нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем... Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!»<sup>1</sup>

И 14 декабря Рылеев вместе с лицейским другом Пушкина Пушным отправился на Сенатскую площадь... А ночью того же дня он был арестован и посажен в Алексеевский рavelин русской Бастилии. Здесь поэт-декабрист незадолго до казни нацарапал гвоздем на тюремном оловянном блюде свое последнее стихотворение:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,  
За дело правое я в ней,  
И мне ль стыдиться сих цепей,  
Когда ношу их за отчизну.

Кто знает, может быть, действительно, когда Рылеев переносил на олово эти строки, он, ощущая на груди заветный медальон, думал о трагической участи Жан-Поля Марата, о грозной Бастилии, превратившейся по воле восставшего против «тяжкого ига самовластья» народа в жалкую грудку обломков, о казненном в Париже тиране, о тех, кто придет на смену погибшим декабристам и провозгласит в России столь дорогие его сердцу слова: Свобода, Равенство, Братство.

Обо всем этом можно лишь догадываться. Ведь вполне возможно, что медальон никакого отношения к декабристам не имел.

В чьих руках побывала нъелла?

Кто рассматривал выгравированные по серебру рисунки?

О чем думал, вспоминая о Французской революции, очередной владелец медальона?

Ответы могут быть самыми различными. Медальон молчит...

— Что же касается его дальнейшей судьбы, то она неразрывно связана с судьбой Евграфа Николаевича Усольцева,— закончил свой рассказ Василий Петрович.— С Усольцевым он участвовал в боях с Колчаком, атаманами Семеновым и Калмыковым, а в Великую Отечественную войну был верным спутником Евграфа Николаевича, когда тот вместе с другими советскими людьми отстаивал

от фашистских полчищ первое в мире социалистическое государство.

За годы войны медальон побывал во многих городах: в разрушенном Сталинграде, в Праге, Будапеште, Берлине. Но в Париже, где он был создан во славу революции в 1793 году, ему больше побывать так и не пришлось...

<sup>1</sup> «Воспоминания Бестужевых». М.— Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 65.





## ТАЛИСМАН

О приключениях «талисмана» поэта покойный Василий Петрович поведал мне много лет назад. С тех пор появилось немало исследований о самом перстне и его судьбе. Было соблазнительно ими воспользоваться, особенно материалами из интересной книги Л. П. Февчук «Личные вещи Пушкина», но я воздержался. И не только из уваже-

ния к памяти Василия Петровича. Его история, посвященная перстню-талисману, впрочем, как и другие приведенные в этой книге, была не научным исследованием, а рассказом, в котором вымысел занимал свое законное и почетное место рядом с фактом.

Стоит ли нарушать это плодотворное сотрудничество фантазии и реальности? Я решил, что нет, не стоит..

\* \* \*

— Итак, Петербург. Зима 1837 года,— Василий Петрович стукнул пальцем по столу, и этот звук отозвался эхом далекого выстрела из девятнадцатого века...

...От звука выстрела лошадь вскинула голову и дернулась. Взвизгнули полозья, и по обе стороны саней брызнул снег. Длиннобородый пожилой извозчик в заячем треухе быстро перехватил вожжи и натянул их:

— Не балуй!

Лошадь дрожала мелкой дрожью, перебирая ногами и вывернув голову в сторону изгороди, где между редкими жердями чернел на снегу кустарник.

— Никак, стрельнули, а? — испуганно спросил другой извозчик, сани которого стояли несколько поодаль.

Стылый морозный воздух разорвал второй выстрел.

— «Стрельнули».. — Старик стянул зубами громадную рукавицу и перекрестился.— «Стрельнули»... Эхе-хе! Кому-то седни слезы лить, не иначе. Смертоубийство, брат, по-нашему, а по-ихнему, по благородному, дуэлью прозывается... Вон как! Для того и пистолы везли...

— Дело барское...

— Да уж, не наше.

Старый петербургский извозчик не ошибся: в пятидесяти метрах от дороги только что закончилась дуэль. Но он не знал и не мог знать, что смертельно раненный первым выстрелом человек, которого он привез сюда,— величайший поэт России, именем которого назовут улицы и площади многих городов страны. Не знал он, разумеется, и того, что сто лет спустя его праправнук, учитель одной из школ бывшего Петербурга, ставшего Ленинградом, будет читать в затихшем классе стихи другого великого поэта, посвященные событиям этого зимнего вечера:

Погиб поэт, невольник чести,  
Пал, оклеветанный молвой.  
С свинцом в груди и жаждой местн,  
Поникнув гордой головой...

Проваливаясь по колено в снег, на дорогу выбрался офицер. Он был без шинели и шапки. Легкий ветерок ворошил его редкие волосы. Это был Константин Карлович Данзас, лицейский товарищ и секундант Пушкина.

— Помогите, братцы, проезд в заборе сделать. Раненого взять надо.

Извозчики переглянулись: значит, не до смерти. Авось и выживет. Дай-то бог!

Пожилой неожиданно легко спрыгнул с облучка. Все трое стали выламывать жерди, чтобы подъехать на санях к месту дуэли.

Снег на поляне, где происходила дуэль, был утоптан Барьер обозначен шинелями.

«Ишь, расстарались!» — подумал бородатый и стянул с головы треух.

Пахло снегом и порохом.

Секундант Дантеса д'Аршиак, стройный и элегантный, подал Данзасу его шинель, предварительно отряхнув ее от снега.

— Благодарю вас.

Д'Аршиак кивнул головой. Видит бог, как ему не хотелось принимать участие в этой дуэли. Но обстоятельства сильнее нас.

Что поделаешь!

Жорж Дантес сидел, согнувшись, на пне, положив на колено раненую руку и придерживая ее другой рукой. Лицо его кривилось от боли. В эту минуту он мало походил на того неотразимого красавца-кавалергарда, от которого были без ума все дамы.

«Пшют, штафирка», — подумал Константин Карлович, вспомнив растерянность Дантеса, когда раненый Пушкин крикнул: «К барьеру!» — и попросил вместо выпавшего у него при падении пистолета другой.

Константин Карлович помог Пушкину сесть в сани, прикрыл его ноги полостью и приказал извозчику ехать шагом.

— А как же вы, барин?

— Пешком сзади пойду.

— Далече идтить-то, — сказал бородатый извозчик.

— Ничего, авось на Аптекарском попадутся сани.

Д'Аршиак последовал примеру Данзаса, несмотря на настойчивое приглашение Дантеса занять место рядом с ним в санях. Француз, видно, считал, что секунданты должны быть в равном положении.

Со стороны Строганова сада, примыкавшего к набережной Большой Невки, дул сильный, пронизывающий до костей ветер.

Данзас приостановился, повернувшись спиной к ветру, достал золотой брегет на цепочке с брелком, щелкнул крышкой. Было всего десять минут седьмого. Значит, здесь они пробыли час с небольшим. А еще каких-нибудь два часа назад они с Пушкиным сидели за столиком в кондитерской Вольфа и пили лимонад. Константин Карлович запахнул шинель и обратил внимание на темное пятно. Это была кровь Пушкина. После выстрела Дантеса позт упал на шинель. Лежа на ней, он и произвел ответный выстрел. Рана в живот. Мало кто оставался в живых после такой раны...

У Комендантской дачи, недалеко от того места, где Пушкин жил летом 1883 года, их дожидалась лакированная карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой холеных вороных. Ее прислал, беспокоясь за своего бесценного Жоржа, голландский посланник Геккерен. Д'Аршиак переговорил с Дантесом и предложил Константину Карловичу перенести тяжелораненого в карету.

— Барон чувствует себя не совсем плохо — пустяк! — а господин Пушкин очень плох, — сочувственно сказал он по-русски, тщательно подбирая слова. — Карета к вашим услугам, господин Данзас. В ней вдвоем не тесно. Она на упругих рессорах, и господин Пушкин не будет чувствовать толчков. У господина Пушкина сильное кровотечение... Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно.

Константин Карлович колебался лишь мгновение:

— С благодарностью приму ваше любезное предложение, господин д'Аршиак, но при одном неременном условии — Александр Сергеевич не должен знать, чья это карета.

— Разумеется. Но герб?..

— Я постараюсь, чтоб он его не заметил.

Дверца кареты была предварительно распахнута, и Пушкин герба не увидел. Он перешел в карету сам, Константин Карлович только поддерживал его под локоть.

В карете было темно и уютно, пахло кожей и какими-то старыми, давно вышедшими из моды духами. Точно такими же духами пахло в рабочей корзине бабушки Пушкина, Марьи Алексеевны Ганнибал. В корзине бабушки маленький Саша прятался от гнева матери и докучливых гувернеров. Здесь его уже никто не тревожил. Это была волшебная корзина. И, уже будучи взрослым, поэт часто жалел, что у него больше никогда не будет подобного убежища, где можно было бы укрыться от светского злословия, клеветы, интриг, кредиторов, пасквилянтов, сплетников и лицемерного покровительства первого жандарма России — Николая...

Увы, волшебная корзина исчезла из его жизни вместе с детством и бабушкой!

Пушкин смертельно устал от тех усилий, которые потребовались, чтобы самостоятельно перейти в карету. В изнеможении прижавшись спиной к мягким подушкам, он тихо сказал:

— Как хорошо!

— Тебе удобно?

— Да... как в бабушкиной корзине.

Константин Карлович не понял, но переспрашивать не стал.

— Чья это карета, Данзас?

— Наемная, — с чистой совестью солгал Константин Карлович.

Немец-кучер взмахнул бичом, и карета плавно тронулась с места.

Упругие рессоры скрадывали толчки, и боль, которая еще несколько минут назад, поднимаясь от живота вверх, раскаленным клинком пронзала все тело, постепенно стихла, а затем и вовсе исчезла. Только по-прежнему кружилась голова и во всем теле ощущалась непривычная слабость.

Данзас протянул руку, чтобы задернуть на окне шторку, но Пушкин остановил его. Он хотел видеть вечерний Петербург, город, который он всю свою жизнь так сильно любил и ненавидел. Кто знает, быть может, он проезжает по его улицам в последний раз.

Карета въехала на Аптекарский остров и покатила по прямому, как палка капрала, и нескончаемо длинному Каменноостровскому проспекту.

Чугунные обледенелые тумбы, поставленные здесь еще в царствование Екатерины II, вытянувшиеся в стройные

шеренги, словно солдаты на вахтпараде, фонарные столбы и посаженные через равные интервалы, строго по ранжиру, сиротливые деревья. У моста через Карповку кучер придержал лошадей. Из будки в косую полосу выглянул толстый заспанный будочник в тулупе и с алебардой, с завыванием протяжно зевнул и поднял скрипучий шлагбаум.

Петербург, город прямых линий, чугуна и камня. Камень сюда везли со всех концов необъятной России, но его не хватало, как не хватало и каменщиков, и Петр запретил строительство каменных домов в стольной Москве. Царь добился своего: Петербург стал первым каменным городом Московского государства. Каменные дома, каменные набережные, каменные лица солдат и жандармов. И сам преобразователь России вместе со своим «любезным другом Катеринушкой» теперь тоже был укрыт камнем. Его останки покоились на каменном ложе под каменной плитой в храме Петра и Павла.

Петербург Петра I, Анны Иоанновны, Екатерины, Павла, Александра, Петербург купцов и декабристов, чиновников и крепостных.

В окнах кареты проплывали серые, похожие один на другой дома, лавки, где продавались калачи и сбитень, облинявшие вывески портных и сапожников. Неподалеку от извозничьей биржи, на углу Каменноостровского проспекта и Архьерейской улицы, над дверью трехэтажного доходного дома красовалось изображение покрытой мыльной пеной физиономии: «Стригут, бреют и кровь отворяют».

Пушкина лихорадило. Непослушными, онемелыми пальцами он застегнул шубу, попытался натянуть перчатки. Левая наделась легко, а правая, за что-то зацепившись, никак не налезала на пальцы. Перстень... Пушкин прикоснулся пальцем к вставленному в кольцо камню. Он был теплым, почти горячим. Весенний камень. Это о нем Плиний писал: «Зелень деревьев доставляет большое удовольствие, но с зеленью изумруда не может ничто сравниться. Если зрение наше утомлено, стоит посмотреть на изумруд, и оно успокоится».

Древние считали, что аметист дает власть над ветрами и покровительствует мореплавателям, талисман волхов — лунный камень, воинов — алмаз, а изумруд призван вдохновлять поэтов, художников и музыкантов... Легенды и предания приписывали изумруду покровительство Гомеру и Петrarке, Данте и Байрону.

Покровитель поэтов, живописцев и музыкантов...

Сегодня ему изумруд удачи не принес, но стоит ли его винить в этом? Он никогда не был амулетом дуэлянтов. Но этот камень находился у него на пальце, когда он писал «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря», «Мощарта и Сальери», «Пир во время чумы», «Полтаву», «Дубровского», «Песни западных славян»... Как верный товарищ, он делил с ним успехи и неудачи, радость и горе. Разве это не стоит благодарности? И как-то поэт сказал, что он на Парнас взлетает не на заморском крылатом Пегасе, а на лихой русской тройке — морошка со снегом, стакан ледяной воды с малиновым вареньем, которые всегда стоят на его письменном столе, когда он работает, и вот этот перстень-талисман, подсказывающий рифмы.

Пушкин повернул перстень камнем вниз, и рука легко вошла в тесную перчатку.

Вновь вернулась оставившая было его нестерпимая боль. Чтобы не застонать, Пушкин сжал зубы и глубже втиснулся в подушки. Данзас с тревогой посмотрел на желтое, обескровленное лицо поэта.

— Потерпи немного, скоро приедем.

Пушкин промолчал. Преодолев силой воли приступ боли, сказал:

— Подготовь Натали...

— Конечно.

— И пришли людей, чтоб меня перенесли. Наверх я не поднимусь.

— Все сделаю.

— Натали скажи, что рана несерьезная, царапина,— с трудом выговаривая слова, будто заново учась говорить, сказал Пушкин.

— Не беспокойся.

Остался позади Кронверкский проспект, огибающий полукругом Александровский парк, они переехали Троицкий мост — и вот уже Дворцовая набережная, нарядная, ярко освещенная.

Пушкины занимали квартиру рядом с Зимним дворцом, на Мойке, в доме князя Волконского.

Поэта внесли на руках в его кабинет, раздели и уложили на диван.

Вскоре приехал доктор Задлер. Он осмотрел Пушкина и наложил на рану компресс. Задлера сменил известный в Петербурге хирург Арендт.

Рассказывая впоследствии о своем посещении поэта,

Арендт говорил: «Обычно жизнь людей, получивших подобную рану, измеряется минутами. А он сделал ответный выстрел, сам перешел в карету и столько прожил... Великолепная натура! «Mens sana in corpore sano» — «Здоровый дух в здоровом теле». Это был не только великий поэт, но и человек великой воли».

Арендт зондировал рану, но пулю извлечь не смог.

Отвечая на немой вопрос Натали Николаевны, Арендт с профессиональным оптимизмом сказал:

— Будем надеяться, что все обойдется. Никаких лекарств. Шампанское и лед, лед и шампанское.

Когда Натали Николаевна вышла из кабинета, Пушкин пристально посмотрел на врача.

— А теперь, Николай Федорович, поговорим откровенно.

— Я вас не понимаю...

— Я хочу знать правду, Николай Федорович. Я должен все знать, чтобы иметь возможность распорядиться. Уверяю вас, что ничто испугать меня не может.

Хирург закрыл свой маленький саквояж с инструментами. Саквояж был старым, потертым. Арендт приобрел его еще во времена Отечественной войны 1812 года. Тогда Арендт никогда не лгал умирающим солдатам. Но то были солдаты...

Пушкин по-прежнему неотрывно смотрел на него.

— Если так, то... — нерешительно начал хирург.

— Да?

— Рана очень опасна, — торопливо, словно боясь, что через минуту пожалеет о своей откровенности, сказал Арендт, — и к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

— Спасибо, я так и предполагал. Не говорите лишь об этом моей жене.

Хирург кивнул головой и поднялся со стула.

— Хочу вас предупредить, Александр Сергеевич, что, как лейб-хирург его величества, я обязан доложить о состоявшейся дуэли и ее последствиях царю.

— Докладывайте. Но попросите его от моего имени не наказывать секунданта. Константин Карлович Данзас не мог мне отказать в этой услуге и сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить поединок.

Арендт откланялся, а два часа спустя снова приехал и вручил Пушкину записку царя. «Любезный друг Александр Сергеевич, — писал Николай, — если не суждено нам

встретиться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение».

Арендт с удивлением заметил, что губы Пушкина тронула слабая улыбка.

Лейб-хирург его величества, конечно, не знал, что несколько лет назад поэт в кругу близких друзей импровизировал свое будущее завещание: «Стихотворения откажу Жуковскому, отцу-кормильцу моей музы. Софи Карамзиной — все английские сентиментальные романы, которые она так любит, и необходимый при их чтении носовой платок для вытирания слез...» Пушкин никого не хотел обделить, даже врагов. Врагам он собирался оставить в наследство посвященные им эпитафии и свои денежные долги, которые, увеличивались с каждым месяцем.

Судя по записке царя, Николай готов был принять на себя его долги, не дожидаясь заверенного нотариусом завещания.

Пушкин положил записку на стоящий у дивана столик. Здесь стояло ведро с шампанским и горели в бронзовом канделябре витые свечи. На его указательном пальце вспыхнул зеленым пламенем изумруд. Перстень вторично за этот вечер напоминал о себе, напоминал деликатно, ненавязчиво. У Гёте тоже был резной перстень с изображением Амура на морском коне. Кто-то говорил, что этот перстень был сапфировым, но Пушкин сомневался. К синему цвету Гёте относился если и не отрицательно, то, по меньшей мере, настороженно. «Синее вызывает у нас чувство холода... — писал он. — Синее стекло показывает предметы в печальном виде». А зеленый цвет великий старец любил, в нем он ощущал добрую и умиротворяющую силу природы. Так же как и Плиний, Гёте считал, что такой цвет способен успокоить и глаз и душу. Поэтому перстень у Гёте, скорей всего, был тоже изумрудный, такой же зеленый, как и этот.

Пушкин задумчиво смотрел на перстень. В переливающемся всеми оттенками зеленого в пламени свеч камне он видел сочную зелень молодой травы и еще не просохшие на ветру весенние листья деревьев, залитые теплым золотистым солнцем луга и затененные лесные поляны. Болдино, Михайловское, Тригорское... В комнате повеяло ветерком, который принес с собой легкий аромат ландышей и запах травы.

Пушкин закрыл глаза.

Недоумевающий Арендт наклонился над ним:

— Вам плохо?

— Нет. Просто легкое головокружение.

— Вы потеряли слишком много крови.

— Видимо.

— Хотите что-нибудь передать государю?

«Царь? Ах да, записка...»

— Передайте его величеству, что я тронут проявленным им великодушием, — сказал Пушкин и прикрыл глаза.

Арендт на цыпочках вышел из комнаты.

— Александр Сергеевич уснул. Не тревожьте его, — сказал он Наталье Николаевне.

Но Арендт ошибся: Пушкин не спал. Ему оставалось слишком мало жить, чтобы он мог тратить время на сон. Пушкин снял с пальца перстень и положил его рядом с канделябром.

Что ж, враги не обижены, они свое получили. Но не следует забывать и о друзьях... А друзей у него всегда было много, во много раз больше, чем врагов.

Перед ним мелькали, сменяя друг друга, лица Дельвига, Жуковского, «отца-кормильца» его музы, Пушкина, Кюхельбекера, Карамзиных, Раевских, Чаадаева, Вяземского, Виельгорского, Данзаса, Даля, Гоголя... Да, у него было много друзей. Было?.. Нет, он жив. Пока еще жив...

Ночью боли достигли предела, и поэт попросил камердинера принести ему средний ящик из письменного стола. В ящике лежали пистолеты.

Данзас, которому камердинер тотчас же сообщил об этом, обнаружил их уже спрятыми под одеялом.

Пушкин, стиснув зубы, тяжело дышал. Данзасу показалось, что он его не узнает.

Пистолеты были кухенройтерские, с серебряными скобами и серебряной насечкой на стволах. Таких пистолетов у Дантеса не было, поэтому пистолеты для дуэли заказывались в оружейном магазине Куракина. Данзас вздохнул и положил пистолеты на место.

Утром Пушкину стало немного легче. Днем он разговаривал с Жуковским и Карамзиной, шутил с Далем.

Появилась надежда на выздоровление.

Но на следующий день всем, за исключением, может быть, Натальи Николаевны, стало ясно: Арендт не ошибся — поэт обречен, жизнь покидала его измученное тело.

Пушкин умирал, и вместе с ним умирали его невылившиеся в строчки замыслы.

Незадолго до смерти поэт попросил морошки. Он ел заснеженные ягоды и приговаривал: «Ах, как хорошо!»

А через несколько минут после того, как Наталья Николаевна передала камердинеру пустую тарелку, Пушкина не стало.

На столике у дивана по-прежнему стояли канделябры с оплывшими свечами и ведерко с шампанским. Но перстня с изумрудом на нем уже не было...

Отпевали Пушкина в придворной Конюшенной церкви, а затем повезли в Святогорский монастырь, где покоился прах его матери. Несмотря на предсмертную просьбу поэта, просившего за своего секунданта, и ходатайство Натальи Николаевны, Данзаса арестовали, и ему было отказано в милости сопровождать гроб друга в Михайловское. А через некоторое время состоялось разбирательство по делу убийцы Пушкина. Дантес-Геккерен был приговорен к смертной казни. Но одновременно суд постановил ходатайствовать о смягчении наказания. Дантеса разжаловали в рядовые и выслали за границу. Вместе с ним уехала из России и его жена, свояченица Пушкина, Екатерина Николаевна Гончарова.

\* \* \*

...Василий Петрович зажег верхний свет, задернул на окне плотную штору. И там, по ту сторону зашторенных двойных стекол, остался Петербург 1837 года с его громадами дворцов, легконогими рысаками под цветными сетками, керосиновыми фонарями, полосатыми шлагбаумами и молодыми ясенями у Черной речки...

В комнате снова были только он, я и Пушкин — не умирающий человек, не бронзовая статуя, а стоящие на полке тома, то, что гений оставил последующим поколениям.

— И жизнь и смерть великого поэта породили в свое время немало легенд, значительная часть которых пришла на долю перстня-талисмана, — задумчиво сказал Василий Петрович. — Перстень будил любопытство и разжигал воображение. Среди легенд, ему посвященных, попадались и весьма любопытные.

Происхождение перстня, например, связывали с царствованием Бориса Годунова. Говорили, что царь подарил его на счастье своей дочери Ксении. По отзывам современников, Ксения Годунова была необыкновенной красавицей. «Отроковица чудного домышления, зельною красо-

тою лепа, бела и лицом румяна, очи имея черны, велики, светлостью блистая... власы имея черны, велики, аки трубы по плечам лежаху», — восторженно писал о ней летописец. Но Ксения, по свидетельству тех же современников, отличалась не только красотой, но и образованностью. Она знала античную историю и мифологию, была знакома с творчеством древних поэтов и сама не чуждалась муз. Во всяком случае, ей приписывалось авторство некоторых популярных на Руси в начале XVII века песен. Смарагдовый перстень (смарагдом называли тогда изумруд) был вырезан ювелиром по ее рисунку и являлся точной копией знаменитого перстня Поликрата, сделанного великим Диодором с Самоса. Древние греки утверждали, что этот великолепный перстень, пожертвованный впоследствии богам императором Августом, искавшим их покровительства, стоил столько же, сколько остров Самос, родина Диодора. Так же как на том легендарном перстне, на перстне Ксении была вырезана лира, окруженная пчелами.

Но талисман не принес Ксении счастья. Когда царь Борис умер, а его жена и сын были убиты боярами, Ксению заточили в монастырь. Там она перед смертью подарила перстень настоятельнице.

Переходя из рук в руки, перстень оказался у владельца богатого села Вязема. У него якобы бабушка поэта Марья Алексеевна Ганнибал и приобрела перстень Ксении, который завещала своему внуку как реликвию.

Были и другие варианты той же легенды. Рассказывали, что знаменитый польский поэт Адам Мицкевич, слышавший о перстне Ксении, случайно приобрел его у какого-то ювелира, то ли в Кракове, то ли в Варшаве, и в знак своего преклонения перед талантом русского поэта преподнес его автору «Бориса Годунова».

По другой легенде перстень-талисман принадлежал Ивану III, который выдал свою дочь Елену замуж за великого князя Литовского Александра. В свите, которая сопровождала Елену в Литву, был и предок поэта Василий Тимофеевич Пушкин, пользовавшийся благосклонностью дочери великого князя. Иван III считал, что и так оказывает Александру великую честь, и не дал за дочь никакого приданого. Это тяготило Елену. В одном из писем к отцу она писала: «И сама разумею, и по миру вижу, что всякий заботится о детках своих и о добре их промышляет: только одну меня, по грехам, бог забыл. Слуги наши



не по силе, и трудно поверить, какую казну за дочерью своими дают, и не только что тогда дают, но и потом каждый месяц обсылают, дарят и тешат... только на одну меня Господь Бог разгневался, что пришло твое нежалованье... Служебница и девка твоя, королева Польская и великая княгиня Литовская Олена, со слезами тебе, государю, отцу своему, низко челом бьет».

После этого письма Иван III якобы усовестился и послал 500 горностаевых шкурок, кречетов и изумрудный перстень, который в дальнейшем Елена подарила за верную службу Василию Тимофеевичу Пушкину. Так перстень стал фамильной драгоценностью Пушкиных и достался Александру Сергеевичу от его дяди Василия Львовича, тоже поэта, который преклонялся перед своим гениальным племянником. Согласно этой легенде на перстне венецианским мастером были вырезаны шапка Мономаха и бармы.

Одни утверждали, что перстень-талисман Пушкину подарил Державин, другие — что графиня Воронцова, третьи называли имя Дельвига.

Еще больше легенд было посвящено судьбе перстня после смерти Пушкина. Здесь уже каждый фантазировал в меру своих сил и возможностей.

Шепотом говорили, что поэт переслал свой талисман «опасному государственному преступнику» Ивану Ивановичу Пушину, отбывавшему пожизненную каторгу за «участие в умысле на царевубийство одобрением выбора лица, к тому предназначенного...»

Некоторые уверяли, что перстень у «этого чудовища Чаадаева», ведь недаром покойный поэт посвятил ему столько стихотворений и в числе «самых необходимых предметов для жизни» просил прислать в Михайловское портрет этого сумасшедшего.

Третьи говорили, что Пушкин отдал перстень Владимиру Ивановичу Далю, с которым сблизился в последние дни своей жизни, а перед смертью даже перешел на «ты». Кстати, в статье о Дале, помещенной в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, приват-доцент Булич как само собой разумеющееся написал, что Даль «присутствовал при трагической кончине Пушкина, от которого получил его перстень-талисман». И в том же словаре в статье о Данзасе указывалось: «Пушкин очень любил Данзаса, которому, умирая, отдал на память с своей руки кольцо».

Среди слухов был и слухок, пущенный кем-то из нена-

вистников Натальи Николаевны. Говорили, будто бы Пушкин отдал перстень ей, а она не нашла ничего лучшего, как подарить талисман поэта своей уехавшей в Париж сестре, жене убийцы, Екатерине Николаевне Гончаровой. И теперь, после смерти Екатерины Николаевны, Дантес-Геккерен, глумясь над памятью убитого им гения, носит перстень на своем мизинце.

Этот слух настолько разжег страсти, что один из русских гвардейских офицеров, страстный поклонник Пушкина, поклялся привезти талисман из Парижа, а если Дантес откажется отдать перстень, убить мерзавца на дуэли.

К тому времени Дантес-Геккерен, которого Карл Маркс называл «известным выкормышем Империи», а великий французский поэт Виктор Гюго клеймил в своих «Châtiments», успешно делал политическую карьеру при другом, более крупном авантюристе, чем он сам. Наполеон III оценил энергию, беспринципность и преданность своего «выкормышя». Император произвел Дантеса в сенаторы и камергеры, определив ему жалованье в 60 тысяч франков и приблизив к своей особе.

Встретиться с любимцем Наполеона III было сложно. А тут еще русским офицером сразу же после его прибытия в Париж заинтересовалась хорошо информированная французская полиция, которая, видимо, получила какие-то сведения о целях его приезда.

Но зато офицера, к его глубочайшему удивлению, охотно приняла у себя дочь Дантеса — Леония-Шарлотта. Горничная тотчас же проводила русского в ее комнату.

Первое, что бросилось в глаза офицеру в кабинете Леонии-Шарлотты, был большой портрет Александра Сергеевича Пушкина...

Но это еще не все. На письменном столе молодой женщины рядом с бронзовым бюстом того же Пушкина лежал раскрытый томик из собрания его сочинений и исписанные листы бумаги.

Офицер ожидал чего угодно, но только не этого. На какое-то время он потерял дар речи.

— Я работаю над переводом на французский язык «Бориса Годунова», — объяснила Леония-Шарлотта, указав на письменный стол. — Может быть, это слишком смело с моей стороны. Но перевод Ле Фюре не очень удачен, а мне бы хотелось, чтобы французы получили хоть некоторое представление о русском гении, которого в лице про-

звали Французом. Если мне это удастся, я буду считать, что прожила не зря.

— Я хотел побеседовать относительно вашего отца, — робко сказал офицер, ошеломленный увиденным и услышанным.

— Если вы имеете в виду сенатора Дантеса-Геккере-на, то я его своим отцом не считаю. Я не могу признать отцом человека, который решился выстрелить в сердце России.

Визит затянулся. Офицер провел в обществе Леонии-Шарлотты целый вечер. В Россию он вернулся очарованный женщиной, которая оказалась достойной именоваться не дочерью Дантеса, а племянницей Пушкина. Но его клятва осталась невыполненной: перстня он не привез, а сенатор и камергер Наполеона III умер в глубокой старости своей смертью. Дело в том, что Леония-Шарлотта заверила посланца из России: Наталья Николаевна никогда не дарила ее матери перстня покойного поэта. Более того, она, Леония-Шарлотта, даже не слышала об этом талисмане.

Таким образом, экспансивного юного офицера, который был моим отцом, Петром Никифоровичем Беловым, постигла неудача. Но в этой неудаче, впрочем как и в каждой неудаче, были и свои положительные стороны. Во-первых, отец до конца своих дней сохранил светлое воспоминание о Леонии-Шарлотте и твердую уверенность, что она стала вечным укором для Дантеса. А во-вторых, что, с моей точки зрения, более существенно, он по-настоящему заинтересовался пушкинским талисманом и положил немало трудов на то, чтобы установить истину. Не могу сказать, что он сильно преуспел, но кое-чего Петр Никифорович все-таки добился.

Вскоре после возвращения из Парижа юному офицеру попала в руки копия составленного в 1827 году для Николая I «Алфавита членов бывших злоумышленных тайных обществ и лиц, прикосновенных к делу, произведенного высочайше учрежденною 17 декабря 1825 года следственною комиссиею». В этом «Алфавите» против имени Никиты Всеволодовича Всеволожского было написано: «...Всеволожский был учредителем общества «Зеленая лампа», которому название сие дано от лампы, висевшей в зале его дома, где собирались члены, коими, по словам Трубецкого, были Толстой, Дельвиг, Родзянко, Барков и Улыбашев».

Среди перечисленных фамилий Пушкина не было. Но

в том, что он состоял членом этого общества, не было никаких сомнений.

В послании к Юрьеву поэт писал:

Здорово, рыцари лихие  
Любви, свободы и вина!  
Для нас, союзники молодые,  
Надежды лампа зажжена!

Что же из себя представляла «Зеленая лампа»?

В записке Якова Николаевича Толстого, которую он направил 17 октября 1829 года Николаю I, указывалось, что общество «получило название «Зеленой лампы» по причине лампы сего цвета, висевшей в зале, где собирались члены. Под сим названием крылось, однако же, двусмысленное подразумевание, и девиз общества состоял из слов: «Свет и Надежда». Причем составлялись также кольца, на коих вырезаны были лампы; члены обязаны были иметь у себя по кольцу».

Когда Петр Никифорович обнаружил, что именно такой печатью с изображением лампы поэт запечатал письмо к одному из своих знакомых, некоему Мансурову, он уже не сомневался — тайна талисмана разгадана. Конечно же, Пушкин, всегда сочувствовавший вольнолюбивым стремлениям своих друзей — декабристов, на всю жизнь сохранил перстень-печатку с «Лампой надежды» на лучшее будущее России. Эта печатка и являлась его талисманом с юных лет и до трагической смерти от руки Дантеса.

Но, увы, открытие, которым так гордился мой отец, только увеличило число легенд и ни на шаг не приблизило его к разгадке. Об этом он, к своему глубокому разочарованию, узнал от другого офицера, с которым вскоре судьба свела его в Болгарии во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Этот офицер в Балканскую кампанию командовал 13-м Нарвским гусарским полком и за проявленное мужество был награжден золотым оружием и Георгием 3-й степени. Фамилия того полковника была Пушкин, а звали его Александром Александровичем.

Отец мне говорил, что Александр Александрович унаследовал от поэта его серые глаза, вьющиеся волосы и длинные, тонкие пальцы рук. Не знаю. Мне привелось впервые увидеть Александра Александровича уже в весьма преклонном возрасте, когда он в звании генерал-лейте-

нанта вышел в отставку и то ли заведовал Московским коммерческим училищем, то ли председательствовал в опекуном совете. Я, в то время гимназист-первоклассник, во все глаза смотрел на хозяина дома — сына великого Пушкина! Однако словоохотливый старик ничем не напоминал своего знаменитого отца, каким тот мне представлялся по многочисленным портретам и скульптурам.

Петр Никифорович Белов не только познакомился с командиром 13-го Нарвского гусарского полка (несчастливый номер полка очень смущал Александра Александровича: он считал, что наверняка будет убит в бою, но все-таки лез под пули), но несмотря на разницу в чинах, сошелся с ним, а к концу жизни даже сдружился.

Полковника заинтересовали изыскания моего отца и его рассказ о встрече с дочерью Дантеса («У такой канальи — и такая дочь! А еще говорят, что яблоко от яблони не далеко падает. Обязательно напишу кузине. Говорите, она хорошенькая? Гончаровы подарили России немало красавиц. Почему же им обделять Францию!»).

— Может быть, вы что-либо слышали о гемме с изображением лампы?

— Как же, слышал, — подтвердил Пушкин-младший. — Однако опасаясь, что вынужден буду вас разочаровать. Как мне ни прискорбно, иного выхода не вижу.

Полковник подтвердил, что действительно, по семейным преданиям, у Александра Сергеевича имелся перстень-печатка с изображением лампы. Но эту печатку поэт потерял в Кишиневе или Гурзуфе, а может быть, еще где. Во всяком случае, перстень был утерян задолго до женитьбы на Наталье Николаевне.

— А вот это кольцо с бирюзой, — Александр Александрович оттопырил мизинец правой руки, — отец подарил после дуэли матери и точно такое же — Константину Карловичу Данзасу. — И, словно подводя черту под разговором, сказал: — Дантеса, натурально, убить следовало бы, но вкупе с тем ерником, который хотел оклеветать мать. Можете поверить слову офицера: Наталья Николаевна никакого перстня сестре не дарила. Она никогда бы не сделала такой бестактности. Моя мать была достойной женщиной.

— Но перстень-талисман был или его не было? — спросил отец.

Пушкин усмехнулся:

— А вы напористы... Боюсь вам что-либо сказать

определенное, но, видно, все-таки был... Знаете, что я вам посоветую? Попробуйте поговорить с госпожой Смирновой.

— С какой Смирновой?

— С Александрой Осиповной, урожденной Россет. Она в свое время была фрейлиной императрицы Марии Федоровны и Александры Федоровны. Старуха еще жива.

— Это та, что опубликовала в «Русском архиве» воспоминания о вашем отце и Жуковском?

— Совершенно справедливо, — подтвердил Александр Александрович. — Помнится, она кому-то говорила о перстне-талисмани, который якобы был подарен отцу графиней Воронцовой. Правда, поговаривают, что старушка выжила из ума, но чем черт не шутит? Авось вам с ней и повезет. Ведь вы не командуете тринадцатым полком и черные кошки вам дорогу не перебегают, — пошутил Александр Александрович, которому обязательно попадались черные кошки везде, где квартировал 13-й гусарский полк.

Отцу повезло. Проживавшая где-то за границей Смирнова объявилась в 1880 году в Москве. Отца ей представили.

Таким образом, он получил возможность поговорить о перстне Пушкина с Александрой Осиповной Смирновой и ее дочерью Ольгой Николаевной, которая была при матери чем-то вроде секретаря и няньки одновременно.

Встретили его весьма любезно и предупредительно. Вопреки опасениям, Смирнова охотно отвечала на все вопросы.

Да, разумеется, у Сверчка был изумрудный перстень-талисман. Об этом перстне-печатке знали все друзья поэта. Пушкин очень дорожил им и носил на указательном пальце правой руки. Александр Александрович прав: Натали и Данзасу его отец оставил бирюзу.

Нет, талисман не достался ни Пушкину, ни Чаадаеву, ни Далу. Люди по своей природе склонны к фантазии. Это от бога, и с этим ничего не поделаешь.

Она знала про все слухи, но не считала нужным опровергать их. Теперь, после вещего сна и разговора с духом Пушкина, она хочет внести ясность. В действительности все было иначе. Совсем иначе. Александр Сергеевич, как и следовало ожидать, подарил перед смертью свой талисман Василию Андреевичу. Да, Василию Андреевичу Жуковскому, которого он так сильно любил и который для него

так много сделал. Тут не может быть никаких сомнений. Жуковский об этом сам рассказывал, когда они после смерти Сверчка встречались в Дюссельдорфе и во Франкфурте-на-Майне. Василий Андреевич носил тогда перстень-талисман на среднем пальце правой руки, рядом с обручальным кольцом. Он говорил, что Пушкин и жена занимают в его сердце одно и то же место, поэтому перстень покойного и обручальное кольцо тоже должны быть всегда вместе.

— Ольга, покажи, пожалуйста, господину Белову дюссельдорфский портрет Василия Андреевича! — обратилась она к дочери и пояснила: — Этот портрет написан тестем Василия Андреевича, художником Рейтерном.

На портрете пятидесятивосьмилетний Жуковский был изображен в полный рост. На безымянном пальце правой руки поэта можно было разглядеть обручальное кольцо, а на среднем — зеленый овал изумруда.

— Камень? — спросил Петр Никифорович у Смирновой.

— Нет, интальо<sup>1</sup>, — ответила та.

А не участвовавшая в разговоре Ольга Николаевна сказала:

— Перс, который продал это интальо, рассказывал о нем прелестную историю.

— Да, да, — оживилась Смирнова.

И мой отец, уже сытый по горло различными легендами, с должным смирением вынужден был выслушать еще одну.

Изумрудное интальо работы древнего восточного мастера много лет хранилось вместе с другими старинными геммами в сокровищнице великих моголов в Дели. А в 1739 году, когда войска персидского завоевателя Надир-шаха вторглись в Индию и сокровищница великого могола Мухамед-шаха была разграблена, Надир-шах подарил это интальо своему старшему и любимому сыну, Реза Куле, который должен был наследовать великую и могущественную империю. Но будущее известно лишь аллаху. И в 1743 году Надир-шах, разгневавшись за что-то на сына, приказал ослепить его. Впрочем, шах вскоре раскаялся в содеянном, и гнев его обратился против пятидесяти вель-

мож, присутствовавших при ослеплении наследника. Почему они, зная о намерении своего повелителя, не разубедили его? Почему они не предложили шаху свою жизнь для спасения очей наследника? Понятно, что на все эти вопросы вельможи ничего вразумительного ответить не могли. А молчание, по мнению Надир-шаха, являлось самым веским доказательством их вины.

Справедливость рано или поздно, но должна была восторжествовать. И она восторжествовала. Все пятьдесят «виновников» ослепления Реза Кулы были казнены на площади перед дворцом. Реза Кула мог собственными глазами убедиться в справедливости своего великого отца, но глаз у него уже не было... И тогда шах, отличавшийся не только справедливостью, но и хитроумием, сказал сыну: «Твои уши услышат их стоны, а твой изумруд увидит их мучения». И, когда наследник присутствовал при казни, на его груди было интальо из сокровищницы великих моголов...

Кто-то из персидских поэтов писал потом, что от созерцания пролитой во время этой казни крови изумруд стал алого цвета и таким же горячим, как щипцы, которыми палачи терзали несчастных. Чтобы вернуть камню прежний цвет, интальо поместили в зеленом, как сам изумруд, шахском саду, и ровно через пятьдесят дней к камню вернулась его первоначальная окраска...

— Василий Андреевич собирался написать обо всем этом балладу, что-то вроде «Поликратова перстня» Шиллера, — сказала Александра Осиповна. — Такая же мысль была, как мне говорили, и у Александра Сергеевича. Но ни тому, ни другому не удалось осуществить свое намерение.

Ольга Николаевна красноречиво посмотрела на часы, давая тем самым понять, что время визита уже истекло. Но отец, пренебрегая намеком, спросил, что произошло с перстнем Пушкина после смерти Жуковского.

— Василий Андреевич оставил его своему сыну, Павлу Васильевичу.

— Перстень и сейчас у него?

— Нет.

— А у кого же? — настойчиво допытывался отец, у которого не было уверенности, что ему еще когда-нибудь придется беседовать со Смирновой.

— Павел — поклонник господина Тургенева, — сухо сказала дочь Смирновой, — и в знак своего уважения

<sup>1</sup> Резные драгоценные и полудрагоценные камни, геммы, бывают двух видов: с выпуклым изображением — ка м е я, с углубленным — ин т а л ь о.

к таланту этого литератора он подарил ему доставшийся от отца перстень Пушкина.

— Но с неперменным условием, чтобы после смерти господина Тургенева перстень был ему возвращен,— дополнила ее старушка.

Дочь Смирновой вторично посмотрела на часы и встала.

— К сожалению, будет ли это условие выполнено или нет, зависит не от господина Тургенева, а от госпожи Виардо.

Отцу не оставалось ничего иного, как откланяться.

Казалось бы, разговор с двумя дамами внес определенность в загадочную историю с перстнем поэта. Но отец, приобретший некоторый скептицизм и печальный опыт за время своих долголетних поисков, теперь уже сомневался во всем. Его сомнения разделял и Александр Александрович Пушкин. На свои письма к Тургеневу и сыну Жуковского ответа он не получил, что уже само по себе было плохим признаком.

И вдруг — а «вдруг» бывает не только в детективных романах — 8 марта 1887 года в газете «Новое время» появилось письмо Василия Богдановича Пассека, русского вице-консула в Далмации, автора популярных в свое время беллетристических произведений.

В своем письме Пассек удостоверял, что умерший в Буживале под Парижем в доме Виардо Иван Сергеевич Тургенев действительно владел перстнем-талисманом поэта. Более того, Пассек приводил сказанные при нем слова писателя: «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому как высшему представителю современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет его час, граф передал этот перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями».

Итак, рассказанное моему отцу двумя дамами подтверждалось. Но где теперь находится перстень-талисман — в России или во Франции? У кого он — у Полины Виардо, Павла Жуковского или у Льва Николаевича Толстого? Как будто бы ответом на все эти вопросы был присланный в Россию Полиной Виардо сердоликовый восьмиугольный перстень с надписью на древнееврейском языке.

Ответ ли?

Да, присланный перстень бесспорно принадлежал Пушкину. О нем неоднократно упоминали современники поэта.

Но считал ли сам Пушкин своим талисманом именно этот сердоликовый перстень?

Петр Никифорович в этом сомневался.

Ведь те, с кем он беседовал, говорили об изумруде, покровителе поэтов, художников и музыкантов, который вместо короны вручался каждому вновь избранному королю братства менестрелей и которым награждали победителей в состязании бардов.

Нет, Пушкин, конечно, считал своим талисманом не сердоликовый, а изумрудный перстень.

Но тогда выходит, что подлинный перстень-талисман поэта был не у Тургенева, а у кого-то другого.

Но у кого?

Может быть, он действительно достался Владимиру Ивановичу Далю? Ведь утверждают, что Даль сам говорил об этом...

А может быть, перстень у Толстого?

Отец этого так и не узнал...

Когда я, сдав экзамены за второй курс университета, готовился принять участие в археологической экспедиции, которая должна была заниматься раскопками в районе Керчи, из дому пришла телеграмма о его кончине...

Он умер за письменным столом, правя черновик своего письма Льву Николаевичу Толстому. Оно, разумеется, было посвящено все тому же перстню...

Когда после похорон я разбирал его бумаги, то обнаружил большую толстую тетрадь в сафьяновом переплете. В ней со свойственной Петру Никифоровичу скрупулезностью были изложены все перипетии его многолетних розысков. Уезжая, я забрал ее с собой как память об отце. С тех пор она всюду меня сопровождала. Но внимательно прочел я ее лишь в 1918 году в связи с одним не совсем обычным обстоятельством.

Как вы знаете, в январе 1918 года в Московском Кремле была ограблена патриаршая ризница, в которой хранились исторические сокровища России, оцениваемые по самым скромным подсчетам в 30 миллионов золотых рублей. Среди украденного были сделанные замечательными русскими мастерами первой половины XVII века «Средняя митра» патриарха Никона с большим изумру-

дом, на котором неизвестный резчик изобразил сошествие Христа в ад; напечатанное в 1689 году единственное в своем роде Евангелие в золотом, покрытом художественной эмалью и усыпанном драгоценными камнями переплете весом около двух пудов; перстень московского митрополита Алексея и другие уникальные вещи.

Ограбление ризницы было не первым случаем расхищения предметов искусства.

При печальной памяти Временном правительстве группа бандитов среди бела дня совершила в Петрограде налет на здание Сената. Налетчики увезли тогда с собой известный всем историкам и искусствоведам ларец Петра Великого, вылитую из золота статую Екатерины II, золотые фигурки конных трубачей.

Бесследно исчезали картины, фарфоровые табакерки, скульптуры, гобелены, коллекции древних монет и античных гемм из барских особняков, захваченных анархистами.

Покидая большевистскую Россию, богачи увозили за границу полотна великих мастеров, бесценные фолианты, старинные иконы, продавали их иностранцам, прятали в тайники.

Поэтому президиум Московского Совдепа, заслушав сообщение о случившемся председателя Комиссии по охране памятников искусства и старины, не только обратился ко всем гражданам Советской России с призывом оказать содействие в розыске и возвращении похищенного из патриаршей ризницы, но и ходатайствовал перед Совнаркомом Республики о национализации всех предметов искусства, имеющих художественное и историческое значение. Это ходатайство, разумеется, было удовлетворено. А некоторое время спустя, если не ошибаюсь, в апреле, Народный комиссариат художественно-исторических имуществ, в котором я тогда заведовал одним из отделов, опубликовал воззвание:

«...Вчерашние царские дворцы, а ныне — народные музеи, созданы руками народа и лишь недавно ценою крови возвращены их законному владельцу — победителю, революционному народу, — писалось в нем. — Каждый памятник старины, каждое произведение искусства, коим тешились лишь цари и богачи, стали нашими; мы никому их не отдадим больше и сохраним их для себя и для потомства, для человечества, которое придет после нас и захочет узнать, как и чем люди жили до него. И подобно тому, как каждому из нас дороги воспоминания детства и моло-

дости, каковы [бы] они ни были, горькие или сладкие, — так и весь народ сохранит эти воспоминания истории минувшей, былых годов, как что-то дорогое и давно пережитое».

Но работа сотрудников Народного комиссариата художественно-исторических имуществ Республики и Всероссийской комиссии по охране и раскрытию произведений искусства, членом которой я также состоял, не ограничивалась, разумеется, воззваниями, циркулярами и предписаниями. Перед нами была поставлена задача разыскать, реквизировать и обеспечить сохранность всего, что представляло ценность. А это, смею вас уверить, была в тех условиях очень сложная, а по мнению некоторых искусствоведов, и просто непосильная задача. В том же Петрограде, помимо всем известных сокровищниц, таких, как Эрмитаж, музеем императора Александра III и музеем Академии художеств, существовали большие частные коллекции графов Строгановых, княгини Юсуповой-Сумароковой-Эльстон, великолепная пинакотeka, то есть картинная галерея, голландских и фламандских художников Семенова. В так называемом минцкабинете великого князя Георгия Михайловича хранилось лучшее в мире собрание монет древнегреческих поселений на юге России. А в тайнике владельца антикварного магазина Гребнева мой помощник, рабочий-путиловец Борис Ивлев, вместе с сотрудниками ВЧК отыскал ящики со скифским золотом и, как он выразился, «каменных и золотых жучков». «Жучки» оказались древнеегипетскими скарабейми, среди которых, кстати, был великолепный скарабей из аметиста с вырезанной на внутренней стороне надписью. Подобные скарабеи влагались в мумии знатных египтян вместо вынутого из тела сердца. Надпись на аметистовом скарабее убеждала сердце покойного не свидетельствовать против него на загробном суде.

Тому же Ивлеву посчастливилось в Москве, куда мы переехали в конце лета, обнаружить в подвале покинутого хозяевами особняка около сотни старинных вееров. Среди них были и японские из белой пеньковой бумаги с рисунками известных художников. Подобные веера-картины в середине прошлого века продавались в Лондоне по 900 фунтов стерлингов за штуку.

Надо сказать, что в Москве к привычным уже для нас трудностям прибавилась еще одна — отсутствие подходящих хранилищ. Третьяковка, Оружейная палата, Румян-



цевский и Исторический музеи не в силах были сразу же принять непрерывно поступающие к ним произведения искусства. Поэтому многие из национализированных вещей приходилось временно размещать в здании наркомата, а то и на квартирах сотрудников.

Ивлев, в обшарпанную комнатку которого привезли как-то портрет кисти Рембрандта и несколько полотен Гогена, спал с маузером под подушкой, а днем бегал по музеям и комиссиям, грозясь перестрелять саботажников.

Своеобразный вид приобрел и мой номер в бывшей гостинице «Метрополь», ставшей Вторым Домом Советов.

Чего здесь только не было!

Под моей кроватью мирно спала тысячелетним сном в обществе набальзамированных священных кошек, змей и симпатичного нильского крокодила очаровательная мумия, недавняя собственность московского фабриканта Гречковского. Под головой ее лежал положенный тысячи лет назад полотняный круг с хороводом веселых павианов, бурно приветствующих всемогущего бога солнца, а на лице покоилась позолоченная маска.

Место под софой занимали скифские древности: колчаны для смертоносных стрел с тисненными золотыми бляхами, золотые венки и серебряная ваза для вина, украшенная изображениями грав, цветов и хищных грифов, терзающих оленя.

Возле умывальника в целомудренной позе стояла беломраморная Венера, которая благосклонно взидала на меня, когда я совершал свой утренний и вечерний туалет. Венере плутовски подмигивала с полки чудесная статуэтка жизнерадостного фламандца Виллема Бекеля, прославившегося в XIV веке усовершенствованием засола сельдей. Видимо, его сеledки действительно заслуживали всяческой похвалы: недаром же гробницу Виллема посетил как-то в сопровождении своих сестер, королев Франции и Венгрии, высокомерный Карл V, а поэт Кемберлин воспел фламандца в своих стихах.

Немецкие кубки второй половины XVI века в виде парусных кораблей, ветряных мельниц, толстопузых монахов и длиннохвостых павлинов; этруссские и византийские вазы; китайские, персидские и французские веера.

Но больше всего места занимало собрание старинного индусского оружия. Я мог вооружить не один десяток воинов. У меня имелись пенджабские куйтсы, смертоносные мару, кривые, как полумесяц, ножи кукри, отделанные

слоновой костью грозные палицы и знаменитые малайские крисы...

И вот однажды в моем номере, одновременно похожем на антикварный магазин и арсенал индусского раджи средней руки, появился поздним вечером некий молодой человек.

Странного посетителя нельзя было назвать ни товарищем, ни господином. Для «товарища» у него были слишком холеные руки с длинными, до блеска отполированными ногтями, привычное грассирование и манеры «человека из общества». А для «господина»... Одежда молодого человека полностью соответствовала революционным канонам того бурного времени: высокие, заляпанные грязью сапоги, кожаная потрепанная куртка, косоворотка, кожаный картуз с красной ленточкой. Кроме того, он виртуозно скручивал пресловутые «козьи ножки» и безбожно дымил махоркой. В лице его тоже было что-то и от «товарища» и от «господина». А главное, оно дышало честностью и благородством — особенность, по которой я обычно определял жуликов. Поэтому я сухо ответил на приветствие незнакомца и еще суше поинтересовался:

— Чем могу быть полезен, гражданин?

Незнакомец с ответом не торопился, продолжая с веселой наглостью разглядывать экспонаты моего импровизированного музея.

Его глаза небрежно скользнули по индусскому оружию, на мгновение задержались на веерах и внимательно ошупали статуэтку фламандца.

— Если память мне не изменяет, на аукционе в девятьсот шестнадцатом она пошла за семь тысяч, а стоит-то все пятнадцать, а?

Любитель махорки неплохо разбирался в антиквариате...

— Стул предложить не собираетесь?

— Садитесь.

— Благодарю вас.

Он сел одновременно со мной. Спросив разрешения, закурил и заверил, что с молодых ногтей сочувствовал революции и революционерам, а большевиков просто боготворил. Именно поэтому он и хочет через меня передать в дар Советской власти некую уникальную вещь.

Меньше всего он был похож на бескорыстного дарителя, поэтому я на всякий случай уточнил:

— Безвозмездно?

— Разумеется,— подтвердил он.— Ведь те жалкие двадцать тысяч рублей, которыми, надеюсь, Советская власть поощрит мой благородный патриотический поступок, ни один нормальный человек не назовет деньгами...

— Гм... Двадцать тысяч.

— Да, всего-навсего двадцать тысяч.

— Вам разве неизвестно, что мы ничего не покупаем?

— Известно. Вы национализуете и реквизируете.

Но существуют, понятно, исключения. Мне думается, перстень-талисман Александра Сергеевича Пушкина, например, мог бы стать таким исключением, не правда ли?

Надо сказать, что в марте 1917 года возвращенный Полиной Виардо сердоликовый перстень поэта вместе с некоторыми другими вещами был украден из Пушкинского музея в Александровском лицее. Почти все украденное тогда же удалось разыскать, но перстень бесследно исчез. Все усилия Петроградской уголовно-розыскной милиции ни к чему не привели.

Уж не вор ли передо мной?

Я стал лихорадочно прикидывать, как лучше задержать этого подозрительного человека.

Но перстень, который положил на стол посетитель, был не сердоликовый, а изумрудный...

Изумруд!..

Я тут же вспомнил про изыскания отца, и у меня перехватило дыхание.

Неужто он был полностью прав, считая, что своим талисманом Пушкин все-таки признавал не сердолик, не бирюзу, а изумруд?

Золотой перстень с овальным изумрудом...

Когда я доставал из ящика стола ювелирную лупу, у меня тряслись руки.

Изумруд в перстне был густого ровного темно-зеленого цвета — такие изумруды французские ювелиры называют «Emeraude de Tunka». Большинству изумрудов свойственны изъёмы в виде трещин, темных пятнышек слюдяного сланца или черных черточек — «пике». Когда-то для устранения подобных дефектов камни проваривались в очищенном прованском масле, подкрашенном зеленой краской. Но изумруд в перстне, насколько я мог определить, проварке не подвергался: косметика ему не требовалась. Великолепный, совсем прозрачный кристалл с характерным стеклянным блеском.

Золотое кольцо, в которое его вставили, сделали, ви-

димо, в конце XVIII или начале XIX века, но сам камень я бы отнес к глубокой древности. Скупыми, но выразительными штрихами на нем было вырезано строгое, с миндалевидными глазами лицо египетской богини Нейт — матери солнечных божеств. Надпись представляла собой первые слова посвященной Нейт молитвы: «О великая мать, рождение которой непостижимо».

Посетитель скрипнул стулом, напоминая о своем присутствии.

— Итак, вы хотите за перстень двадцать тысяч?

— Тридцать. Тридцать тысяч золотом.

— Позвольте, но ведь вы пять минут назад просили двадцать.

— Вы просто не расслышали. К тому же это было, как вы сами изволили заметить, пять минут назад, а время — деньги,— ласково сказал он и процитировал слова, приписываемые египтянами своему божеству: — «Я — все бывшее, настоящее и грядущее; моего покрывала никто не открывал; плод, рожденный мной,— солнце». Разве одно это не стоит лишних десяти тысяч?

— Откуда у вас перстень?

Он пожал плечами:

— Купил, выиграл в карты, нашел на улице, обменял, получил в наследство — не все ли вам равно? Вы деловой человек, а возможность, которую я вам предоставил, никогда больше не повторится. Хватайте за хвост жар-птицу — улетит.

Жулик играл наверняка.

— Хорошо,— сказал я после недолгих колебаний,— допустим, мы решили приобрести перстень за двадцать тысяч...

— За тридцать,— поправил он.

— Пусть за тридцать. Но чем вы можете удостоверить, что это интальо — знаменитый перстень-талисман поэта?

— Помимо своего честного слова? — усмехнулся он и свернул очередную «козью ножку». — Ну что ж, могу представить и другое, более веское для вас доказательство: собственноручную записку Пушкина, которая запечатана этим перстнем. Устраивает?

— Пожалуй. Оставьте мне записку и перстень. Завтра я дам ответ.

Перстень он отдать отказался («Вы слишком привыкли к реквизициям, а я по себе знаю, что от дурных привычек избавиться трудно»), но записку оставил. В ней было всего

несколько слов, написанных по-французски нервным и торопливым почерком: «Partie remise, je vous previeendrai».

Вот тогда-то я и просидел всю ночь, читая и перечитывая отцовскую тетрадь в сафьяновом переплете. Да, эту самую.

Достоверного описания перстня, как я уже вам говорил, не было. Большинство сходилось лишь на том, что в кольце находился изумруд или другой камень зеленого цвета. Что именно было вырезано на камне, отец так и не узнал. Однако он склонялся к тому, что инталью восточной работы и выгравировано в эпоху Древнего Рима, когда резчиками чаще всего были рабы. Он даже сделал наброски нескольких наиболее известных инталей того времени: печати императора Августа с изображением сфинкса, Помпея (лев, держащий меч) и Юлия Цезаря (вооруженная Венера). Впрочем, он не исключал и того, что инталью Пушкина сделано в XVII или XVIII веке, когда резчики часто подражали древним образцам, а Иозеф-Антон Пихлер и его сын Иоганн так искусно гравировали свои геммы, что ни один знаток не мог их отличить от античных.

С запиской мне повезло больше. По утверждению Александры Осиповны Смирновой, такая записка, запечатанная перстнем-талисманом, действительно существовала. Смирнова говорила отцу, что секундантом Пушкина должен был быть ее брат, Клементий Осипович Россет. Но накануне дуэли Пушкин заехал к нему и, не застав дома, оставил записку на французском языке: «Дело отложено, я вас предупрежу». Однако дуэль все-таки состоялась...<sup>1</sup>

По мнению Жуковского, на которого ссылалась Смирнова, Пушкин специально хотел ввести в заблуждение Россета, опасаясь, что тот может рассказать о готовящемся ему, Жуковскому, или Вяземскому, а они, конечно, предпримут все возможное, чтобы помешать дуэли. Опасения поэта были обоснованными. Россет, по словам той же Смирновой, сразу же показал полученную им записку Вяземскому, а Вяземский — Карамзиной, Виельгорскому и Жуковскому. Кем-то из них записка и была утеряна.

Таким образом, документ, который мне оставил человек в кожанке, являлся серьезным доказательством подлинности перстня. Очень серьезным, если... К этому «если»

сводилось все: действительно записка написана рукой Пушкина или это фальсификация?

Сейчас к вашим услугам сотни специалистов по графической экспертизе, располагающих самой совершенной аппаратурой, не менее совершенной методой и опытом. А в Москве середины восемнадцатого года отыскать эксперта было весьма сложно.

Наши товарищи побывали и в МЧК, и в уголовно-розыском подотделе административного отдела Московского Совдепа. Намучились, словом, основательно, но эксперта все-таки нашли, такого сухонького старичка, который некогда подвизался при коммерческом суде или где-то еще.

Старичок часа полтора поколдовал над запиской и образцами почерка Пушкина, а затем дал категорическое заключение: подлог.

\* \* \*

Василий Петрович допил уже успевший остыть в кофейной фарфоровой чашечке черный кофе. Вздыхнул и неохотно сказал:

— Пожалуй, этим словом «подлог» можно было бы и закончить мой рассказ. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. История с перстнем-талисманом имеет продолжение... Нет, гость в кожанке во Втором Доме Советов больше не появлялся. Видимо, мое решение его не интересовало. Он как в воду канул, лишив меня горького удовольствия сказать ему все, что я о нем думаю. Но через год наши дороги вновь пересеклись, на этот раз уже в Киеве, куда я выехал вместе с Борисом Ивлевым в августе 1919 года, в самый разгар гражданской войны.

Нам было поручено разыскать хранившийся некогда в киевском царском дворце знаменитый альбом Рембрандта, не менее знаменитый крест Сергия Радонежского, которым тот, по преданию, благословил на битву с Мамаем Дмитрия Донского, а также, как гласила инструкция, «принять необходимые революционные меры» к охране исторических памятников, в том числе Владимирского собора, средняя часть которого была расписана известным художником Васнецовым.

Для успешного выполнения этой миссии нас снабдили по тем временам всем необходимым: фунтом хлеба (рабочие в Москве получали по осьмушке), двумя фунтами отборной астраханской воблы, двумя наганами с соответ-

<sup>1</sup> Об этой записке упоминается в книге А. О. Смирновой-Россет «Записки». СПб., 1897.

ствующим количеством патронов и грозными длинными мандатами, которые под страхом «революционной кары» предписывали всем оказывать нам всемерную помощь.

В полученной инструкции предусматривалось все, за исключением того, что сразу же после нашего приезда Киев будет взят деникинцами... Эвакуироваться мы не успели, поэтому нам оставалось только доест воблу и молча наблюдать торжественное вступление «белого воинства» в город.

Дворянско-купеческий Киев ликовал. Разряженные в пух и прах дамы целовали руки офицеров и морды их лошадей. Крещатик был усыпан цветами, повсюду гремели оркестры, и в контрразведку без лишнего шума свозили подозрительных...

Положение, в котором мы оказались, отнюдь не располагало к оптимизму, хотя части Красной Армии находились на реке Ирпень, в каких-нибудь десяти — пятнадцати верстах от города, и настойчиво напоминали о себе артиллерийской канонадой. Правда, мне удалось связаться с одним из членов Киевского областного подпольного комитета партии, который обещал при первом же удобном случае переправить нас в лодке вверх по Днепру. Но мы понимали, что у подпольщиков есть более важные и неотложные дела. Поэтому в ожидании «удобного случая» мы работали в булочной, которая одновременно была явочной квартирой, и выполняли различные поручения ее хозяйки, подпольщицы с солидным дореволюционным стажем.

И вот как-то в один из этих тревожных дней я нос к носу столкнулся на Малой Васильковской у кафе «Днепр» с моим московским знакомым. Если бы он меня не остановил, я бы, конечно, его не узнал и прошел мимо. Он полностью преобразился. Кожаную куртку, косоворотку, сапоги и неизменную «козью ножку» сменили сшитый у лучшего киевского портного элегантный костюм, лихо сдвинутый на затылок котелок, трость с набалдашником из слоновой кости и галстук с бриллиантовой булавкой. Он уже ничем не походил на «товарища».

— Вот теперь можем с вами по-настоящему и познакомиться, Василий Петрович,— со свойственной ему веселой наглостью сказал он и, приподняв котелок, шутливо представился: — Столбовой дворянин и ценитель изящных искусств Евгений Николаевич Веселов. Прошу любить и жаловать.

Ни любить, ни жаловать проходимца у меня никакого

желания не было. Но еще меньше мне хотелось оказаться в лапах контрразведки. Поэтому я изобразил если и не восторг, то тихую радость от неожиданной встречи. Раздражать Веселова, Иванова или Петрова — фамилии свои он явно менял чаще, чем перчатки,— в мои расчеты не входило.

— Что собираетесь реквизировать в Хохландии? Крещатик? Днепр? Владимирскую горку? Аскольдову могилу?

Я сказал, что уже давно не работаю в Комиссариате художественно-исторических имуществ и что мои пути с Советской властью разошлись.

— Как и у каждого истинного патриота и благородного человека,— не без юмора добавил он, и по веселому блеску в его глазах я понял, что он не верит ни одному моему слову.

Самым благоразумным было побыстрее распрощаться, сославшись на неотложные дела. Но сделать это мне не удалось. Кажется, Веселов — будем называть его так — был искренне рад нашей встрече и настойчиво приглашал меня вместе позавтракать. Скрепя сердце я принял приглашение. Мы зашли в кафе. К моей радости, выяснилось, что Веселов через два часа уезжает в Одессу. Там он рассчитывал купить французский паспорт и навсегда покинуть пределы России.

— Судя по костюму и планам, вы преуспели?

— Да, умирать с голоду в Париже мне не придется,— подтвердил он.— Надеюсь там завести свое маленькое дело, что-нибудь вроде магазина «Русский ювелир». Неплохое название? Но это в будущем, а в настоящем мне бы хотелось выпить за вас, вне зависимости от того, служите ли вы по-прежнему в комиссариате или нет. Я политикой не занимаюсь. Я занимаюсь лишь ювелирными изделиями...

— ...и талисманами,— не выдержал я.— Кстати, перстень вы тогда все-таки продали?

— А как же! — чуть ли не оскорбился он.— С вашей легкой руки...

— Кому же, если не секрет?

— Теперь уже не секрет.

Он назвал фамилию известного мне коллекционера, князя Щербатова.

— Князь заплатил за перстень сорок тысяч наличными. Совсем неплохо продал, как вы считаете? Князь был

в восторге, говорил, что передо мной в долгу вся русская литература, и даже поцеловал в щеку, вот сюда

— Сорок тысяч? Забавно

— Забавно не это, — усмехнулся он — Знаете, кто меня свел с князем? Ваш эксперт-графолог.

— Эксперт?!

— Именно Князь ему перед своим отъездом за границу выплатил, если не ошибаюсь, около тысячи комиссионных, так что старичок не прогадал. Ведь и записка и перстень были подлинными — вот что забавно, Василий Петрович! Но вы не расстраивайтесь перстень в надежных руках Князь, учитывая выплаченную им сумму, весьма порядочный человек и горячий поклонник Пушкина — Он поднял рюмку — За процветание русской литературы и за ваше здоровье, Василий Петрович! На ваш век еще хватит что реквизируют

Когда я вернулся в Москву, эксперта уже не было в живых, так что я не смог проверить, насколько соответствовало истине все рассказанное мне в Киеве «столбовым дворянином и ценителем изящных искусств» Евгением Николаевичем Веселовым. Но думаю, что он не лгал. Зачем ему тогда было лгать? А если так, то, может быть, зеленый талисман поэта с изображением богини Нейт («Я — все бывшее, настоящее и грядущее») все-таки где-нибудь да отыщется. Во всяком случае, мне бы очень хотелось на это надеяться.



## ПОЯС ЗОЛОТ

Серебряные и бронзовые кольца, которые прикреплялись к шапкам, шейные обручи, незамысловатые серьги, примитивные браслеты; грубые и тяжелые пряжки. Так некогда выглядели ювелирные украшения полян и древлян

Но уже в X веке посетившая, как теперь принято го-

ворить, с дружественным визитом Царьград княгиня Ольга привезла в этот город, считавшийся мировым центром художественных ремесел, не только прославленные русские меха, но и прекрасное произведение киевских златокузнецов — «блюдо велико злато служебно», которое заняло почетное место среди изящной церковной утвари Софийского собора.

А два столетия спустя византийский писатель Иоанн Тцетцес был настолько восхищен работой русских умельцев на кости, что воспел дивную красоту этой резьбы в восторженных стихах.

Действительно, к тому времени киевские мастера, многому научившиеся у византийцев, в некоторых видах ювелирных работ (чернь, резьба по кости) даже превзошли своих греческих учителей.

Русские ремесленники в совершенстве овладели трудным и кропотливым искусством чеканки и гравировки, изготовления филигранных, то есть кружев из тончайшей серебряной, золотой или медной проволоки, производством эмалей, вначале более простых, выемчатых, а затем и перегородчатых.

И начиная с X века русские князья не только приобретают изделия византийских ювелиров, но все чаще пользуются услугами местных златокузнецов.

Во Владимире при великом князе Андрее Боголюбском русские ремесленники украшают различными металлическими изделиями с финифтью церкви. В Москве покрываются художественной чеканкой серебряные кубки и братины.

Русские умельцы делают жуковины (перстни), оклады для икон, узорчатые ножны для мечей и сабель, серьги, ожерелья, покрывают финифтью серебряные пластинки-дробницы, которые нашивались на парадные одежды. Они превращают в художественные изделия рукояти засапожных ножей, шлемы, конскую сбрую и княжеские регалии. Такими регалиями были венцы князя и княгини, золотые «чеши», бармы и пояса.

Княжеские венцы делались в форме зубчатых обручей или обручей с трилистниками, а венцы княгинь и княжон поражали разнообразием форм и неумейной фантазией златокузнецов. Но все-таки наибольшее распространение получили венцы «с города», которые изображали княжеский дворец в несколько ярусов, с теремами, башенками и галереями.

Золотой пояс был гордостью каждого великого князя. Поэтому изготовление поясов поручалось самым искусным и прославленным златокузнецам, знатокам драгоценных камней, в совершенстве овладевших тайнами чеканки, гравировки и филигранного дела. Пояс должен был ошеломлять своим великолепием. К нему прикреплялись звонцы — золотые колокольчики разных размеров и толщины, а также золотые бряцальца. Каждое движение князя сопровождалось мелодичным звоном и постукиванием бряцальца.

Один из таких поясов, ставший поводом к княжеской междоусобице, которая продолжалась без малого двадцать лет, удостоился чести попасть в летопись и стать таким образом частью истории Древней Руси. Этот пояс обычно именуют поясом Дмитрия Донского, хотя в собственности прославленного князя он находился всего несколько часов...

Скорей всего, пояс сделали суздальские златокузнецы. Во всяком случае, вначале он принадлежал суздальско-нижегородскому князю, на дочери которого женился шестнадцатилетний Дмитрий. Свадебные торжества состоялись в Коломне. Туда и был прислан в качестве приданого этот пояс, поразивший всех тонкостью работы и богатством украшений. Но великому московскому князю и его гостям на свадебном пиру недолго привелось любоваться изделием суздальских мастеров. В тот же день пояс похитили, подменив его другим, менее ценным. Пропаж, видимо, обнаружилась довольно быстро. Тем не менее розыски ничего не дали: пояс как в воду канул. До конца своей жизни Дмитрий Донской так и не узнал, кто именно осмелился ограбить его казну. А сделал это, как выяснилось в дальнейшем, не кто иной, как главный распорядитель на свадьбе великого князя, его любимец и один из самых влиятельных людей в княжестве — тысяцкий Вельяминов...

Мучила Вельяминова совесть, нет ли, об этом летопись умалчивает. Зато она достаточно подробно рассказывает о дальнейшей судьбе пояса, который Вельяминов отдал своему сыну, Николаю Вельяминову, командовавшему Коломенским полком во время Куликовской битвы. Затем этот пояс перешел к боярину Всеволожскому, который женился на дочери Николая Вельяминова. Всеволожский, в свою очередь, дал его в приданое своей дочери, вышедшей замуж за князя Андрея Радонежского. После смерти



князя Андрея пояс вновь оказался у Всеволожского. Так похищенный Вельяминовым пояс Димитрия Донского и переходил из одних рук в другие.

Шли годы. Московский престол после смерти Димитрия Донского унаследовал его сын, а затем и внук, великий князь Василий Васильевич, известный в истории под именем Василия Темного. Когда Василий Васильевич женился, в Москву съехалось много гостей. Были среди них и его двоюродные братья, сыновья галицкого князя Юрия, Димитрий Шемяка и Василий Косой.

Во время шумного застолья, когда подвыпившие гости хвалились друг перед другом кто «чепью с алмазы», кто ожерельем, кто шеломом с золотой насечкой, Василий Косой похвастался своим золотым поясом. Действительно, ничто не могло сравниться по красоте с этим дивным творением русских златокузнецов. И все же Василию Косому не следовало бы кичиться этим поясом, ибо это был пояс Димитрия Донского... К тому времени пояс сменил добрый десяток хозяев. Василий Косой даже не подозревал, кому он принадлежал раньше. Зато это хорошо помнил старый московский боярин, присутствовавший шестьдесят семь лет назад на свадьбе Димитрия Донского. И когда Василий Косой встал из-за стола, к нему подошла мать жениха, княгиня Софья, женщина вспыльчивая и решительная, и в присутствии всех гостей сорвала драгоценный пояс.

Это было оскорбление. Тяжкое оскорбление. Оба Юрьевича немедленно покинули дворец великого князя. В ту же ночь они со своими дружинами уехали в Галич, по пути «пограбиша Ярославль и казны всех князей разграбиша».

Дядя Василия Васильевича, галицкий князь Юрий, никогда теплых родственных чувств к племяннику не испытывал. Какие там родственные чувства! Тот был для него лишь соперником, занявшим великокняжеский стол, о котором так мечтал князь Юрий. А тут как нельзя более кстати — история с поясом Димитрия Донского. В Москве опозорили его сына — разве это не повод к войне? Великолепный повод. И князь Юрий не преминул им воспользоваться.

Великий московский князь Василий Васильевич унаследовал от Димитрия Донского княжество, но не воинские таланты. В битве на реке Клязьме его войска были разбиты. Мечта князя Юрия осуществилась: наконец-то он

стал великим князем. Своему племяннику Юрий дал в удел Коломну.

Но одно дело завоевать земли и совсем иное — удерживать их за собой. И народ, и бояре были на стороне Василия Васильевича. Юрий, видно, обладал трезвым умом, поэтому счел за благо вновь уступить великокняжеский стол своему племяннику. Однако все три сына Юрия в этом его не поддержали. Вновь началась война. А когда Юрий умер, великим князем объявил себя его старший сын, Василий Юрьевич, тот самый Василий Косой, с которого княгиня Софья сорвала на свадьбе золотой пояс.

Быть бы Косому великим князем, если бы против него не выступили его же собственные братья... Каждый из них считал себя ничем не хуже Василия. Почему же именно Василий Косой должен занять великокняжеский стол? Пусть уж тогда лучше в Москве по-прежнему княжит Василий Васильевич. По крайней мере, никому не обидно.

«Ежели бог не восхотел, чтобы княжил отец наш,— заявили они ему,— то тебя-то мы и сами не хотим».

Так злосчастный великий князь Василий Васильевич снова вернулся в Москву. А Василий Косой, прекрасно понимая, что шутки с братьями плохи, спешно отбыл в Новгород, не забыв прихватить с собой великокняжескую казну.

Несмотря на то что Юрьевичи сами вынудили Косого покинуть Москву и пригласили туда Василия Васильевича, отношения между двоюродными братьями не наладились. Распря то затихала, то вспыхивала с новой силой. Москву неоднократно захватывали враги великого князя, а сам князь после суда, устроенного Димитрием Шемякой («Шемякин суд»), был ослеплен.

Междоусобица прекратилась лишь со смертью Шемяки, который умер от яда в Новгороде в 1453 году. Кто отравил его, неизвестно. Но есть основания предполагать, что тут не обошлось без Василия Васильевича Темного, заклятого врага мятежного князя. Во всяком случае, гонец с вполне подходящей к случившемуся фамилией Беда, который привез эту весть в Москву, был щедро одарен великим московским князем и пожалован им в дьяки.

Так закончилась жестокая многолетняя распря между русскими князьями, которая началась с подмененного Вельяминовым золотого пояса Димитрия Донского.

Что же представлял собой знаменитый пояс, который вошел в историю Древней Руси?

Как он выглядел?

К сожалению, летописец не нашел нужным упомянуть об этом ни словом, видимо полагаясь на фантазию потомков. Что ж, возможно, он был прав. Во всяком случае, Василий Петрович, изучавший в свое время ювелирное искусство Древней Руси, охотно вызвался удовлетворить мое любопытство и восполнить пробел в летописи.

От него я узнал, что в те давние времена княжеские и боярские пояса были двух видов: обычные, мало чем отличавшиеся по форме от нынешних, и воинские, ратные. Ратные пояса, в свою очередь, делились на трехконцовые (два — для застегивания пояса, а третий — для меча или сабли) и четырехконцовые, к которым можно было также, помимо меча, пристегнуть футляр для лука — «налушно» — и колчан со стрелами.

Чтобы не привлекать к себе внимания врагов, русские князья перед битвой обычно переодевались в одежду простого воина. Так, например, сделал тот же Дмитрий Донской перед сражением с войсками Мамая. Тем не менее золотые пояса делались по образцу ратных, чаще всего четырехконцовыми. По мнению Василия Петровича, именно таким и был золотой пояс Дмитрия Донского.

Два конца, предназначенные для оружия, мастер opravил, видимо, золотыми узорчатыми наугольниками, украшенными филигранью и самоцветами. Два других имели полуовальные золотые бляхи, которые при застегивании пояса составляли овал. На этом овале перегородчатой трехцветной эмалью сделано изображение одного из самых популярных тогда на Руси святых — Дмитрия Солунского, погибшего во времена римского императора Диоклетиана. Дмитрий Солунский считался покровителем Руси. В своем рассказе о взятии князем Олегом Царьграда летописец Нестор указывал, что византийцы приписывали победу Олега заступничеству за славян этого святого.

Дмитрий был воином и правителем Солуни (Солунь — древний город на берегу Эгейского моря, где, кстати говоря, по преданию родились Кирилл и Мефодий, которым Русь обязана грамотой), поэтому на поясе он изображен в воинском облачении — с копьем и мечом. По краю овала вычеканена и частично выгравирована сцена торжественного въезда во Владимир великого князя Всеволода

Юрьевича с иконой, писанной на гробовой доске этого святого.

Остальную часть пояса составляют четырнадцать выгнутых золотых пластинок овальной формы, которые скрепляются между собой репьевидными золотыми кольцами. В центре каждого такого кольца находится жемчужина. На пластинках, обрамленных филигранью, — чеканные и гравированные изображения. Снизу к пластинкам подвешены миниатюрные золотые колокольчики.

Василий Петрович настолько подробно описывал каждую деталь пояса Дмитрия Донского, что я пошутил:

— А ведь признайтесь, вы его видели.

— Видел, — подтвердил Василий Петрович.

— В Москве у Василия Темного или в Галиче у Василия Косого?

— Нет, не в Москве и не в Галиче, — буднично сказал Василий Петрович, — а в Харькове. В 1919 году.

\* \* \*

Вряд ли далекий, в общем-то, от политики молодой искусствовед Василий Белов мог предполагать, что когда-либо окажется причастным к деятельности большевистского подполья. Но в годы гражданской войны случались вещи и более неожиданные.

В 1919 году Василий Петрович, работавший тогда в Народном комиссариате художественно-исторических имуществ РСФСР, где он заведовал отделом, был вместе со своим помощником Борисом Ивлевым командирован в Киев.

Через несколько дней после их приезда город захватили белые. Белов и его помощник застряли в Киеве вместе с альбомом Рембрандта и другими уникальными вещами, которые им надлежало привезти в Москву.

Ивлев в Киеве был впервые, а Белова многие здесь знали. Знали и то, что он на этот раз прибыл из Москвы для реквизиции произведений искусства. На него мог отправить донос любой бывший владелец картины или скульптуры.

— Так что сами понимаете, по ночам мне не спалось, — говорил Василий Петрович. — Реквизированные вещи мы спрятали в подвале домика рабочего с завода «Арсенал». В том же подвале нашлось место и для меня. (Ивлев,

который не опасался быть опознанным, жил при булочной, являвшейся одновременно явочной квартирой.)

Дождаться в подвале прихода Красной Армии мне, конечно, не улыбалось. В довершение ко всему в соседнем доме квартировало несколько солдат, так что я имел возможность покидать свое сырое и темное убежище лишь по ночам.

Надо было что-то предпринимать. Но что? Попытаться перейти через линию фронта? Товарищи из подпольного обкома, которые время от времени навещали меня, эту идею не поддержали — рискованно.

Не знаю, на что бы я в конечном счете решился, если бы в одну из темных киевских ночей в домике не оказался смешливый пожилой человек в золотом пенсне и с седой бородкой. Это был Всеволод Михайлович Санаев, один из основателей киевского археологического общества «Нестор-летописец», историк, археолог, искусствовед, ювелир и реставратор, человек всеобъемлющей эрудиции.

О Санаеве я впервые услышал еще в гимназии, когда среди петербургских искусствоведов разнесся слух, что наконец раскрыт секрет черного лака, которым древнегреческие мастера покрывали свои вазы. Действительно ли Санаеву это удалось, не знаю. Но реставрированные им греческие и этрусские вазы казались только что вышедшими из мастерской.

Позднее я присутствовал на его блестящих докладах в Императорском археологическом обществе, зачитывался статьями об украшениях княжеских одежд в Древней Руси и эмалях времен Андрея Боголюбского. Восхищался сделанными в мастерской Санаева образцами старинных сережек, среди которых были поразительные по пластичности серьги-бубенчики, серьги-колты и серьги-орлики.

Познакомились мы в начале 1914 года, когда я приехал в Харьков — Санаев был харьковчанином, — чтобы передать ему просьбу хранителя отделения древностей Румянцевского музея подготовить экспозицию украшений древнерусских княжеских одежд.

Вместо предполагаемых двух-трех дней я провел в Харькове целый месяц, который, кстати говоря, дал мне больше, чем весь университетский курс. Тогда же я узнал от своего гостеприимного хозяина, что он не только сочувствует революционерам, но и помогает деньгами местной большевистской организации.

Санаев — и революция! Я был настолько поражен этим

открытием, что не смог скрыть свое изумление. Поэтому Санаев счел нужным объяснить: «Думаете, нонсенс, бессмыслица, абсурд? Нет, закономерность. Ведь изучение прошлого не самоцель. Изучение прошлого — лишь средство. Да, да, средство, для того чтобы лучше понять закономерности настоящего и предугадать будущее. Уж вы мне, старику, поверьте. А я, в отличие от многих нынешних интеллигентов, неисправимый оптимист и поэтому считаю, что будущее окажется лучше настоящего, что оно будет ярче, чище и справедливей. Потому-то в меру своих сил я и стараюсь его приблизить. Разве это не логично?»

Между тем в Харькове — да и не только в Харькове — считали, что более далекого от повседневной жизни человека, чем он, во всей России не сыщешь, разве что где-нибудь на Алеутских островах. Рассказывали, что Всеволод Михайлович даже не подозревает о том, что в России уже царствует не Александр Третий, а Николай Второй. Шутили, что о войне четырнадцатого года с Германией он узнал лишь на следующий год и то случайно.

Но все это, разумеется, было чепухой. Всеволод Михайлович казался далеким от жизни лишь тем, кто его мало знал. Поэтому, когда в 1918 году в Москве некий сотрудник Наркомата сказал мне, что Санаев якобы приветствовал оккупацию Харькова немцами, заявив, что в наше время русский ученый имеет возможность спокойно работать только под охраной немецких штыков, я ему не поверил. Не поверил я и тому, будто Всеволод Михайлович шутил в узком кругу, что истинный художник не отдает предпочтения ни одной краске, что белый цвет ему не менее дорог, чем красный.

Нет, сердцу Санаева был дорог именно красный цвет, цвет повязок на рукавах красногвардейцев, бантов на их картузах, алый цвет знамен революции.

— А вы, голубчик, малость отсырели в своем подвале. И, кажется, даже плесенью покрылись, — сказал Санаев, после того как мы с ним троекратно поцеловались. — Не надоела добровольная тюрьма, а?

— Ну, тюрьма-то, положим, не совсем добровольная, — возразил я.

— Не спорю, не спорю, — согласился Всеволод Михайлович и спросил: — Рембрандт-то ваш не попортится? Ведь он избалованный господин, к таким варварским условиям существования не привык. И холода не любит и влажности...

— За него я как раз не беспокоюсь. Упакован по всем правилам. Если потребуется, и год пролежит и два.

— Ну, столько ему терпеть неудобства не придется. Грабь-армия надолго в Киеве не задержится, вышибут,— уверенно сказал Санаев.— Где вы его разместили?

— Между бочками с солеными арбузами и квашеной капустой.

— Appetitное место,— одобрил Всеволод Михайлович, сузив за стеклами пенсне свои умные и смешливые глаза.— А вы свои дни там же коротаете?

— Угадали,— мрачно подтвердил я.— Там же. Только Рембрандт поближе к арбузам, а я к огурцам.

— Какая прелесть! — воскликнул он.— По-моему, молодой, подающий надежды искусствовед в сочетании с солеными огурцами — нечто экзотическое, что-то вроде ананасов в шампанском или устриц в лимонном соке. Это уж было слишком.

— Если вы такой любитель экзотики,— съязвил я,— то мы с Рембрандтом готовы потесниться. Вас устроит постель рядом с кавунами?

— А рассол хорош?

— Великолепен!

— Тогда надо подумать,— серьезно сказал Санаев.— А покуда у меня к вам, дражайший Василий Петрович, имеется контрпредложение...

— Какое же?

— Не торопитесь. Всему свое время: и кавунам, и огурцам, и деловым разговорам... Как положено русским интеллигентам, начнем с чая. Чай располагает к добросердечности. А то вы в своем подземелье успели ожесточиться.

За чаем — Всеволод Михайлович принес настоящий кантонский чай, величайшая редкость во времена гражданской войны,— Санаев спросил, как бы я отнесся к переезду в Харьков.

Вопрос был для меня неожиданным.

— А что я, собственно, буду там делать?

— Как — что? Жить и работать.

— Извините, Всеволод Михайлович, но это звучит слишком неопределенно. Может быть, вы все-таки внесете некоторую ясность?

— Что ж можно внести и некоторую ясность,— усмехнулся Санаев.— В Харькове вам не придется жить в подвале, что уже само по себе приятно. А кроме того,

вы получите возможность принести кое-какую пользу.

— Кому?

— Советской власти, разумеется.

— Что вы имеете в виду?

— Помощь местным подпольщикам.— И так как я молчал, он спросил: — Что вас смущает? Опасность? Так вы не меньшей опасности подвергаетесь в Киеве, я бы даже сказал, что большей. Как-никак, а в Харькове вас почти никто не знает. Ну как?

— Думается, что вы меня переоцениваете, Всеволод Михайлович.

— В каком смысле?

— В прямом. Я вовсе не приспособлен к тому, чтобы писать и расклеивать прокламации, устраивать крушения поездов и организовывать забастовки.

— А вам и не придется этим заниматься,— возразил Санаев.— Для подобных вещей там найдутся другие люди.

— Но что же все-таки я буду делать? Реставрировать картины, что ли?

— А ведь вы мне подали идею! — воскликнул Санаев.— Именно так: реставрировать картины. Почему мне это раньше в голову не приходило? Вы, если мне память не изменяет, зарабатывали реставрацией еще в студенческие годы, а затем числились в реставрационной мастерской Румянцевского музея?

— Да.

— Вот и великолепно. Откроете реставрационную мастерскую в Харькове. Клиентуру я вам обеспечу.

Мне показалось, что Санаев меня разыгрывает. Но он был серьезней чем когда бы то ни было. Допив очередную чашку чая и отодвинув свой стул от стола, он торжественно сказал:

— Вы, так же как и ваш покорный слуга, будете работать в группе «золотоискателей».

— Золотоискателей?!

— Да, «золотоискателей»,— подтвердил Санаев.— Только не делайте таких больших глаз, голубчик. Время действительно сумасшедшее, но пока еще никто не собирается устанавливать драгу на Пушкинской улице перед штабом генерала Май-Маевского или промывать песок на Павловской площади. Золотые прииски в Харькове не открылись. На этот счет можете быть спокойны. Золотоискатели — это фигурально.

Дело заключается в следующем. Подпольной организации, как, впрочем, и любой организации, требуются деньги. Деньги для подпольного паспортного бюро, деньги для покупки оружия, для устройства типографии, для подкупа чиновников. Деньги, деньги и еще раз деньги! Зафронтовое бюро ЦК большевиков Украины, которое руководит всеми подпольными комитетами,— организация небогатая. Кроме того, как вы сами понимаете, систематически переправлять деньги в другие города — дело сложное и опасное. Выход из этого один: раздобывать деньги на местах. Вот в Харькове по решению подпольного губкома и создана группа «золотоискателей».

Единственная задача «золотоискателей» — добывать деньги. Денежный фонд харьковской организации пополняется моей мастерской, домашней столовой в Жаткинском проезде, бакалейной лавкой, мастерской по пошиву одежды на Коцарской улице...

Все мы — «золотоискатели» и находимся, как правило, на легальном положении. Нам не нужны ни фальшивые паспорта, ни фальшивые фамилии, ни фальшивые бороды. Для властей мы всего-навсего харьковские обыватели, добывающие себе хлеб насущный частнопредпринимательской деятельностью. Харьков не Советская Россия, здесь подобного рода деятельность поощряется. В таком же амплуа будете выступать и вы. Разве что-нибудь может быть безобидней реставрации картин? Нет, разумеется.

— А вы уверены, Всеволод Михайлович, что реставратору найдется в нынешнем Харькове хоть какая-нибудь работа?

В этом Санаев не сомневался. По его сведениям, в Харьков в разное время перевезли свои линаотеки такие известные украинские коллекционеры, как Ханенко, Бутович, Самоквасов. В городе также осела часть картин из музея древностей и искусств Киевского университета святого Владимира, музея Одесского общества истории и древностей российских, Феодосийского музея древностей. Сюда же еще в начале восемнадцатого года некоторым владельцам удалось всякими правдами и неправдами вывезти ценные картины известных русских и иностранных мастеров из Москвы и Петрограда.

— Харьков сейчас нечто вроде гигантской ярмарки произведений искусства,— сказал Санаев.— В пассаже Пашенко-Тряпкина, в торговых рядах между Монастырскими воротами и Купеческим спуском вы можете приоб-

рести все, что пожелаете, начиная от старинного фарфора и кончая Репиным, Левитаном и Врубелем. И как ни странно, но предложение превышает спрос, хотя скупщики прекрасно понимают, что купленное за полцены в России можно впоследствии сбыть за полную стоимость во Франции, Швеции, Англии или Америке. Правда, иноземные ценители живописи далеко, а Красная Армия близко, да и пароходы по Черному морю курсируют не по расписанию... Если бриллианты можно спрятать в каблуке сапога, то картины там не поместятся. Так что реставратор без дела сидеть не будет. Работа ему найдется. Потому-то я и предлагаю вам присоединиться к нашей группе, если вас, разумеется, не устраивает дальнейшее пребывание между огурцами и арбузами.

— Между огурцами и кавунами — Рембрандт,— поправил я Всеволода Михайловича.— А я — между огурцами и капустой.

— Надеюсь, что и вы и Рембрандт меня извините,— засмеялся Санаев.— Перепутал. Всю жизнь путаю солений. Ну, что еще? Альбом с картинами Рембрандта? Насколько я понял, он и спрятан и упакован вполне надежно. Кроме того, в Киеве остается Ивлев, а на него, как мне говорили, можно положиться. Так что никаких препятствий я лично не вижу. А вы? Может быть, у вас есть какие-либо возражения против «золотоискательской» деятельности?

Нет, больше никаких возражений у меня не было.

— Тогда выпьем за успех и здоровье харьковских «золотоискателей», за их скромный вклад в общее дело,— сказал Санаев, торжественно приподнимая свою чашку с чаем.

Утром Всеволод Михайлович свел меня с представителем Зафронтового бюро ЦК КП(б)У, молодым молчаливым человеком в черной косоворотке, а вечером того же дня мы с ним выехали в Харьков.

\* \* \*

— Очень странное впечатление произвел на меня тогда Харьков,— продолжил свой рассказ Василий Петрович.— Здесь перемешалось все: едва сдерживаемая ненависть рабочих окраин и безудержное ночное веселье сливок харьковского общества; лихорадочная спекуляция

валютой и накладными на товарной бирже и глухие ружейные залпы, доносившиеся из Григоровского бора, куда водили на казнь приговоренных к расстрелу.

В городском саду на берегу заросшей ряской Нете-чи гремел оркестр и танцевали нарядные пары, а на Николаевской площади, против дома Дворянского собрания, ветер раскачивал трупы повешенных с прикрепленными на груди надписями: «Дезертир», «Бандит», «Большевик».

В равной степени были переполнены как театры, где во время спектаклей стояли в проходах, так и тюрьмы, где заключенные голова к голове спали на цементном полу.

Под реставрационную мастерскую Санаев снял для меня за весьма умеренную плату одноэтажный деревянный флигелек в одном из дворов по Пушкинской улице, почти рядом со штабом командующего Добровольческой армии генерала Май-Маевского.

Это ветхое строение принадлежало не менее ветхому хозяину, который представился мне «бывшим воином и меценатом». «Бывший воин и меценат», живший в доме, выходящем окнами на улицу, предложил свои услуги в оборудовании мастерской. Но в переделках флигеля не было никакой необходимости: он и так вполне меня устраивал.

Флигель состоял из трех комнат и кухни. Одну комнату я отвел под склад. Здесь у меня хранилось все, что требовалось для реставрации: тиски, прессы, подрамники, барсуковые кисти для лака, которые где-то раздобыл Санаев, пемза, рашпили, деревянные планки, предназначенные для паркетирования, то есть для наклеивания на обратную сторону картин, писанных на досках. Тут же на полках стояли банки с рыбьим клеем и венецианским терпентином (тоже заслуга Санаева: венецианского терпентина нигде не было), банки с маковым, льняным и лавендуловым маслом, со спиртом (во время своих посещений флигеля «бывший воин и меценат» проявлял к ним особый интерес), баночки с эфиром, скипидаром, соляной кислотой и канифолью. А в фанерных ящиках хранились запасы репчатого лука и чеснока, которые предназначались для протирки лицевой стороны реставрируемых картин.

Собственно, мастерской стала вторая комната, большая и светлая, с окнами, не затененными деревьями сада. Третья же служила одновременно и приемной и спальней. Здесь мы спали на двух широких диванах, привезенных

Санаевым из своего дома. Мы — это я и мой подмастерье Федор, пятнадцатилетний угрюмый паренек, отец которого, слесарь с Механического завода на станции Новая Бавария, был расстрелян в первые же дни захвата Харькова белыми. Взял я его к себе по просьбе члена подпольного губкома Ореста Григорьевича Ефимова, ведавшего группой «золотоискателей», единственного подпольщика, с которым я поддерживал постоянный контакт.

Сообразительный и старательный паренек, ставший много лет спустя известным киевским реставратором картин и незаурядным художником-декоратором, очень мне пригодился, когда дела мастерской пошли в гору. Однако вопреки оптимистическим прогнозам Всеволода Михайловича произошло это не так скоро, как бы нам всем хотелось.

Около месяца мы едва сводили концы с концами. И вполне возможно, что наше предприятие полностью бы прогорело, если бы не счастливая случайность, за которую следовало благодарить бога, присяжного поверенного Крупенника и... генерала Май-Маевского. Впрочем, наибольшую благодарность все-таки заслуживал умерший еще в середине XVII века Даниэль Сегерс, ученик знаменитого Яна Брейгеля Бархатного, или, как его еще называли, Цветочного.

«Бывший воин и меценат», время от времени посещавший мастерскую, как-то привел с собой адвоката Крупенника, тучного, неряшливого человека, у которого, по слухам, водились большие деньги.

Крупенник с барственной рассеянностью осмотрел наше немудрящее хозяйство, а на прощанье так же рассеянно заметил, что мог бы, пожалуй, предложить мне кое-что на пробу. Если я справлюсь с работой, то недостатка в заказах у меня не будет. А если нет, то тоже не беда — картина, которую он хочет предложить мне для реставрации, особого значения для него не имеет.

Как я понял, речь шла о вещи какого-то третьестепенного фламандского художника, которая была приобретена Крупенником из чистой филантропии у одного бывшего царского чиновника.

На следующий день Крупенник завез мне картину. Она была написана на дубовой доске, какие употреблялись для живописи во Фландрии (итальянцы обычно предпочитали доски из тополя), и покрыта потемневшим от времени лаком.

Когда мы промыли поверхность картины, то смогли

рассмотреть в деталях, что и как на ней изображено.

Сквозь паутинку растрескавшегося лака на нас смотрела богоматерь в алой, плотно облегающей тело широко-рукавной тунике и в накинутой на плечи синей мантии. На ее голове с распущенными каштановыми волосами был венок из хрупких, нежных лилий. На руках она держала голого младенца, который прижимал к груди такую же алую, как туника, розу. Обе фигуры были окружены пышными гирляндами роз, образующими над головой богоматери нечто вроде купола.

Даже поверхностное изучение картины свидетельствовало о том, что Крупенник смыслит в живописи значительно меньше, чем свинья в апельсине.

Какой там, к черту, третьестепенный художник!

Фигуры святой девы Марии и Иисуса Христа, судя по рисунку и теплomu, светлomu колориту, были написаны кем-то из учеников Рубенса, скорее всего Эразмусом Квеллинусом или Корнелиусом Схютом, которые позаимствовали у своего великого учителя не только приемы живописи, но и секрет красок. Как известно, существует предположение, что Рубенс примешивал к маслу смолы. Во всяком случае, для его картин и картин некоторых его учеников характерны неразрывность и нерасплывчатость линий, проведенных кистью, что свидетельствует о большой вязкости используемых красок, которые великолепно приставали к гладкому меловому грунту.

Итак, школа Рубенса.

Но главным было другое — розы и лилии. Когда Рубенсу нужны были на картине цветы, великий фламандец обращался за помощью к Брейгелю Бархатному или Даниэлю Сегерсу, с которыми он постоянно сотрудничал. То же позднее делали и его ученики.

Неужто Сегерс?

Я поднес доску к окну и вооружился лупой. Никаких сомнений — это был «первый цветовод» в живописи, несравненный Даниэль Сегерс, о цветах которого один мой приятель говорил, что от них исходит не только свет лучезарного таланта, но и дивное благоухание всемирного розария.

Розы в гирляндах казались только что срезанными садовником, на их тончайших лепестках ощущалась еще не просохшая влага утренней росы. Царицы цветов держали себя, как подобает истинным царицам: величественно, с прирожденной грацией, но без тупого высоко-

мерия, которое свойственно только таким выскочкам, как долговязые гладиолусы или самодовольные тюльпаны. И если у девы Марии было счастливое лицо, то только благодаря им, розам. Кому не лестно оказаться в их обществе? Что ж, они привыкли приносить счастье. Это для них так естественно. Разве может быть иначе?

Великолепная картина. Она явно стояла того, чтобы над ней основательно поработать.

За прошедшие годы доска сильно покособилась и пошла трещинками. Лак же пришел в полную негодность. Но сама живопись, насколько я понял, находилась в приличном состоянии: краски, которыми пользовались художники, отличались поразительной устойчивостью. Они не изменили своего цвета, не потускнели и не пожухли. Выдержал все превратности судьбы и тонкий меловой грунт, покрывавший доску.

Таким образом, предстоявшая работа особой сложностью не отличалась. С ней бы справился и начинающий реставратор.

Но, честно говоря, я все-таки волновался. И не только потому, что от результатов реставрации зависело будущее мастерской, а следовательно, и польза, которую мы сможем принести подпольщикам. Сегерс не мог не вызывать благоговения. Одна мысль, что случайная оплошность испортит доску, приводила меня в трепет.

Федор, конечно, об этом не догадывался: внешне я держался вполне уверенно, как опытный хирург перед пустяковой операцией.

Операция действительно была пустяковой. Но на «операционном столе» лежал не совсем обычный больной...

Залив клеем трещины в доске, мы поместили ее в тиски. После этого я тщательно обследовал ее поверхность. Мало ли что? Слава богу, никаких неожиданностей. Вот и чудесно. Можно приступать к следующему этапу — смачиванию обратной стороны теплой водой. Затем — пресс, вторичный осмотр и вторичный вздох облегчения: доска вела себя примерно, без фокусов. Все вытерпела умница-разумница.

Я был преисполнен нежности и к ней, и к плотнику, который сделал ее три века назад, и даже к дубу, который некогда украшал леса Фландрии. Никто из них меня не подвел. Ну что ж, голубушка, потерпи тогда еще. Теперь уже недолго.

Маленькая передышка, и мы вновь приступили к делу.



После паркетирования я занялся удалением лака. Штука, должен вам доложить, деликатная и весьма скрупулезная: чуть-чуть перестарался — и всё, живопись безвозвратно испорчена, уже ничего и ничем не исправишь.

Обычно реставраторы снимают старый лак ватным тампоном, смоченным в смеси спирта, скипидара и эфира, а потом протирают очищенную поверхность льняным маслом. Просто, удобно и... рискованно, потому что эта смесь растворяет не только лак, но и краски. Правда, опытный реставратор, который поднаторел в своем деле, всегда чувствует то самое мгновение, когда следует остановиться, — будто тебя кто за руку хватает: достаточно.

Но передо мной был сам Даниэль Сегерс. Поэтому, немного колебавшись, я прибег все-таки к иному способу, примитивному, старому, как мир, трудоемкому, но зато более надежному. Для него требовалось немного канифоли и очень много пота. То есть несколько дней подряд я осторожно стирал лак подушечками пальцев. Участок за участком, сантиметр за сантиметром. Хотя вместе с лаком я до крови стер собственную кожу, боли я не замечал, вернее, просто ее не чувствовал.

Короче говоря, поработали мы с Федором на славу. Никаких претензий Сегерс предъявить нам бы не смог. Мы к нему отнеслись внимательно, с должным пониманием и соответствующим почтением.

После снятия лака оставалось лишь промыть поверхность картины, протереть ее чесноком, освежить маслом с копаем и покрыть новым лаком.

Увидев свою доску после реставрации, Крупенник потерял дар речи. А когда я ему растолковал, кем написана картина, он молча полез за бумажником.

Сумма, которую я получил, оказалась настолько внушительной, что подпольный комитет не только приобрел шрифт для типографии, но и выплатил хозяину флигеля арендную плату за будущий месяц. «Бывший воин и меценат» пришел в такой неописуемый восторг, что больше трезвым его никто не видел.

Так я занял почетное место в группе «золотоискателей». Но подлинный триумф ожидал меня позднее, когда Крупенник в день ангела Май-Маевского преподнес генералу реставрированную нами доску.

Не думаю, чтобы Май-Маевский был ценителем живописи. Но положение, как говорится, обязывает. Командующий Добровольческой армией выразил свое восхи-

щение картиной. Цветы Сегерса напомнили генералу далекую юность и бал в Институте благородных девиц, куда он был приглашен вместе с другими юнкерами. По воспоминаниям генерала, в бальном зале тогда были точно такие же розы. Май-Маевский умилился и растрогался. А узнав, что картина реставрировалась, он помянул добрым словом реставратора. Этого оказалось более чем достаточно.

Теперь уже не я искал клиентов, а клиенты искали меня. Тогда-то я и получил возможность во всех деталях ознакомиться со знаменитым поясом Димитрия Донского...

Нет, нет, не гадайте! Все равно не угадаете. Пояс великого князя я увидел не в кабинете археолога и не в музее. Музея тогда в Харькове вообще не существовало: то, что большевики не успели вывезти при эвакуации города, было разграблено.

Должен сказать, что известность, которую я приобрел, имела не только светлые стороны, но и теневые. Когда человек на виду, к нему начинают присматриваться. А это не всегда приятно, особенно если имеешь какое-то отношение к подполью...

Между тем сразу же после того, как картина Сегерса была подарена Май-Маевскому, ко мне в мастерскую заглянул господин с остроконенной бородкой и в котелке. Он представился одесским негодьянцем, интересующимся предметами искусства. Но по его липким, ко всему приклеивающимся глазам легко было понять, что если он и причастен к искусству, то к искусству совсем иного рода...

«Филер», — сказал Федор после того как настырный господин покинул мастерскую.

А затем я стал встречать в нашем саду некоего человека в котелке и с усами. Он настолько полюбил сад, что гулял здесь даже под проливным дождем. Иногда его сменял другой, тоже, разумеется, в котелке, но без усов. Тут уж мне консультации моего подмастерья не потребовалось: и так все ясно.

Таким образом, мной интересуются и даже не пытаются это как-то завуалировать. Ну что ж...

По рассказам Санаева я знал, что это еще ни о чем не говорит. Сыскное отделение, которое располагалось в гостинице «Харьков» на Рыбной улице и фактически являлось филиалом контрразведки, старалось, по возможности, иметь исчерпывающие сведения о самом широком круге

лиц. Агенты отделения беззастенчиво перлюстрировали письма, нередко используя их для шантажа в своих личных целях, толклись на товарной и валютной биржах, где получали «сыскные» проценты от различных маклерских сделок, покрывали за соответствующую мзду уголовников и снабжали самыми разнообразными фактами контрразведку.

Сыскное отделение стремилось знать все и обо всех — авось когда и пригодится. Почему же не уделить некоторое внимание популярному реставратору картин, который недавно обосновался в городе и снимает флигель рядом со штабом Добровольческой армии? Глядишь, и наткнешься на что-нибудь любопытное. А там и взятку можно сорвать. Реставратор-то процветающий, небось деньги куры не клюют!

Обычная проверка. Тем не менее на душе у меня было тревожно, тем более, что я уже знал об аресте двух членов ревкома, выданных контрразведке каким-то провокатором.

Что и говорить, подвал в Киеве был не так уж плох. Немного сыроват, немного темноват, но зато надежен... Мысль постыдная, но избавиться от нее я никак не мог.

Как впоследствии выяснилось, улик против меня никаких не было. В контрразведке даже не предполагали, что я связан с подпольем. Искусствовед Василий Петрович Белов был вне подозрений. В его политической благонадежности не сомневались.

И все же наблюдение за домом не было случайным. Мною интересовались, и интересовались весьма активно. Об этом я узнал от Санаева и Ореста Григорьевича Ефимова, с которым имел беседу на одной из конспиративных квартир.

Вскоре после обстоятельного разговора с Ефимовым посыльный принес мне очень короткое и очень любезное письмо.

Некто по фамилии Друзкий сожалел, что не имеет возможности нанести мне визит, и выражал надежду увидеть меня у себя на квартире между семью и восемью часами вечера. Господин Друзкий хотел надеяться, что его просьба не слишком меня обременит и я не откажу ему в этой любезности. Он был мне заранее благодарен, и так далее.

В тот день мне не работалось. Хотя я и не имел чести

быть лично знакомым с автором письма, некоторое представление я о нем имел: начальника контрразведки полковника Друзкого в Харькове знали все...

\* \* \*

— Как вы легко можете догадаться, предстоящая встреча меня отнюдь не радовала, — усмехнулся Василий Петрович. — Совсем не радовала. Но выбора у меня не было.

Начальник контрразведки жил на Рымарской улице, недалеко от так называемого Коммерческого сада. Он занимал обширную квартиру на втором этаже особняка, принадлежавшего богатейшему сахарозаводчику Стеценко.

Внешне особняк особого впечатления не производил. Но уже лестница поражала своим великолепием: матовый, в виде чаши фонарь, зеленая широкая дорожка с медными спицами, чугунные, покрытые бронзой перила.

Открывшая дверь горничная провела меня в высокую длинную комнату, обшитую резными панелями из дуба и карельской березы. Судя по письменному столу с бюерами, сигарочницами и портфелями, это был кабинет.

Толстый ворсистый ковер, мягкая, спокойных тонов мебель... Все это свидетельствовало о том, что полковник любит комфорт и не лишен вкуса.

Друзкий долго себя ждать не заставил.

У начальника контрразведки было плоское бледное лицо, на котором выделялся большой, толстогубый рот. Крайне неприятное лицо.

— Надеюсь, мое приглашение не нарушило ваших планов на сегодняшний вечер?

Он был воплощением любезности. Пригласив меня сесть, спросил:

— Вы ничего не имеете против лампопо?

— Простите?..

— Холодное пиво, мед и лимон с ржаными сушками, — объяснил он. — Великолепно утоляет жажду. Когда-то его неплохо готовили в Купеческом клубе в Москве.

— В Купеческом клубе не бывал.

Толстые губы Друзкого растянулись в улыбке:

— Знаю, Василий Петрович. Я про вас все знаю. Знаю, что ваш батюшка был офицером гвардии. Знаю о ваших заслугах перед отечеством по части изящных

искусств, о ваших работах по ювелирному делу в Древней Руси...

Полковник с видимым удовольствием перечислял факты моей биографии. Он явно стремился поразить меня своим всезнанием.

Действительно, его агенты поработали неплохо. Но все же очень глубоко они, к счастью, не копали. Самое главное — мое сотрудничество с Советской властью, служба в Народном комиссариате художественно-исторических имуществ и командировка в Киев — Друцкому было неизвестно. И когда я это понял, ко мне вернулось холодно-кровие.

— Откуда вы все это знаете?

Друцкий сделал рукой неопределенный жест и пододвинул мне бокал с холодным напитком.

— Знать все — моя обязанность, — изрек он. — Но не буду кривить перед вами душой, милейший Василий Петрович: к вам у меня особый интерес...

Я поставил бокал на столик.

— Нет, нет, интерес не служебного порядка, — поспешно заверил он. — Было бы глупостью подозревать вас, искусствоведа, сына гвардейского офицера, в каких-либо симпатиях к красным.

— И тем не менее за мной было установлено наблюдение, — скорбно заметил я.

— Увы! Готов вам принести свои извинения. Надеюсь, наши сотрудники не доставили вам никаких хлопот? Меня бы это крайне огорчило.

Я уверил полковника, что для особого огорчения у него причин нет.

— Вот и прекрасно. Что же касается интереса к вам... Видите ли, Василий Петрович, я ведь не только офицер контрразведки, я еще и ценитель прекрасного, любитель русской старины...

Некоторое представление об этой слабости полковника я имел: Санаев говорил, что Друцкий присвоил добрую треть нумизматического собрания из музея Харьковского университета.

— Признайтесь, вас это, конечно, удивляет?

Я признался.

— Между тем ничего удивительного здесь нет. Веления разума и души не всегда согласуются друг с другом. Разум сделал меня офицером, а душа... Разве ей прикажешь? Душа по-прежнему тянется к прекрасному.

Из дальнейших разглагольствований полковника я уяснил, что слежка и тайный сбор сведений обо мне осуществлялись именно по велению его души, которая, несмотря на все препятствия, продолжает «тянуться к прекрасному».

Оказывается, Друцкий хотел проконсультироваться по поводу одного из произведений ювелирного искусства Древней Руси. Эта консультация для него очень важна. Поэтому, прежде чем ко мне обратиться, он вынужден был получить обо мне более полное представление не только как об ученом, но и как о человеке.

Конечно, способ, к которому он прибег, не совсем обычен, но и время, согласитесь, Василий Петрович, тоже не совсем обычное. Ведь мы со всех сторон окружены врагами или людьми, которые в любую минуту могут стать таковыми. А просьба, с которой он обращается, носит сугубо конфиденциальный характер. По целому ряду соображений полковник не желал бы, чтобы о ней знал кто-либо помимо меня. Он очень рассчитывает на мою скромность и надеется, что я не обману его ожиданий. Что же касается самого Друцкого, то я могу не сомневаться в его умении ценить оказанные ему услуги. Полковник не какой-нибудь парвеню Крупеник, который отнесся ко мне как к обычному реставратору. Он, Друцкий, щедр и великодушен. У него широкая русская душа и не менее широкие возможности по достоинству вознаградить меня. Таким образом, мое счастье — в моих собственных руках.

Мне оставалось лишь поблагодарить полковника за любезность, заверить его в своей скромности и спросить, чем я могу быть ему полезен.

Друцкий начал издаലെка.

— Мне, конечно, известно об исследованиях археолога-рисовальщика Федора Григорьевича Солнцева, который пришел к выводу, что шапка Мономаха и корона Астраханского царства изготовлены не в глубокой древности, а при первом царе из дома Романовых, Михаиле Федоровиче. Насколько достоверны выводы Солнцева?

Я сказал, что Солнцев достаточно серьезный исследователь, который всегда пользовался глубоким уважением в среде коллег, но тем не менее его выводы нельзя воспринимать как абсолютную истину. Не исключено, что в данном вопросе он ошибался. Во всяком случае, и при жизни Солнцева, и после его смерти утверждение,

будто шапка Мономаха и корона Астраханского царства изготовлены в начале XVII века, оспаривалось многими специалистами. В частности, директор Московской оружейной палаты Вельтман считал, что шапка Мономаха попала из Византии на Русь даже не при Владимире Мономахе, как гласит предание, а значительно раньше. По его мнению, она была прислана в 988 году византийскими императорами Василием II и Константином IX знаменитому киевскому князю Владимиру Святославовичу по случаю его крещения и женитьбы на их сестре, царевне Анне.

Конечно, аргументация Вельтмана во многом уязвима, однако шапка Мономаха действительно очень схожа с византийской короной на монетах Василия II и Константина IX. Это сходство бросается в глаза каждому.

Другие считают, что шапка Мономаха сделана греческими ювелирами в конце XIII— начале XIV века. Третьи относят ее к XV веку, основываясь на документальных сведениях о венчании этой шапкой в 1498 году внука Иоанна III — Дмитрия. Во всяком случае, мнение Солнцева разделяют немногие.

Друцкий слушал меня, не перебивая, но лицо у него было кислое. Видимо, он ожидал от меня более определенного и категоричного ответа.

— А ваша точка зрения, Василий Петрович?

— Основываясь на некоторых особенностях ювелирной техники, форме шапки, подбору драгоценных камней и документах, я бы лично отнес ее к тринадцатому веку или к началу четырнадцатого.

— Но разве, в таком случае, она и другие великокняжеские регалии могли бы сохраниться до наших дней?

— Вне всякого сомнения. «Большая казна», то есть наследственные сокровища великих князей — регалии Владимира Мономаха, венцы, золотые цепи, пояса, — всегда находилась под такой надежной охраной, что похитить что-либо было просто невозможно.

— Но, видимо, следует учитывать, что Москва неоднократно подвергалась разграблению. Нашествие Тохтамыша, захват города князем Юрием, Василием Косым, Дмитрием Шемякой... — перечислял Друцкий, проявляя неожиданную эрудицию. — Неужто вы считаете, что «большая казна» великих московских князей совсем не пострадала при всех этих передрягах?

Я сказал, что именно так и считаю.

— В распоряжении историков имеются достаточно убедительные документы — духовные грамоты великих московских князей. Отец Дмитрия Донского, великий князь Иоанн Иоаннович Кроткий, завещает своему сыну «икону, золотом ковану, Парамшина дела», «пояс великий золот с камнем в жемчуги», «коропку сердоничну, золотом ковану», золотую шапку, бармы и прочее. Те же самые вещи перечисляются в завещаниях Дмитрия Донского и его сына, великого московского князя Василия Дмитриевича.

Действительно, когда Москвой овладел в 1433 году князь Юрий, он захватил и «большую казну». Но в дальнейшем по договору с Василием Темным «казна» была возвращена. Позднее точно так же вынуждены были вернуть хозяину московскую казну и Василий Косой и Дмитрий Шемяка.

— Это предположение?

— Нет, факт. В духовной грамоте Василия Темного, составленной в 1462 году, мы находим уже знакомые нам по предыдущим завещаниям ценности. «А сына своего Ивана, — писал Василий Темный, — благословляю крест золот Парамшина дела, да шапка, да бармы, да сердонична коропка, да пояс золот большой с камнем...» Как видите, ни князю Юрию, ни его сыновьям ничего не удалось утаить. «Большая казна» в целостности и сохранности вернулась в Москву и перешла по наследству к Иоанну Третьему.

— А золотой пояс Дмитрия Донского в документах того времени упоминается? — спросил Друцкий безразличным голосом, до такой степени безразличным, что легко было догадаться, насколько его этот вопрос интересует.

— Нет, не упоминается. Но, безусловно, пояс, который княгиня Софья сорвала на свадьбе своего сына с Василием Косым, был возвращен в «большую казну» и находился там по крайней мере до 1605 года, то есть до восшествия на престол Лжедмитрия Первого...

Надо сказать, что самозванец довольно щедро раздавал драгоценности из сокровищницы русских царей. Он делал богатейшие подарки Марине Мнишек, ее отцу, сандомирскому воеводе, ее братьям и сестре Урсуле, жене князя Вишневецкого. В Сандомир и Краков отправлялись золотые вещи, алмазы и самоцветы. Кстати говоря, основываясь на этом, некий последователь Солнцева

высказывал предположение, что подлинная шапка Мономаха тоже оказалась в числе даров самозванца. Поэтому, дескать, царь Михаил и заказал греческим мастерам новую шапку, которая должна была заменить пропавшую. Но это предположение — чистый домysel. При всей своей расточительности Лжедмитрий никогда не покушался на царские регалии. Об этом свидетельствуют и списки подарков, отправленных в Польшу, и воспоминания очевидцев. Но пояс Димитрия Донского, кажется, стал исключением...

— Вы хотите сказать, что он был подарен кому-то из Мнишеков?

— Да. Насколько мне известно, один из основателей Киевского археологического общества «Нестор-летописец», Всеволод Михайлович Санаев, лет пятнадцать назад был представлен князем Любомирским потомку сандомирского воеводы и получил доступ к фамильному архиву Мнишеков...

— Разве род сандомирского воеводы не угас? — поразился Друцкий, который теперь слушал меня с неослабевающим вниманием.

— Не только не угас, но и процветает. Внук Юрия Мнишека, Юрий Ян Мнишек, был волынским воеводой, правнук Иосиф — великим маршалом Литовским. А в конце XVIII века Мнишеки в Австрии были возведены в графское достоинство. В России же их род, если не ошибаюсь, внесен в родословную книгу Волынской губернии.

— Вон как! — Полковник покачал головой. — Но извините, я вас перебил. Продолжайте, пожалуйста.

— Так вот, среди сохранившихся в фамильном архиве Мнишеков документов имеется описание русского княжеского пояса из золота со звонцами и бряцальцами, который был прислан Юрию Мнишеку в 1605 году из Москвы его зятем, царем Димитрием Иоанновичем. Пояс привез в Краков Афанасий Власьев. Передавая сандомирскому воеводе подарок, Власьев сказал, что этот пояс некогда принадлежал великому московскому князю, прославившемуся разгромом татарских полчищ. Таким образом, с большой долей достоверности можно предположить, что у Мнишеков действительно был пояс Димитрия Донского.

Граф Станислав Мнишек говорил Санаеву, что, по семейным преданиям, этот золотой пояс считался чем-то вроде реликвии, приносящей счастье в битвах. Поэтому, когда Адам Мнишек в 1649 году вместе с другими шлях-

тичами отправился на помощь польским войскам, осажденным в Збараже Богданом Хмельницким и крымским ханом Ислам-Гиреем, он взял с собой пояс. Но в битве под Зборовом, когда в плен к казакам чуть было не попал сам польский король, Адам Мнишек погиб. Труп его не нашли. Не нашли и золотого пояса, который будто бы потом видели у сына гетмана, Юрия Хмельницкого.

Граф Станислав Мнишек говорил также Санаеву, что его дед был знаком с потомком Богдана Хмельницкого, смоленским губернатором и известным русским писателем Николаем Ивановичем Хмельницким, который якобы подтвердил, что у Юрия Хмельницкого действительно был старинный золотой пояс. Что в дальнейшем произошло с этим поясом, Николай Иванович не знал. Может быть, Юрий Хмельницкий подарил его монастырю, в котором принял иночество, а возможно, пояс впоследствии перешел к кому-то из казаков.

— Архив Мнишеков сохранился? — спросил Друцкий.

— Думаю, что да.

— А где он теперь находится?

— Видимо, в Вене. Граф Станислав Мнишек в девятьсот четвертом году принял австро-венгерское подданство и вместе с семьей уехал из России.

Насколько я мог понять, то, что архив Мнишеков оказался в Вене, полковника никак не устраивало. Он был разочарован.

Допив бокал с напитком, который «некогда хорошо готовили в Московском купеческом клубе», он спросил:

— И больше никакими данными о дальнейшей судьбе золотого пояса, хранившегося в семействе Мнишеков, вы не располагаете?

Я замялся.

— Можно сказать, что нет.

Друцкий пристально посмотрел мне в глаза, и я впервые представил его себе на допросах в контрразведке.

— А можно сказать, что «да»? — резко спросил он.

— Я не подследственный, господин полковник.

Друцкий усмехнулся:

— Извините. Служба не может не наложить свой отпечаток. Но вы слишком болезненно реагируете на случайные оттенки тона. Я не хотел вас обидеть. Однако меня интересует все, что имеет отношение к поясу Димитрия Донского.

— Видите ли, — сказал я, — письмо, с которым меня

познакомили в начале 1917 года в «Обществе любителей древне-русского искусства», я не могу считать серьезным источником достоверных сведений. Не исключено даже, что это простая мистификация. К сожалению, моя попытка встретиться с автором письма успехом не увенчалась. Когда я летом того же года навестил его — это был помещик из Полтавской губернии, то оказалось, что его имение разграблено крестьянами, а сам он куда-то уехал, то ли в Екатеринослав, то ли в Житомир. Поэтому я и не считал себя вправе ссылаться на этот крайне сомнительный документ.

— Понимаю вас,— мягко сказал Друцкий.

— И тем не менее вы все-таки хотите, чтобы я ознакомил вас с содержанием этого письма?

— Совершенно верно.

— Ну что ж... Вам, конечно, известна история гетмана Мазепы?

— Только в пределах программы кадетского корпуса,— не без юмора уточнил Друцкий.— Поэтому я ничего не буду иметь против, если вы углубите мои познания.

— Гетман Мазепа был любимцем Петра Первого,— сказал я.— Обычно скуповатый, когда дело касалось государственной казны (подарки Петра «другу сердешенькому Катеринушке», когда он был за границей, чаще всего ограничивались присылкой птиц, цветов, «редьки да бутылки венгерского»), царь проявлял по отношению к Мазепе поразительную щедрость. Он одаривал его кафтаном на соболях с алмазными запонами, саблями в драгоценных оправах и тысячами крепостных крестьян. Не менее удивительна и забота Петра о Мазепе. Во время посещения Мазепой Москвы вдоль дороги стояли специально приготовленные для него триста пятьдесят подвод, а стряпчему строго-настрога наказывалось, «чтобы гетман и всех чинов люди, имеющие с ним приехать, были во всяком довольствии и челобитья о том великому государю не было».

Когда Мазепа болел или притворялся больным (гетман был великим притворщиком), Петр отправлял в Батурина своих личных врачей. Гетман одним из первых в России был награжден орденом Андрея Первозванного.

Царь во всем доверял гетману, и можно себе представить, каким было для него ударом известие об измене любимца.

12 ноября на площади в Глухове в присутствии Петра I

было выставлено чучело с гетманской булавой и лентой ордена Андрея Первозванного. Мазепу предали вечному проклятию. Чучело же бросили палачу, который на веревке тащил его до места казни, где оно и было повешено.

Казну Мазепы, одного из богатейших людей того времени, захваченную Меншиковым и Голицыным в Батуристине, Белой Церкви и Печерском монастыре, конфисковали. Однако Петр подозревал, а возможно, располагал какими-то сведениями, что наиболее ценные вещи изменник успел надежно спрятать. Поэтому он обратился к населению с призывом продолжать розыски сокровищ бывшего гетмана, обещая доносителям половину найденного. Но, кажется, больше ничего обнаружить не удалось, хотя и тогда, и позднее ходили слухи о кладе, который якобы зарыт где-то в Лохвице.

Между тем после Полтавской битвы Мазепе вместе со шведским королем удалось бежать в Турцию. Турецкий султан отказался выдать беглецов, хотя Петр I и предлагал триста тысяч ефимков — сумма неимоверная! — ближайшим его сановникам за голову бывшего гетмана.

В 1709 году Мазепа скончался (говорили, что отравился) близ Бендер и был похоронен в присутствии Карла XII в монастыре на берегу Дуная. В дальнейшем его прах перевезли в Яссы.

Таким образом, Мазепе удалось избежать возмездия за свое предательство. Меньше повезло его племяннику и соучастнику Андрею Войнаровскому, которому много лет спустя декабрист Рылеев посвятит свою поэму «Войнаровский». После Полтавской битвы Войнаровский бежал в Германию и поселился в Гамбурге. По требованию русского правительства он был выдан России и сослан в Якутск, где умер в 1740 году. По утверждению автора письма...

— Кстати, как его фамилия? — спросил Друцкий.

— Кисленко.

— Продолжайте, пожалуйста,— кивнул Друцкий.

— Так вот, по сообщению господина Кисленко, который не потруился сослаться на какие-нибудь документы, перед смертью Войнаровский сообщил на исповеди священнику, что Мазепа зарыл свои сокровища недалеко от села Бодаквы нынешнего Лохвицкого уезда Полтавской губернии, в сосновом бору на левом берегу реки Сулы.

Тайна исповеди недолго оставалась тайной. Хотя Войнаровский точно не указал — и, видимо, не мог ука-

зять,— в каком именно месте находится клад, Бодакву в середине XVIII века неоднократно посещали любители легкой наживы. Не избежал соблазна и младший брат знаменитого фаворита императрицы Елизаветы Петровны Алексея Григорьевича Разумовского, Кирилл Григорьевич Разумовский, в 1746 году назначенный «в рассуждение усмотренной в нем особой способности и приобретенного в науках искусства» президентом Императорской Академии наук.

Президенту академии, который еще недавно пас отцовский скот, было тогда всего восемнадцать лет, возраст, самой природой предназначенный для различных приключений. Разумовский очень горячо взялся за дело. На первых порах он преуспел. Ему даже удалось якобы найти у кого-то из потомков бежавших вместе с Мазепой в Турцию казаков перечень зарытых сокровищ. И в нем среди других вещей будто бы упоминались легендарная булава с бриллиантами гетмана Сагайдачного и золотой пояс Димитрия Донского.

Однако экспедиция, посланная восемнадцатилетним президентом Императорской Академии наук, потерпела фиаско: ничего обнаружить не удалось. А в 1750 году Разумовский стал гетманом Малороссии и потерял всякий интерес к мазепинским сокровищам.

Были и другие безуспешные попытки разыскать клад.

А в 1915 году, как утверждал господин Кисленко в своем письме, кладом заинтересовался сын владельца кожевенного завода в Глинске Филипп Луигер, студент Дерптского университета. По просьбе отца Луигера Кисленко дал разрешение на раскопки (сосновый бор, где следовало искать клад, принадлежал Кисленко).

Поиски продолжались несколько месяцев, а затем Луигер-младший прекратил их, сказав помещику, что отчаялся что-либо найти.

А некоторое время спустя кто-то из крестьян сообщил, что видел собственными глазами, как Филипп Луигер извлекал какие-то металлические предметы из ямы, вырытой на опушке леса. Поэтому Кисленко пригрозил Луигерам, что, если они не поделятся с ним кладом, он вынужден будет сообщить обо всем в полицию. Это произвело соответствующее впечатление. Луигер-старший признался, что его сын действительно нашел некоторые вещи, зарытые Мазепой.

По сообщению автора письма Филипп Луигер отыскал

ларец с алмазами и самоцветами, несколько сабель и пистолетов в золотой оправе, ожерелья, перстни, браслеты, золотой пояс, две булавы и около тысячи золотых монет.

После переговоров, которые длились чуть ли не полгода, Луигеры наконец выделили автору письма его долю. Так якобы Кисленко стал владельцем золотого пояса Димитрия Донского. Описания пояса Кисленко не прислал, а о фотографиях и говорить нечего.

— Когда вы ездили на Полтавщину, вы встречались с Луигерами?

— Я беседовал с Луигером-старшим, Филиппа не было, и разговор с ним подтвердил мои самые худшие опасения.

— Вон как!

— Да. Луигер сказал, что никогда ни он, ни его сын не занимались розысками клада Мазепы, что кладоискательство, с его точки зрения, вообще занятие пустое. Что же касается Кисленки, то господин Луигер отозвался о нем как о человеке с весьма пылким воображением. «Мне бы не хотелось употреблять слово «лгун»,— сказал он.— Но, к сожалению, иного слова я подыскать не могу. Впрочем, господин Кисленко, в общем-то, относится к категории безобидных лгунов, хотя его письмо и отняло у вас время и заставило потратиться на дорогу... А сокровищами Мазепы он действительно интересовался. Но, насколько мне известно, никаких практических шагов к их розыску не предпринимал».

Таков результат моей поездки, господин Друцкий... Как видите, я не без оснований не хотел говорить о письме Кисленки, которое только могло бы ввести вас в заблуждение. Оно ничего не стоит, господин Друцкий!

— Не смею спорить,— согласился полковник.— Действительно, письмо Кисленки ничего не стоит. Но меня интересует другое,— он сделал эффектную паузу,— сколько стоит пояс Димитрия Донского, который принадлежит господину Кисленко?

Друцкий нарочито медлительным движением достал из белого портфеля пачку фотографий и рисунков великокняжеского пояса с изображением на двух передних бляхах Димитрия Солунского и торжественного въезда во Владимир великого князя Всеволода Юрьевича с иконой воинственного святого.— Удивлены? — Полковник был доволен.— Пока, уважаемый Василий Петрович, ознакомьтесь с этим,— сказал он,— а затем... Ежели ваше предварительное мнение будет благоприятным, то через



несколько дней я вам предоставлю возможность освидетельствовать этот пояс в натуре. Не возражаете?.. Что же вы молчите?

— Значит, Кисленко написал правду? Действительно сокровища Мазепы найдены Филиппом Луингером?

Друцкий усмехнулся:

— Вы были совершенно правы, Василий Петрович, напомнив мне, что вы не подследственный и мы с вами беседуем не в контрразведке, а на моей квартире. Но при всем при том давайте договоримся на будущее: вопросы все-таки буду задавать только я. Таков уговор. Ваша обязанность — экспертиза и молчание. Моя — вознаградить вас за то и другое. Искренне надеюсь, что больше напоминать мне об этом не придется.

Разбросанные веером по столу фотографии и рисунки притягивали меня, как магнит.

— Хотите еще лампопо? А впрочем, не смею больше отвлекать вас. Ведь вы, насколько я понимаю, теперь уже находитесь в другой эпохе и в другом, более изысканном обществе, не правда ли?

Друцкий встал, посмотрел через мое плечо на фотографии и бесшумно вышел, притворив за собой дверь.

Сразу же после его ухода комната заполнилась тенями одетого в кольчугу великого московского князя Дмитрия Донского, его незадачливого внука Василия Темного, которому выкололи глаза в его собственном стольном городе, Дмитрия Шемяки и Василия Косого.

Были здесь и мать Василия Темного княгиня Софья, положившая начало распри между князьями, и обманувший доверие Дмитрия Донского тысяцкий Вельяминов, главный распорядитель на великокняжеской свадьбе.

Судя по благодушному лицу тысяцкого, совесть его не мучила. Не для себя он взял золотой пояс, для сына. Чего, дескать, ради детей не сделаешь! А Дмитрий Иоаннович, чай, не обеднял. Велика княжеская казна. И золото в ней, и серебро, и зерна гурмыжские, и камни многоцветные...

Беззвучно молился за победу русского воинства над басурманами святой Сергей Радонежский, который только что благословил Дмитрия Донского на битву с Мамаем и послал в его дружину двух своих иноков — Пересвета и Ослябю.

А вон и сам воин-монах Пересвет, павший на Куликовом поле в единоборстве с татарским богатырем Челибеем.

Лжедмитрий, Марина Мнишек, Юрий Хмельницкий, пан сандомирский воевода...

А в дальнем углу комнаты, не обращая ни на кого внимания, сидел за столом седоусый Мазепа. Гетман читал посланный на него Кочубеем донос царю. Кочубей хотел вернуть свою дочь. «Прельщая своими рукописными грамотками дочь мою,— писал он царю,— не престанно к своему зломыслию посылая ей дары различные... и сотвори делом и обаянием, еже дщери моей возбесится и бегати, на отца и мать плевати...»

\* \* \*

Сам «пояс золот» Василий Петрович получил возможность осмотреть неделю спустя, когда вновь был приглашен на квартиру к полковнику Друцкому.

— Это было 26 ноября 1919 года,— рассказывал он.— Дату я помню точно, потому что накануне произошло радостное для всех нас событие: из тюрьмы, где их ожидала неминуемая смерть, бежали двое наших товарищей, членов подпольного ревкома, которые были арестованы на явочной квартире в первых числах октября.

Времени на осмотр пояса и его экспертизу мне уделили немного.

У Друцкого не было никаких оснований сомневаться в подлинности пояса. Кроме того, полковник сильно нервничал и торопил меня. Нервозность его была понятна. В Харькове уже все знали, что Красная Армия перешла в наступление по всему фронту. Открыто говорили о разгроме белых под Орлом и Воронежем, об уничтожении многотысячных корпусов Шкуро и Мамонтова конницей Буденного.

Деникинщина приближалась к своему бесславному концу.

Белогвардейцы поспешно готовились к эвакуации. Из Харькова вывозили все ценное. Деникинские офицеры, уже не рассчитывая на победу, старались по возможности обеспечить свое будущее в эмиграции.

Квартира Друцкого была загромождена ящиками. Пожилой денщик полковника упаковывал картины и антикварные изделия. Он выполнял веление души Друцкого, которая, как мне уже было известно со слов полковника, «всегда тянулась к прекрасному».

Ящиков было много. Полковник неплохо поживился...

— В вашем распоряжении полчаса,— предупредил меня Друцкий.— Надеюсь, вам этого хватит и для осмотра и для письменного заключения.

Я уже был подготовлен к тому, что увижу. И все-таки это чудо русского ювелирного искусства меня поразило. К прекрасному нельзя привыкнуть. Оно всегда поражает.

Русские златокузнецы были мастерами орнамента и знатоками игры светотени. Они тонко чувствовали красоту сочетания цветов и красок. Это сразу же бросалось в глаза при взгляде на пояс.

Древние ювелиры понимали, что драгоценные камни на княжеском поясе или рукояти меча должны не только свидетельствовать о богатстве владельца, но и радовать глаз. А это достигается не только качеством самоцветов. Один камень, например, лучше смотрится на золоте, другой — на серебре, третий — на черни. Темный рубин очень красив в окружении мелких светлых рубинов, но проигрывает в близком соседстве опалов. Для бесцветных алмазов желателен темный фон и так далее.

Совсем не просто и вставить камни в оправу. Это тоже творчество, требующее тонкого вкуса, выдумки и профессиональных навыков. И золотой пояс, который я разглядел 26 ноября 1919 года, был не только произведением искусства, но и своеобразной поэмой, посвященной ювелирной технике своего времени.

Вам не приходилось видеть княжеские бармы, найденные в 1822 году в Старой Рязани? Они состоят из одиннадцати золотых подвесок, которые украшены по краям драгоценными камнями и мелким жемчугом, нанизанным на золотую проволоку. Покрытые изящной филигранью и зернью бармы создают причудливую игру светотени. Самоцветы вставлены в гнезда, которые слегка приподняты над кружевом филиграни, поэтому свет к камням проникает не только сверху, но и снизу. Камни светятся как бы изнутри. Их разнообразные чистые краски дополняют друг друга, создавая великолепную гамму цветов. Камни высвечивают золотой узор филиграни, подчеркивая изящество тончайшего металлического кружева с паутинкой пересекающихся в плавном повороте линий. Точно такой же прием был использован в украшении пояса.

Обязательно посмотрите эти бармы — только тогда вы получите некоторое представление о том, как выглядел пояс Димитрия Донского.

Не менее интересен был и подбор самоцветов.

Некогда, как известно, существовала довольно сложная символика драгоценных камней. Златокузнец обязательно должен был знать, что яспис, например, символизирует мужество и скромность, агат — долголетие и здоровье, хризопраз — успех. Карбункулы наделяли своего владельца даром предвидения, сердолик предохранял от козней врагов, а гиацинт «обвеселял» сердце и отгонял «неподобные» мысли. Но самым важным для воина камнем — а воином был каждый князь — считался алмаз. Его следовало носить «во оружиях», и тогда воин «бывает спасен от всех супостатов своих и сохранен бывает от всякой свары и от нахождения духов нечистых». Немногим в этом отношении уступал алмазу и аметист («Воинских людей от их недругов оберегает и ко одолению приводит. Аще к ловлению зверей диких и птиц добре есть помощен»).

Мастер, сделавший пояс, учел и символику, и все «волшебные» свойства драгоценных камней.

Вставленные в узорчатые наугольники и овальные пластинки пояса самоцветы оповещали всех, друзей и врагов, что князь мужествен и скромен, что он обладает даром предвидения и государственной мудрости, что он весел и щедр, удачлив в битвах и на охоте, что успех ему сопутствует во всем и всегда.

Камни являлись одновременно украшением, характеристикой и пожеланиями. Владелец пояса просто обязан был прославить свое имя, надежно охраняя и расширяя пределы княжества.

Герой битвы на Куликовом поле, победитель грозного и могущественного Мамая был достоин такого пояса, чего нельзя, разумеется, сказать о тысяцком Вельяминове, боярине Всеволожском, Димитрии Шемяке или Василии Косом.

Но вины мастера в дальнейшей судьбе сделанного им пояса не было никакой. Его бы не смог обвинить даже Димитрий Шемяка со своим «Шемякиным судом». Златокузнец, не оставивший последующим поколениям ни своего имени, ни прозвища, великолепно умел гравировать и чеканить, в совершенстве знал финифтяное и сканное дело, хорошо разбирался в символике и «волшебных» свойствах драгоценных камней, но даром предвидения не обладал. И у него не было денег, чтобы восполнить этот пробел и купить чудодейственный карбункул, наделяющий своего хозяина столь необходимым в жизни качеством.

Какой уж там карбункул! Не дали бы лишь бог да князь с голоду помереть!

И я представил себе зарывшуюся по пояс в землю мазанку со стенами, сплетенными из ивовых прутьев, лежанки-скамьи из земли, дымящуюся глинобитную печь, маленький горн и склонившееся над золотым поясом богородатое лицо златокузнеца-волшебника, который считал себя обычным ремесленником, точно таким же, как работающие по соседству кузнецы, ткачи и стеклодувы.

Мои размышления прервал Друцкий:

— Итак, ваше мнение, Василий Петрович?

— Вещь, которой может гордиться любой музей мира.

Иного ответа полковник не ждал.

— Но вы еще не написали своего заключения,— напомнил он.

— Это у меня займет несколько минут.

— Надеюсь, надеюсь...

Полковник торопился. Он настолько спешил, что даже забыл о моем гонораре. Но я в претензии не был. К тому времени гонорар меня не слишком интересовал: группа «золотоискателей» харьковской подпольной организации большевиков уже свертывала свою работу. День-другой — и денкинские части оставят город. Ждать не долго, совсем не долго. Скатертью вам дорога, «рыцари белой идеи»!

11 декабря 1919 года мы все, словно музыку, слушали гул нарастающей канонады. Она возвещала о приходе Красной Армии.

А вечером того же дня несколько всадников, спустившись с Холодной горы, проскакали по Екатеринославской улице, свернули на Павловскую площадь и направились к центру города. На шапках всадников алели пятиконечные звезды.

Это были конные разведчики начдива Юрия Сабина...

...Через неделю после освобождения Харькова я выехал в Киев. Ивлева я там не застал, но меня заверили, что Рембрандт благополучно пережил свое заточение и по распоряжению Народного комиссариата художественно-исторических имуществ РСФСР передан соответствующей комиссии Украины. «Варварские условия существования», как выразился в свое время Санаев, на сем «избалованном господине» не сказались. Не принесло ему вреда и близкое соседство с соленьями. Рембрандт все вытерпел.

Он понимал, что гражданская война — это гражданская война и тут уж ничего не поделаешь.

Новый, 1920 год я встречал в Москве. Голодной, холодной, но, как всегда, милой моему сердцу, хотя я и считаю себя петербуржцем.

\* \* \*

Рассказ Василия Петровича вызывал много вопросов.

Каким образом пояс Димитрия Донского оказался у начальника харьковской контрразведки?

Был он куплен Друцким у Кисленко или еще у кого-нибудь?

Куда девались остальные сокровища Мазепы, найденные студентом Дерптского университета Филиппом Луигером?

Где и у кого булава гетмана Сагайдачного и оправленные в золото сабли?

Занимался ли кто-нибудь розысками всех этих уникальных вещей после окончания гражданской войны?

Известно ли что-либо о дальнейшей судьбе увезенного из Харькова в 1919 году пояса?

Десятки вопросов.

— А вы не интересовались, как к Друцкому попал этот пояс? — спросил я, убедившись, что Василий Петрович считает свое повествование законченным.

— Нет, не интересовался.

— Но почему?

— Потому что в этом не было никакой необходимости. О том, что пояс окажется у Друцкого, я знал еще до того, как полковник пригласил меня к себе на квартиру. И рисунки и фотографии пояса неожиданностью для меня не были, хотя я и увидел их тогда впервые,— сказал Василий Петрович.

— Не понимаю.

— Видите ли, при харьковской подпольной большевистской организации, помимо группы «золотоискателей», был также создан нелегальный Красный Крест. Товарищи из Красного Креста через некоторых сочувствующих Советской власти надзирателей наладили связь с тюрьмой, организовали систематическую передачу продуктов политическим заключенным, помогали их семьям. Мало того, нашему Красному Кресту удалось даже устано-

вить контакт с неким сотрудником контрразведки, который за соответствующую мзду освободил нескольких арестованных.

Но когда были схвачены двое членов подпольного ревкома, выкупить их не удалось. Ими занимался сам Друцкий. Вот тогда-то на заседании ревкома и было решено попытаться через третьих лиц прощупать начальника контрразведки. Оказалось, что с полковником можно договориться: его душа «тянулась к прекрасному», особенно к произведениям ювелирного искусства Древней Руси. Тогда-то у Санаева и возникла мысль о поясе Димитрия Донского.

Через тех же третьих лиц полковнику были переданы копия документа из фамильного архива Мнишеков, в котором имелось описание пояса, письмо в «Общество любителей древнерусского искусства», рисунки и фотографии.

В качестве эксперта полковнику рекомендовали Санаева. Друцкий и воспользовался его услугами, но затем решил перестраховаться и дополнительно пригласил меня.

Так золотой пояс Димитрия Донского, поссоривший некогда князей, в 1919 году спас жизнь двум очень хорошим людям.

— Но когда и как вам удалось разыскать этого помещика, у которого находился найденный Филиппом Луигером пояс?

— А мы его не разыскивали. Его при всем нашем желании разыскать было невозможно.

— Почему?

— Хотя бы потому, что его никогда не существовало в природе.

— Так же как и Луигеров, которые нашли клад Мазепы? — спросил я, начиная что-то понимать.

— Так же как и Луигеров, — подтвердил Василий Петрович. — Все это в соавторстве со мной было придумано Санаевым.

— А как же письмо Кисленко и документ из архива Мнишеков?

— У подпольного комитета, помимо всего прочего, имелось великолепное паспортное бюро, — рассмеялся он. — Работавшие в нем товарищи умели делать и более сложные документы.

— Понятно. Следовательно, не было никлада Мазепы, ни Луигеров, ни писем, ни пояса...

— Нет, пояс все-таки был, — возразил Василий Пет-

рович. — Великолепный княжеский пояс со звонцами и бряцальцами.

— Золотой?

— Да.

— Тот самый, из-за которого началась княжеская междоусобица?

— Да.

— Каким же образом он у вас оказался?

— Самым простым. Его любезно предоставил все тот же Санаев.

— Но он-то где его отыскал?

— Он его не отыскивал.

— То есть?

— Он его изготовил. Золотой пояс Димитрия Донского был сделан в мастерской Санаева в 1914 году, когда Всеволод Михайлович готовил выставку украшений великокняжеских одежд в Древней Руси.

Я ожидал чего угодно, но только не этого.

Наступило тягостное молчание, которое прервал Василий Петрович:

— Вы, конечно, считаете, что я вас разыграл. Но это не так. Я ведь действительно держал в своих руках подлинный пояс Димитрия Донского...

— ...сделанный в 1914 году Санаевым, — иронически закончил я.

— Ну и что из того? — пожал плечами Василий Петрович. — Правда, в этом поясе было значительно меньше золота, а роль драгоценных камней выполняли стекла. Но по красоте и изяществу он ни в чем не уступал своему знаменитому предшественнику. Если бы тогда в кабинете Друцкого оказались Димитрий Донской, Василий Темный и тысяцкий Вельяминов, они бы все, не задумываясь, поставили вслед за мной свои подписи под заключением о подлинности пояса.

— И ошиблись бы.

— Нет, не ошиблись. Всеволод Михайлович был блестящим мастером и в совершенстве знал все особенности древнерусского ювелирного искусства. При изготовлении пояса, я уверен, он не допустил ни одной погрешности. Так же как суздальский златокузнец, он сотворил подлинное чудо. Как хотите, но на этот счет у меня не было и нет ни малейших сомнений.



## ПОРТРЕТ

В личном архиве Василия Петровича Белова среди многочисленных папок, тетрадей и конвертов хранилась совсем не примечательная желтая папка с надписью на обложке: «Петроград. 1922 год. Портрет С. Л. Бухвостова». В папке — старая, на толстом картоне фотография, где Василий Петрович снят в группе сотрудников Петро-

градского губернского уголовного розыска, циркуляр народного комиссара юстиции РСФСР Курского и протокол общего собрания оперативных работников 3-й бригады Петрогуброзыска с участием преподавателей школы «Учебный кадр».

Оба эти документа стоят того, чтобы их привести здесь полностью.

### Циркуляр Наркомюста РСФСР № 14<sup>1</sup>

Руководствуясь постановлением IX Всероссийского съезда Советов о необходимости напряжения всех сил в борьбе с голодом, охватившим целый ряд губерний и областей РСФСР, и директивами Президиума ВЦИК, Народный Комиссариат Юстиции предлагает всем судебным органам РСФСР (нарсудам и ревтрибуналам) при вынесении обвинительных приговоров в отношении обвиняемых, обладающих достаточными имущественными средствами, присуждать последних наряду с другими наказаниями, а также взамен более легких наказаний (например, общественного порицания) к уплате определенного штрафа в пользу голодающих. Штраф может взыскиваться не только в виде денежных сумм, но также в виде продуктов продовольствия, не принадлежащих к числу скоропортящихся.

Народные суды и трибуналы, вынесшие приговоры о наложении штрафа в пользу голодающих, должны с особой тщательностью следить за точным и срочным выполнением этих приговоров.

Все деньги и предметы питания, собранные в уплату указанных штрафов, должны в срочном порядке сдаваться в распоряжение губкомиссий помощи голодающим, причем губотюсты<sup>2</sup> должны выработать по соглашению с Комиссиями Помгол<sup>3</sup> точный порядок этой сдачи.

Руководство и наблюдение за проведением в жизнь изложенных мероприятий возлагается на отделы юстиции, которые должны сообщать НКЮ в своих очередных отчетах подробные сведения о предпринятых в этом направлении мерах и достигнутых результатах.

Народный комиссар юстиции *Курский*.

<sup>1</sup> Еженедельник «Советская юстиция» № 8 от 23/II 1922 года.

<sup>2</sup> Губотюсты — губернские отделы юстиции.

<sup>3</sup> Комиссии Помгол — комиссии помощи голодающим.

Протокол общего собрания оперативных сотрудников 3-й бригады  
Петрогуброзыска с участием преподавателей «Учебного кадра».

Присутствовало 58 человек. Отсутствовало — 19. Из них по уважительным причинам — 19 (17 — на заданиях, 2 — в результате ранений, полученных в схватках с уголовным элементом, находятся на излечении в больнице).

Слушали:

1. Доклад заместителя начальника Петрогуброзыска тов. Ефимова О. Г. о роли судебных органов и Красной милиции в борьбе с голодом в Поволжье (Циркуляр Наркомюста РСФСР № 14 и др. циркуляры по данному первостепенной важности вопросу).

2. Сообщение директора музея и постоянной выставки «Общества поощрения художеств и популяризации художественных знаний при Российской Академии материальной культуры» профессора истории изящных искусств тов. Белова В. П. о похищении шедевра русского крепостного творчества первой половины XVIII столетия, вышитого шелком на льняном полотне портрета исторической личности времен прогрессивного для вышеуказанной эпохи царя Петра I — С. Л. Бухвостова, а также лекцию тов. Белова по истории художественной вышивки шерстью, шелком, серебром и золотом.

Постановили:

1. Заверить наших голодающих братьев-крестьян в Поволжье, что мы не забыли и никогда не забудем той помощи, которую они оказали голодающему пролетариату Петрограда в годы гражданской войны, и стоицей отплатим за нее.

2. Учитывая, что борьба с преступным элементом в свете циркуляра № 14 Наркомюста тов. Курского стала не только борьбой за социалистическую законность и безопасную жизнь трудового Петрограда, но и борьбой с голодом в Поволжье, пролетарские специалисты по борьбе с преступностью из 3-й бригады Петрогуброзыска и «Учебного кадра» к годовщине Рабоче-крестьянской милиции обязуются:

а) Не жалея своих сил и крови, добиться задержания главарей и рядовых членов шаяк Чугуна, Жорки Черненко, Эмиля Карро, Пана, Ваньки Гатчинского, Володьки Гужбана, князя Татиева, Федьки Каланчи и Ваньки Тряпичника, что даст возможность судам спасти от голодной смерти сотни, а может быть, и тысячи наших

братьев в Поволжье и значительно снизит уровень преступности в красном Петрограде.

б) В качестве своего первоочередного вклада в дело борьбы с голодом и преступностью оперативные сотрудники 3-й бригады Петрогуброзыска обязуются выявить, задержать и передать суду похитителей шедевра русского крепостного народного творчества — шелкового портрета С. Л. Бухвостова.

3. Заверить красного профессора истории изящных искусств тов. Белова В. П., что в самое ближайшее время портрет С. Л. Бухвостова, который, как явствует из прочитанной им лекции, является ценным для пролетариата произведением дореволюционного рабоче-крестьянского искусства, займет положенное ему место в музее «Общества поощрения художеств и популяризации художественных знаний при Российской Академии материальной культуры», где будет вдохновлять раскрепощенный народ на Всемирную революцию.

\* \* \*

— А теперь покинем с вами на время Петроград первых послереволюционных лет и посетим Петровскую Русь, где поближе познакомимся с фигурирующей в протоколе «исторической личностью времен прогрессивного для вышеуказанной эпохи царя» — Сергеем Леонтьевичем Бухвостовым и его портретом, — сказал Василий Петрович, когда я снял копии с этих не совсем обычных документов. — К сожалению, история не всегда справедлива: порой она окружает ореолом славы недостойных и оставляет в тени тех, кто заслуживает доброй памяти потомков. Впрочем, может быть, тут не столько вина истории, сколько наша собственная: мы иногда забываем про мудрую пословицу — не все золото, что блестит.

Говоря о соратниках Петра Великого, «птенцах гнезда Петрова», обязательно называют имена Александра Даниловича Меншикова, «дебошана французского» Франца Лефорта, князя-кесаря Ромодановского, фельдмаршала Шереметева, генерал-адмирала Апраксина... Ничего не скажешь, заслужили. Но зачем же забывать о других «птенцах», не титулованных? Попробуйте, допустим, упомянуть об Андрее Нартове, и, скорей всего, ваш собеседник недоуменно спросит: «Кто это?» А ведь следовало

бы знать, что Нартов мастер токарного искусства, токарь Петра I, своего рода праотец русских умельцев. Следовало бы знать, что, посланный для совершенствования за границу, он вернулся оттуда с письмом к царю от президента Парижской академии Биньона. «Мы видели недавно три медали его работы...— писал Биньон о Нартове.— Невозможно ничего видеть дивнейшего! Чистота, исправность и subtilность находятся в них, а металл не лучше выделан выходит из-под штемпеля, якоже он выходит из токарного станка господина Нартова. Он благоволил меня участником учинить в своем секрете и позволил, чтоб я видел сам, как он работает. Усумляло меня, правду сказать, дивное досужество, с которым он изображает одним разом лучка черты или характеры, которые обыкновенными грабштихелями или рыльцами трудно вырезать так хорошо, хотя ими водят гораздо тише. Вы разумеете, государь, лучше других всю хитрость онаго художника...»

Мало кто помнит о Федоре Поликарпове, под руководством которого увидели свет первые русские книги, напечатанные не церковнославянским или греческим, а русским, так называемым «гражданским шрифтом».

Полузабыта и фамилия Сергея Леонтьевича Бухвостова, хотя в 1922 году Петровские улицы в Москве были переименованы в Первую, Вторую и Третью Бухвостовы. Между тем, если Нартов предтеча русских умельцев-мастеровых, то Бухвостов праотец солдат русской регулярной армии, созданной Петром I. Да, тех самых солдат («Солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом называется и первейший генерал, и последний рядовой»), которые прославили русское оружие под Полтавой, тех, кого водил от победы к победе Александр Васильевич Суворов, солдат, разгромивших армию Наполеона Бонапарта и покрывших себя славой в годы Великой Отечественной войны.

Петр Великий не зря назвал Бухвостова первым российским солдатом.

Когда будущий преобразователь России стал во главе потешного Петрова полка, первым к одиннадцатилетнему полковнику явился с просьбой записать его в солдаты именно Сергей Бухвостов, широкоплечий, рослый и мускулистый парень, будто самой природой созданный для тягот ратного дела.

Так началась нелегкая воинская служба Сергея Леонтьевича. Вместе с «господином бомбардиром Петром

Алексеевым» Бухвостов участвовал во всех потешных походах, а затем и в боевых, проявив под Азовом «примерную храбрость и отменное знание бомбардирской науки при стрельбании ядрами, а также и картечью».

Перед войной со шведами Бухвостов был уже лейб-гвардии капралом.

Битвы под Нарвой, Лесной и, наконец, знаменитое Полтавское сражение, решившее участь Карла XII и гетмана Мазепы.

Во время битвы русским пушечным ядром были раздроблены носилки Карла. Этот знаменитый выстрел приписывался Бухвостову. Так или иначе, но «первый российский солдат» считался одним из лучших бомбардиров не только в Преображенском полку, но и во всей армии.

Отмечая заслуги Бухвостова перед отечеством, Петр к концу войны произвел его в капитаны артиллерии, а затем, когда тот был тяжело ранен в Померании,— в майоры. Не обошел он его и наградами. Кстати, среди вещей, подаренных Бухвостову, была и собственноручно выточенная Петром на токарном станке черепаховая чаша, которая стала семейной драгоценностью Бухвостовых.

Желая увековечить образ первого российского солдата, император заказал Карлу Растрелли бронзовый бюст Бухвостова, который в дальнейшем был передан Академии наук.

Бухвостову была посвящена и выточенная Андреем Нартовым бронзовая медаль, а его портрет со сценами сражений, в которых он участвовал, и биографическими сведениями на русском и французском языках выгравировал талантливый русский гравер, в то время еще ученик гравировальной школы при «грыдыровальном департаменте» Академии наук Махаев.

К сожалению, и бюст работы Растрелли, и медаль Нартова, и гравюра Махаева после смерти Петра I были утрачены. Вышитому шелком портрету первого российского солдата повезло больше: он, как видите, дожил до 1922 года.

Портрет этот известен под названием «меншиковско-го», хотя справедливости ради его следовало бы именовать «арсеньевским».

Александр Данилович Меншиков, начавший свою головокружительную карьеру с продажи пирогов с тухлой зайчатиной на Красной площади в Москве, обладал



многими талантливыми и пригодившимися ему в жизни знаниями.

«Счастья баловень безродный», ставший князем Священной Римской империи, герцогом Ижорским, графом Дубровненским, генералиссимусом, фельдмаршалом и прочее, прочее, как видите, неплохо разбирался в титулах, должностях и званиях. Полновластный владелец многих городов, сотен сел, деревень и свыше ста тысяч крепостных крестьян, Меншиков являл пример рачительного хозяина, а обладатель золота, серебра, бриллиантов и жемчуга, вес которых исчислялся десятками пудов, а стоимость — миллионами и миллионами рублей, судя по всему, понимал толк в благородных металлах и драгоценных камнях. Но в грамоте он преуспел не слишком, а в искусстве и того меньше.

Хотя стены многочисленных дворцов Меншикова были плотно увешаны гобеленами и «фряжскими парсунами», Александр Данилович являлся полным профаном и в живописи, и в скульптуре, и в коврах художественной работы. Тут «светлейший князь, герцог Ижорский и граф Дубровненский» целиком доверялся вкусу своей жены, Дарьи Михайловны Арсеньевой, и свояченицы, Варвары Михайловны Арсеньевой.

Обе Арсеньевы, представительницы древнейшего боярского рода Арсеньевых, получили по тем временам блестящее образование. Они в совершенстве знали несколько иностранных языков, разбирались в музыке, живописи, а особенно — в вышивках. Интерес к вышивкам передавался у Арсеньевых из поколения в поколение. Их крепостные вышивальщицы славились в Москве чуть ли не со времен царя Михаила Романова. «Арсеньевские» вышитые шелком и золотом с жемчугом и самоцветами кики, кокошники, убрусы, венчики и другие женские головные уборы отличались оригинальным, самобытным орнаментом и великолепно подобранной гаммой цветов. Вышивальщицы свободно пользовались не только русским швом, крестиком, но и венецианским, и швом «ренессанс», и алмазным, и гобеленовым.

Вот этим-то крепостным искусницам и было поручено изобразить шелками на льняном полотне портрет первого русского солдата, Сергея Леонтьевича Бухвостова.

Видимо, портрет предназначался в подарок Петру I, но работа продолжалась около трех лет и была закончена уже после кончины Петра.

Вас удивляет срок?

Смею вас уверить, что три года для такой вышивки совсем не много, особенно если учесть, что в портрете Бухвостова был использован шелк по меньшей мере двенадцати тысяч цветов и оттенков. На всемирно известной Гобеленовской королевской мануфактуре во Франции самый опытный гобеленщик мог выткать на готлисовом станке не более  $\frac{4}{5}$  квадратного метра гобелена в год. А ведь художественная вышивка зачастую значительно сложнее и требует больше времени. Достаточно сказать, что вышитый по рисунку великого Рафаэля «Танец золотого тельца» не только оценивался любителями дороже многих полотен гениального мастера, но и стоил мастерам пяти лет непрерывного кропотливого труда. И если нормандскому герцогу Вильгельму Завоевателю, высадившемуся с шестидесятитысячным войском на Британские острова в сентябре 1066 года, потребовалось для полного покорения Англии всего пять лет, то его жене Матильде, решившей вышить главные подвиги своего воинственного супруга, понадобилось для этого никак не меньше десяти, хотя герцогиня, а затем королева Англии владела иглой не хуже, чем Вильгельм мечом, и отличалась самым образцовым среди всех королей той эпохи трудолюбием...

Но вернемся к портрету Бухвостова.

Видимо, первый российский солдат, умерший и похороненный со всеми воинскими почестями в 1728 году, в царствование Петра II, видел свой вышитый портрет, который висел во дворце Меншикова на Васильевском острове. Хотя я не исключаю и того, что светлейший князь «забыл» пригласить к себе худородного старика, который теперь не представлял для него никакого интереса. Но свежестью красок и необыкновенным золотистым колоритом этой картины, шитой шелком, наверняка любовались и русские и иностранные вельможи, посещавшие дворец самого могущественного человека в Петербурге. Да, самого могущественного: с воцарением бывшей служанки Меншикова, Екатерины I, светлейший князь стал некоронованным властелином необъятной России. Екатерина ничего не предпринимала, предварительно не посоветовавшись с ним.

Казалось, честолюбие Меншикова могло быть полностью удовлетворено. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Меншикову хотелось большего, он

стремился породниться с императорской фамилией. Если Марта Скаврнская стала русской царицей Екатериной I, то что, спрашивается, мешает взойти на престол дочери Александра Даниловича Марии, которая в отличие от жены Петра I умеет не только читать и писать, но и музицировать, рисовать, разговаривать на голландском, немецком, английском и французском языках? И шелковый портрет, висевший в кабинете Меншикова, был немым свидетелем разговоров светлейшего князя и княгини о будущем их дочери...

Но будущее предугадать трудно, тем более что Меншиков провидцем не был.

Честолюбивые планы «полудержавного властелина» выдать Марию замуж за внука Петра I, сына казенного царевича Алексея, нашли полную поддержку у императрицы. В завещании Екатерины, которое было опубликовано после ее смерти, одним из пунктов значилось: «Цесаревнам и администрации вменяется в обязанность стараться о сочетании браком великого князя с княжной Меншиковой».

И 25 мая 1727 года состоялось торжественное обручение двенадцатилетнего императора всея Руси Петра II с шестнадцатилетней княжной Марией Александровной Меншиковой.

У жениха и невесты были хмурые лица. Мальчишка-император от всей души ненавидел и боялся своего тестя, который во всем его ограничивал и вместо охоты и других подходящих царю развлечений заставлял его заниматься науками с добрым десятком преподавателей. А Мария, успевшая влюбиться в молодого красавца князя Федора Долгорукова, с нескрываемым отвращением смотрела на толстого, краснощекого недоросля, который предназначался ей в мужья лишь потому, что являлся сыном такого же неуча — царевича Алексея.

Мария хорошо помнила рассказ отца о том, как Алексей, которого Петр I хотел проэкзаменовать по геометрии и фортификации, чтобы избежать экзамена, предпочел выстрелить из пистолета себе в руку. Помнила она и письмо Алексея цезарю: «...Русские меня любят, а отца моего ненавидят за его дурную, низкого происхождения царицу, за злых любимцев, за то, что он нарушил старые хорошие обычаи и ввел дурные, за то, что не шадит ни денег, ни крови своих подданных, за то, что он тиран и враг своего народа».

Зато ликовал Александр Данилович Меншиков, подписавший в свое время смертный приговор отцу Петра II: его давняя мечта на глазах превращалась в реальность. Еще немного времени — и Мария станет царицей, Романовы и Меншиковы породнятся!

Сразу же после обручения Меншиков именем императора наградил Марию орденом святой Екатерины и утвердил ей императорский придворный штат. Теперь у его дочери был свой собственный гофмаршал, свои камергеры, гофмейстеры, камер-пажи и камер-лакеи.

На балу, устроенном князем по случаю этого столь великого торжества, выскочившие из гигантского пирога с инициалами жениха и невесты карлики станцевали на столе менует и хором продекламировали оду, восхваляющую действительные и мнимые достоинства Петра II и Марии.

Злые языки поговаривали, что будущей императрице уже заказана заботливым отцом корона, которая своей роскошью затмит корону Екатерины I.

Между тем над головой светлейшего сгущались тучи. Мальчишка-император все более тяготился деспотизмом своего незванного опекуна и ненавистного тестя. Этим во время болезни князя ловко воспользовались его враги.

В сентябре грянул первый гром: семье Меншикова было предписано покинуть Петербург и поселиться в Раненбурге.

Это, конечно, был удар, и удар неожиданный. Но в Раненбург все же ссылался «светлейший князь, герцог Ижорский, граф Дубровненский, фельдмаршал и генералиссимус». Поэтому поезд Меншиковых насчитывал не мало не много 5 берлинов, 16 колясок, 14 фургонов и колымаг. Светлейшего сопровождали собственные драгуны, пажы, карлы, гайдуки, повара, певчие (Меншиков любил послушать за обедом старинные русские песни) и даже гребцы (Александр Данилович привык по вечерам кататься на лодке в сопровождении рогового оркестра).

Но едва Меншиков успел отремонтировать свой дворец, завезти новые экзотические растения в оранжереи и очистить от водорослей пруды Раненбурга, как из Петербурга пришло новое распоряжение — ссылка в Сибирь!

Это был второй, поистине страшный удар грома, который разрушил всякие иллюзии.

На этот раз у Меншикова отобрали все: титулы, звания, ордена, драгоценности, дворцы, города, деревни. Сын

царевича Алексея умел мстить и мстил беспощадно.

Теперь Александр Данилович и Варвара Михайловна ехали уже не в лакированной, отделанной эмалью карете, а в рогожной кибитке, за которой тащились две крестьянские телеги. На одной из них, сгорбившись, сидела на сене одетая в черный кафтан бывшая царская невеста — Мария Меншикова...

По личному распоряжению злопамятного Петра, переданного Меншикову присланным из Петербурга офицером, ссыльным разрешалось взять с собой лишь котел для варки пищи, три медные кастрюли, 12 блюд («также медных») и столько же оловянных тарелок.

Но, как говорится, и в несчастье бывает счастье. Офицер оказался сыном бомбардира, который вместе с Бухвостовым сражался под Полтавой и много рассказывал сыну о подвиге Петра Великого Александре Меншикове. Поэтому предписание Петра II было выполнено не совсем точно. Так, Мария увезла в Березов неположенную дюжину ложек, ножей и вилок (Петр считал, что ссыльные вполне могут есть руками), а Александр Данилович — шитый шелком портрет первого российского солдата и полученный им из рук Петра Великого орден Андрея Первозванного (кстати говоря, первый русский орден).

В Березов Меншиков уже прибыл вдовцом: Дарья Михайловна умерла в пути, не доезжая Казани.

Сначала семья разместилась в остроге, а затем переехала в бревенчатый дом, собственноручно построенный опальным князем с помощью немногих слуг, решившихся разделить участь своего господина (вот когда пригодилась Меншикову плотничья наука, усвоенная им под руководством Петра II!).

Дом, поставленный на берегу реки, состоял из четырех комнат. Одна предназначалась для дочерей, во второй разместились князь с сыном (здесь-то и был повешен на стену портрет Бухвостова как воспоминание о недавнем прошлом), третью заняли слуги, а четвертая стала кладовой.

Стряпала на семью бывшая царская невеста...

\* \* \*

Василий Петрович рассказывал много интересного о жизни Меншикова в Березове, но так как это не имеет непосредственного отношения к портрету Бухвостова,

я все это опускаю, тем более что желающие поподробней узнать об этом всегда могут обратиться к соответствующей литературе. Приведу лишь один эпизод, связанный с дальнейшей судьбой удивительного портрета. Как Василий Петрович уже вскользь упоминал, Мария Меншикова любила князя Федора Долгорукова, который отвечал ей взаимностью. И вот этот самый Федор Долгоруков вскоре после прибытия Меншиковых в Березов тайно под чужой фамилией приехал туда, чтобы просить у бывшего властелина руки его дочери. Меншиков не возражал. Мария и Федор тайно были обвенчаны в Спасской церкви старым березовским священником отцом Феофаном. После более чем скромной свадьбы Меншиков вручил зятю единственную оставшуюся у него ценность — шитый шелком портрет.

Через год, как раз в день своего рождения, когда ей исполнилось восемнадцать лет, Мария умерла. Не намного пережил ее Федор Долгоруков, который скончался, видимо, в 1730 или 1731 году.

Более тридцати пяти лет — а за это время на русском престоле успели побывать и Анна Иоанновна, и малолетний Иоанн Антонович, и Елизавета Петровна, и Петр III — о портрете Бухвостова ничего не было слышно. Но он не исчез бесследно, подобно многим другим уникальным вещам начала XVIII века.

\* \* \*

— По утверждению моего коллеги по университету некоего Тарновского, который защищал магистерскую диссертацию по истории византийской и русской вышивки, — продолжал Василий Петрович, — «меншиковский» или «арсеньевский» портрет был где-то приобретен небезызвестным Григорием Орловым, который в 1768 году «презентовал» его самому популярному в то время в Петербурге человеку — барону Димсделю.

Вам, разумеется, ни дата, ни фамилия барона ничего не говорят. Между тем 1768 год превозносился придворными Екатерины II, тогда же, если не ошибаюсь, получившей эпитет «великой», как один из самых славных в истории России. Императрицей восхищались и хором и порознь. Ее самоотверженность сравнивалась с великими подвигами Геракла, Муция Сцеволы, Александра Маке-

донского и Юлия Цезаря. Известнейшие пииты, в числе которых был и Херасков, писали восторженные оды, Сенат направил императрице высокопарное приветствие, а на монетном дворе была выбита специальная медаль с профилем Екатерины, лавровым венком и знаменательной датой — «1768 год».

Вот к этому самому событию, которое так потрясло современников Екатерины, барон Димсдель — тогда еще не барон, а просто Димсдель, английский военный врач, — и имел самое прямое отношение. Потому что именно он, а не кто иной собственноручно привил русской императрице и ее сыну, будущему императору Павлу I, оспу... Да, именно это событие и вызвало такую бурю восторга. Конечно, сейчас это вызывает улыбку, но тогда, чтобы решиться на прививку, требовалось определенное мужество. Правда, и в то время вполне можно было обойтись без медали, стихов, иллюминаций, речей, манифестов и послания сенаторов. Но проявим снисходительность и не будем ставить каждое лыко в строку нашим предкам.

Итак, сделав прививку, Димсдель, как в сказке, тотчас же превратился из обычного, ничем не примечательного врача в барона, лейб-медика, кумира двора и весьма богатого человека. Кроме того, как нетрудно догадаться, он приобрел весьма солидную клиентуру: прививки вошли в моду, и петербургская знать стремилась не отстать от императрицы.

Расплачиваться с лейб-медиком да вдобавок еще и бароном деньгами считалось неприличным. Поэтому прививка оспы Орловым, Потемкину и другим вельможам давала возможность страстному любителю живописи Димсделю основательно пополнить свою до того времени более чем скромную коллекцию картин полотнами известных итальянских, французских, английских и голландских мастеров.

Однако шелковый портрет, преподнесенный врачу благодарным Орловым, надолго у Димсделя не задержался. То ли он, как говорится, не вписался в собрание картин — Димсдель коллекционировал живопись, а не вышивки, — то ли англичанину уж очень хотелось выказать свое уважение популярному в Англии великому русскому полководцу, но, по утверждению того же Тарновского, портрет Бухвостова был подарен, — а возможно, продан — фельдмаршалу Кутузову, у которого, кстати говоря, находился и портрет «первого французского гренадера» Теофиля Лату-

ра<sup>1</sup> с вырезанными на тыльной стороне рамы известными словами Кутузова: «Разбить меня Наполеон может, но обмануть — никогда».

На протяжении XIX века «арсеньевский» портрет сменил немало хозяев. А затем он осел — и осел достаточно плотно — в собрании русских вышивок у петербургского богача Шлягина.

В доме Шлягина, к которому меня как-то привел Тарновский, я этот портрет впервые и увидел.

Пожалуй, среди всех дореволюционных частных коллекций шлягинская отличалась наибольшей полнотой. Тут были уникальные скифские вышивки, за которыми гонялись любители из самых разных стран, византийские вышивки, великолепные образцы «золотого шитья», приобретенные Шлягиным в Торжке и северных женских монастырях, известных своими искусницами, цветное «владимирское шитье», рязанские вышивки со вставками из разноцветных тканей и кружев, вывезенная из Калужской губернии красно-синяя цветная перевить и крестецкая ажурная строчка.

Но в первую очередь все-таки привлекал к себе внимание «арсеньевский» портрет. Он был жемчужиной коллекции, и Шлягин понимал это.

Портрет представлял собой овал высотой чуть более метра, а шириной сантиметров восемьдесят — восемьдесят пять. Изображение Бухвостова обрамлял типичный для России XVI—XVII веков оригинальный орнамент, в котором в неразрывное целое слились Азия и Европа. Сплетались, ломались под разными углами, то расширяясь, то сужаясь, лентообразные причудливые полосы, переходящие в подобие листьев сказочных деревьев, и фигуры прекрасных в своем неповторимом уродстве грифонов.

В капризных, не подчиняющихся никаким закономерностям, изломанных и в то же время округлых линиях переплетений было все: сказка и реальность, прошлое и настоящее, безудержная радость и непереносимая боль, Восток и Запад.

Мчались из тьмы веков в гари пожарищ низкорослые монголы на мохнатых лошадях, играл ветер кудрями бес-

<sup>1</sup> Теофиль Латур д'Оверн, прославившийся своей храбростью в период Французской революции 1789—1794 годов, был представлен Бонапартом к званию генерала. После того как Латур демонстративно отказался от этого звания, Наполеон пожаловал его более высокой наградой — званием «первого французского гренадера».

шабашного Васьки Буслаева, летела по синему безоблачному небу, распустив хвост радуги, огненная жар-птица. Мелодично звенели колокола московских храмов, слепила глаза роскошь византийских дворцов, и в самой глуши дремучих рязанских лесов возвышались египетские пирамиды и трубили индийские слоны.

Вышитый подковой старорусский узор не охватывал нижнюю часть портрета. Орнамент как бы рассекался дугообразными мощными крыльями двуглавого трижды коронованного орла.

Широкую грудь царственной птицы закрывал от шведов, турок и прочих врагов тяжелый кованый щит московского герба, окруженный такой же массивной золотой цепью первого русского ордена, учрежденного «бомбардиром Петром Алексеевым». Тут же косою Андреевский крест с наручной печати того же бомбардира. В цепких когтистых лапах орла — тяжелая ручка скипетра и земной шар державы.

Из рамы орнамента, совсем невесомый, воздушный, будто возникший в нашем воображении, на нас удивленно смотрел своими широко расставленными глазами («А вы откуда здесь взялись?») только что явившийся из быliny в Преображенский полк нереальный в своей обыденности, добродушный и немного ленивый русский богатырь. «Ну-ну, где тут Соловей-Разбойник посвистывает? Что-то не видать... Да уж ладно, посплю час-другой, покада сказка сказывается, а уж потом... Ежели не уберется подобру-поздорову, вобью его, стервеца, по маковку в сыру землю да и поеду неторопко к стольному князю Владимиру Красное Солнышко. Заждался небось...»

Но в плотно сжатых губах богатыря, одетого в преображенский мундир с орлеными пуговицами, и в его позе угадывалось напряжение: кончилась вольница! Теперь уже богатырь не сам по себе, а на царской службе, под двуглавым коронованным орлом, хотя тот будто и понизу со своими державой и скипетром приспособился. И Петр Алексеич — не князь Владимир, земля ему пухом. При Петре Алексеиче не до сна, при нем ухо на карауле держи. Чуть что не так — в зубы, а то и палок отведаешь. Так что хоть ты и богатырь, но не какой-нибудь, а царский, первый российский солдат, словом. Потому и на портрете дисциплину армейскую блюди: плечи назад, грудь вперед, руки по швам. Смирна-а!

— Мастерицы-то каковы, а? — наслаждался произве-

денным на меня впечатлением Шлягин. — Это вам, уважаемый, не всякие там Европы. Русь-матушка! Шелками — что красками...

Действительно, ничего похожего я раньше не видел. Портрет Бухвостова поражал тонкостью и тщательностью работы вышивальщиц, точной передачей характера, воздушностью, а главное — поразительной гармоничностью колорита и великолепным рисунком. Ведь следует сказать, что немногие художники, даже с мировым именем, соединяют в себе таланты рисовальщика и колориста. Строгие критики, например, считают, что такие общепризнанные мастера, как Микеланджело, Дюрер или Давид, великолепно владели формой, но зато были посредственными колористами. А в отличие от них Тициан, допустим, Рубенс, Веронезе и Делакруа, наоборот, обессмертили себя красками, но отнюдь не рисунком.

Может быть, я несколько пристрастен. Возможно. Но поймите меня правильно. Я не ставлю знака равенства между безымянным русским художником или Рубенсом и Микеланджело. В то же самое время я совсем не исключаю, что вместе с ним и в нем умер великий мастер, который мог бы в других условиях обессмертить свое имя.

И, любуясь портретом, я завидовал Меншиковым и Арсеньевым — всем тем, кто мог наблюдать за тем, как создавалось это блестящее произведение двух искусств: живописи и вышивания.

Шлягин, которого я бы назвал человеком «купеческой складки», не без гордости сказал нам, что посетивший в прошлом году Петербург американский собиратель и знаток вышивок Генри Мэйл предлагал ему за портрет Бухвостова пятнадцать тысяч долларов, сумму по тем временам солидную.

— А ежели поторговаться, — сказал Шлягин, — то и все двадцать бы отвалил.

— Что же вы не продали? — поддразнил я, надеясь в глубине души услышать от него что-нибудь умильное. Но, увы, не услышал.

— Да у меня и своих деньжат хватает, не обездолен, — откровенно объяснил он свой отказ от сделки. — А удовольствие свое я на том имел. Купил-то я эту вещь за сколько? За тысячу рубликов. Не бог весть какие деньги, а мне: «Переплатил, Иван Ферапонтович». Ну, и сомнения всякие. Не денег, понятно, жалко, а достоинства купеческого. А выходит, не прогадал Шлягин. Вон как!

Да, хорошая вышивка в хороших руках — капитал. Бальшой капитал! А господин Мэйл пускай дураков себе не здесь, а в своих Американских Соединенных Штатах ищет. Дураки — не носороги, они повсеместно водятся, что в Лос-Анджелесе, что в Рязани. Дурак — он везде дурак. А мне за этот самый шелковый портрет, ежели желаете знать, через пяток лет и пятьдесят отвалят, только продай, Христа ради, Иван Ферапонтович. А я — шиш, стаждать буду... — засмеялся Шлягин.

Но, несмотря на свой трезвый подход к неизбежному росту цен на произведения искусства, Шлягин в своих прогнозах все-таки ошибся: через «пяток лет» никто ему пятидесяти тысяч за «арсеньевский» портрет не предложит... Через «пяток лет» грянула революция.

А в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР все предметы искусства, имеющие художественное и историческое значение, были объявлены собственностью народа.

Но, как вскоре выяснилось, злорадствовал я зря. Купец проявил должную предусмотрительность.

Отправившийся в особняк Шлягина Тарновский — как специалист по художественным вышивкам он был по моей рекомендации привлечен к реквизициям, которыми занималась Комиссия по охране памятников искусства и старины Петроградского Совдепа, — вернулся ни с чем.

Тарновский сообщил, что Шлягин еще в середине 1917 года уехал из Петрограда в Ревель (ныне Таллин), а оттуда перебрался в Стокгольм.

Уезжая, купец продал дом и захватил с собой наиболее ценные экспонаты коллекции, среди которых, разумеется, был и портрет Бухвостова.

Обидно, досадно, но что поделаешь?

Я постарался забыть о портрете. Однако в 1922 году мне о нем напомнили. И напомнил не кто иной, как тот же Тарновский...

К тому времени мой бывший товарищ по университету и Комиссии Петроградского Совдепа, поддавшись соблазнам нэпа, превратился из совслужащего в хозяина антикварной лавки.

Настоящий любитель вряд ли нашел бы в этой лавке что-либо достойное внимания. Но у нэпманов, торопившихся «облагородить» свои квартиры, предприятие Тарновского пользовалось популярностью. Еще бы! Надраянная, как медный самовар, бронза, аляповатый, но зато

густо позолоченный фарфор, многопудовые, звенящие, как трамвай, хрустальные люстры, игривые статуэтки и плохие копии с картин известных мастеров.

Нэп тогда только набирал силу, поэтому лавка Тарновского не была золотым дном. Но все же новоявленный нэпман успел за последние полгода отъестся и нагулять округлое брюшко, что было в то голодное время далеко не повсеместным явлением. Он завел модные узконосые ботинки «шимми», тросточку, котелок, дорогой костюм в полоску — «Полюби меня, Марфуша!» — и домохозяйницу.

Мое отношение к частнопредпринимательской деятельности Тарновский знал достаточно хорошо, поэтому, проявив должный такт, он перестал у меня появляться, за что я был ему крайне благодарен.

И вот однажды ночью, уже под утро, что-то около четырех часов, в моей квартире прозвенел настойчивый длинный звонок, а затем в дверь стали грохотать кулаками. Не стучать, а именно грохотать.

Ночные звонки вообще неприятная штука. Но в 1922 году, когда Петроград был наводнен уголовниками, подобные звонки являлись чаще всего прелюдией к налету.

Сейчас даже трудно себе представить, что тогда творилось в городе. Убийства и грабежи считались обыденным явлением, а уж к кражам так привыкли, что в витринах почти всех нэпмановских магазинов висели трогательные обращения, начинающиеся словами: «Уважаемые граждане воры»... Какие там шутки! Я говорю вполне серьезно. Рядом с сырами и колбасами обязательно находилась эмалированная или фанерная досочка: «Уважаемые граждане воры! Убедительная просьба не портить зря витрину — все продукты, выставленные в ней, сделаны из дерева».

Короче говоря, не буду задним числом кривить душой и утверждать, что, когда я вскочил с постели и отправился в переднюю, я был образцом хладнокровия. Отнюдь нет. Правда, поживиться в моей квартире было нечем: ни золота, ни серебра, ни лишней пары штанов. Но как раз это и могло обидеть налетчиков: как-никак рисковали, время тратили. А на ком им вымещать обиду? На мне, понятно...

Спрашиваю:

— Кто там?

Молчание. Они молчат — я молчу. Затем тихий голос:

— Василий Петрович, открой, пожалуйста.

Так как знакомых у меня среди уголовников нет, слегка успокаиваюсь, но отпирать дверь все же не тороплюсь.

— Кто вы?

— Это я.

— Кто «я»?

— Тарновский.

— Олег Владиславович?

— Да.

Действительно, голос Тарновского, никаких сомнений.

И вот мы в моей комнате. Мы — это я, Тарновский и его домоправительница Варвара Ивановна, тощая, как пересушенная вобла, женщина с решительным костистым лицом. На Тарновского смотреть страшно: бледный, растрепанный, нижняя губа отвисла, в глазах ужас.

— Сегодня... — голос его прерывается, — на мою лавку был произведен налет...

Он замолкает, и инициативу берет в свои костлявые руки Варвара Ивановна. От нее я узнаю подробности происшедшего.

Около одиннадцати часов вечера, когда они уже легли спать, к ним позвонили: «Почтальон. Срочная телеграмма».

Тарновский открыл дверь и в ту же секунду упал без сознания от сильного удара ногой в живот.

Затем налетчики — их было трое — уложили на пол вниз лицом выбежавшую на шум Варвару Ивановну и, оставив одного из бандитов сторожить хозяев, занялись лавкой.

Налет продолжался не более получаса.

Когда бандиты, загрузив экипаж мешками с награбленным и вежливо пожелав хозяевам спокойной ночи, уехали, Тарновский вызвал по телефону милицию.

Милиционеры осмотрели место происшествия, допросили пострадавших, составили необходимые протоколы и пообещали заняться розыском преступников.

Вот и все. Какая роль во всей этой истории предназначалась мне, я так и не понял.

Как требовал долг вежливости, я посочувствовал, выразил надежду, что налетчики вскоре будут арестованы, и предложил выпить чаю. Тарновский с таким испугом посмотрел на меня, будто я предложил не чай, а бог знает что.

— Чай?!

— Разумеется.

Варвара Ивановна усмехнулась:

— Олег Владиславович слишком взволнован. Его можно понять.

— Тайник, — с надрывом сказал Тарновский.

— Что — тайник? — не понял я.

— Они опустошили тайник, — простонал Тарновский и, ткнувшись головой в стол, заплакал.

Я вопросительно посмотрел на Варвару Ивановну, безразлично морщившую свои тонкие злые губы.

— Может быть, вы будете столь любезны...

— Видите ли, — сказала она, — дело в том, что на квартире Олега Владиславовича имелся тайник, в котором он хранил наиболее ценный антиквариат. Олег Владиславович был уверен, что налетчики его не обнаружили. Но, увы!.. Это для него удар.

Да, Тарновскому, конечно, не до чая.

— Вы сообщили, разумеется, о тайнике милиционерам?

— Нет.

— Ну вот! Напишите дополнительное заявление, перечислите в нем...

Тарновский промывал что-то нечленораздельное и отрицательно замотал головой. Только тогда я стал о чем-то догадываться.

— В тайнике были предметы, подлежащие национализации?

Наступило тягостное для всех троих молчание.

— Да, — выдавил наконец из себя Тарновский.

— Понятно. Тогда, может быть, ты будешь откровенен до конца и сообщишь мне, что именно там было?

Он всхлипнул и стал вытирать скомканным носовым платком глаза.

Я объяснил, что для переживаний у него будет еще достаточно времени, и повторил свой вопрос.

— Первые русские монеты великого князя Владимира Святого, Святополка Ярополковича и Ярослава Владимировича, — с трудом ворочая языком, ответил он. — Всего двадцать пять штук.

Подобной коллекцией в России располагали считанные нумизматы. Стоимость ее до революции исчислялась тысячами и тысячами рублей. Совсем не плохо для скромного антиквара.

— Дальше, — говорю.

— Кружева.



— Какие кружева?

— Старинные.

Выясняю, что у моего бывшего коллеги по университету хранились уникальные французские кружева XVI века по узорам флорентийца Пеллегрини и генуэзца Фредерика Винчиоло, черные шантильи Екатерины де Роган, венецианские и орильякские с жемчугом.

Не оставил он без своего благосклонного внимания и матушку-Россию XVI—XVII веков. В его чулане нашлось место для русских кружев из волоченого золота, кружев, низанных жемчугом и перьями по рисункам знаменитых «царских знаменщиков»<sup>1</sup> Ивана Некрасова и Петра Ремезова. Хранились там также русские кружева с пухом и горностаем, «кованные», с узорами «рыбка», «репеек», «протекай речка», «бровки-пытки-города» и так далее.

— Что там еще было? — спрашиваю.

— Два гобелена из серии «История Александра Македонского» по картонам Шарля Лебрена, пять шитых золотом кокошников с мелким жемчугом, две скифские вышивки.

И, пока он перечисляет, я вспоминаю, что гобелены из серии «История Александра Македонского» я видел в собрании Шлягина.

Кажется, он никому их не перепродавал.

Но если это те самые гобелены, то что же тогда получается?

Вывод может быть лишь один, но мне его делать не хочется...

Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, старательно записываю похищенные вещи.

— Все?

— Почти все,— неопределенно отвечает Тарновский, избегая моего взгляда.

— Все или почти все?

— Там был шитый шелком портрет...

У меня перехватывает дыхание.

— Бухвостова?.. Ты что, язык проглотил?

Тарновский всхлипывает. Но если раньше к моей брезгливости примешивалась жалость, то теперь я почти физически ощущаю, как в груди у меня поднимается волна глупейшей ненависти.

По испуганным глазам Тарновского, в которых плещет-

ся ужас, вижу, что он прекрасно понимает, какие чувства я в эту минуту испытываю.

— Портрет Бухвостова?

— Да, там еще был портрет Бухвостова,— безразличным голосом подтверждает Варвара Ивановна, не понимающая или не желающая понимать то, что сейчас происходит.

Я резко встал, и Тарновский испуганно отшатнулся, будто ожидая, что его сейчас ударят.

Самое забавное, что он был недалеко от истины.

Вы знаете, что по натуре я человек сдержанный и достаточно мягкий. Я снисходителен к чужим слабостям и всегда пытаюсь влезть в чужую шкуру, но тогда...

Я едва удержался, чтобы не дать ему пощечину. Но все-таки удержался...

Затем мне пришлось выслушать достаточно противную историю о том, как человек, которого я в 1918 году рекомендовал товарищам из Комиссии по охране памятников искусства и старины, обманул рабоче-крестьянское правительство и присвоил лучшие экспонаты шлягинского собрания, бросив на произвол судьбы оставшиеся.

Тарновский говорил, что все эти годы его мучила совесть и он хотел вернуть присвоенное государству, но боялся ответственности. Ведь закон, как мне известно, карает за сокрытие произведений искусства, подлежащих регистрации, учету или передаче в госхранилище. И все же, не будь налета, он, Тарновский, сдал бы все-таки хранившиеся у него вещи. Ведь он мог их продать, однако он этого не сделал...

Сотканная из недомолвок, полуправд и страха наказания исповедь заканчивалась, понятно, просьбой. Я должен был засвидетельствовать его добровольное признание и чистосердечное раскаяние. Когда налетчики будут пойманы (в том, что это произойдет, Тарновский не сомневался, этим-то и объяснялось его «добровольное признание» и «чистосердечное раскаяние»), он, Тарновский, готов помочь милиции в оценке похищенного и экспертизе изъятых у бандитов уников. Более того, он с удовольствием заплатит любой штраф. Лишь бы не тюрьма. Посадить его в тюрьму — величайшая несправедливость. Он же никого не убивал, не крал... Правда, тогда, в восемнадцатом, он проявил слабость, но разве не были для него наказанием эти страшные годы, когда день и ночь его непрерывно грызла совесть? Как он переживал, как пере-

<sup>1</sup> Знаменщик — рисовальщик.

живал! Вспомнить и то страшно! Может быть, я сомневаюсь в том, что он говорит? Тогда я могу спросить у Варвары Ивановны. Она о многом расскажет: о бессонных ночах, о сердечных приступах, о неотправленных письмах в научный отдел Наркомпроса... Да что говорить, ведь я его хорошо знаю. Пусть он слабый, но все же честный человек. Это известно всем. Да, всем. В его порядочности никогда и никто не сомневался. Нет, конечно, он виноват. Однако вина вине рознь. И в глубине души я это прекрасно понимаю. Поэтому иронизировать ни к чему. Ирония — ржавчина, которая разъедает человеческие отношения. А сегодня ночью в лице налетчиков к нему пришла не беда, а освобождение от страха и угрызений совести. Как это ни парадоксально, но он счастлив. Да, счастлив. Он глубоко счастлив, что вскоре — он в этом ни капли не сомневается — бандиты будут арестованы и отобранное у них станет наконец достоянием трудящихся. Ведь искусство — это радость. Оно облагораживает людей, воспитывает их. А чего стоит один лишь портрет Бухартова, этот воплотившийся в шелк гений русского народа!

Ушли они уже утром. В прихожей Тарновский протянул мне руку, но я ее не заметил...

\* \* \*

Рассказывая, Василий Петрович вновь переживал ту ночь. Он возмущался, иронизировал, удивлялся, радовался, грустил. Одна гамма чувств сменялась другой.

К порозовевшему лицу старого искусствоведа вновь вернулась молодость. Исчезли бесчисленные морщины, стала упругой дряблая кожа, в глазах появился блеск. Наверное, таким Василий Петрович был в 1922 году.

Когда я ему сказал об этом, он улыбнулся.

— Возможно, возможно... Вот вам еще одно доказательство того, что общепринятое мнение, будто бы переживания старят, ошибочно. Пока человек переживает, он живет. Уходят переживания — уходит жизнь. Он разговаривает, ест, пьет, но не живет. Должен признаться, что я не разделял оптимизма — мнимого или действительного — своего бывшего товарища. У меня не было уверенности, что преступников разыщут. И объяснялось это не присутствием мне скептицизмом или плохим мнением о способ-

ностях сотрудников уголовного розыска. Я, например, очень уважал заместителя начальника Петрогуброзыска Ореста Григорьевича Ефимова. С ним я познакомился еще в 1919 году в захваченном деникинцами Харькове, где мы близко сошлись. Это был далеко не заурядный человек: умный, мужественный, широко образованный, умевший целиком отдавать себя делу партии. Через него я знал и некоторых других товарищей из этого учреждения, помещавшегося тогда на площади Урицкого (ныне она именуется Дворцовой). Они тоже производили на меня самое благоприятное впечатление. Но, как известно, существует определенный предел человеческим возможностям. У милиционера, как и у всех нас, всего две руки, поэтому, выражаясь фигурально, он одновременно может схватить за ворот лишь двух жуликов. А общее число рук тогда в Петрогуброзыске было намного меньше, чем уголовников. Петроград, как я уже говорил, буквально кишел преступниками самых разнообразных специальностей: медвежатниками, карманниками, мокрятниками, стопорилами, поездушниками, голубятниками...

Какой только мрази не было!

Запуганные обыватели трепетали от одного только имени нашумевшего на всю страну Леньки Пантелеева, с ужасом говорили о «подвигах» Гришки Тряпичника, ограбившего Михайловский дворец, в котором был расположен музей имени Александра III (ныне Русский музей), о зверствах «короля Охты» Пискуна, о десятках и сотнях других мерзавцев, терроризировавших город.

На таком фоне похищение антикварных вещей из какой-то лавки какого-то Тарновского представлялось обычным незначительным происшествием, которому, разумеется, милицией будет уделено должное внимание, но только «должное», а не первоочередное.

Все это я прекрасно понимал. И все же... И все же, выпроводив своих ночных гостей, я взял извозчика и отправился к Ефимову.

Ефимова на месте не было. В секретариате мне сказали, что он выехал на место происшествия и неизвестно, когда вернется.

Слово «неизвестно» оптимизма не внушало. Но мне повезло: когда я уже подготовил себя к многочасовому ожиданию, то заметил поднимавшегося по лестнице Ореста Григорьевича.

— Ко мне?

— К тебе.  
— По делу?  
— По делу.  
— А попозже не можешь?  
— Могу, но хотелось бы поговорить с тобой сейчас.  
— Ну что ж, заходи,— сказал он тоном, в котором можно было бы найти все, кроме радости по поводу моего визита.

Продолжение диалога было уже в его кабинете.

— Украл что-нибудь?  
— Ограбили.  
— Тебя?  
— Государство.  
— Садись и рассказывай.

Зная занятость Ореста Григорьевича, я старался быть по возможности кратким.

Ефимов слушал меня вначале довольно внимательно, а затем стал время от времени поглядывать на висевший в его кабинете плакат. На плакате, видимо нарисованном кем-то из сотрудников розыска, был изображен похожий на скелет длиннородый старик, которому молодой курносый милиционер в суконном остроконечном шлеме с алой звездой протягивал каравай хлеба. Под рисунком стихи:

Когда ужасно голодали Москва и красный Петроград,  
То вы нас, братья, поддержали,— мы это вам вернем назад.

Взгляд Ефимова был настолько красноречивым, что я наконец не выдержал.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что, когда в Поволжье люди умирают от голода, не следует столько внимания уделять какому-то портрету?

— Нет, не хочу.  
— Почему же ты меня не слушаешь?  
— А ты уже все существенное сказал.  
— Не совсем.  
— Это только тебе так кажется, Василий Петрович. Суть в чем? Надо разыскать. Верно?  
— Верно,— согласился я.

— А остальное — комментарии. Всю жизнь не любил комментарии. А теперь слушай меня. Голод голодом, а искусство искусством. Причем в отличие от искусства голод не вечен. Что же касается плаката, то он меня на одну

мысль навел: не завязать ли нам в один узелок розыски портрета и помощь голодающему Поволжью?

— Не понимаю,— признался я.

— А ты вот эту бумажку прочти — и сразу поймешь. Весьма разумная бумажка.

И Орест Григорьевич протянул мне тот самый циркуляр Наркомюста, с которого вы изволили снять копию.

— Как видишь,— сказал он,— борьба с преступностью стала и борьбой с голодом... Теперь суды, помимо других наказаний, взыскивают также с осужденных деньги и продукты в пользу голодающих крестьян. Почему бы первому русскому солдату не помочь голодающим? Ведь те, что грабили антикварные лавки, да и сам Тарновский, присвоивший государственные ценности, отнюдь не относятся к малоимущим гражданам республики... Как ты считаешь?

Я, конечно, был полностью с ним согласен.

— Но было бы хорошо,— продолжал Ефимов,— если бы ты наших ребят подогрел.

— То есть?

— Ну, понимаешь, одно дело, когда ты просто разыскиваешь какую-то ценность, и совсем иное, когда эта ценность в твоих глазах становится чем-то конкретным. Рассказывать ты мастер. Вот и заинтересуй их самим Бухвостовым, расскажи про историю портрета, про вышивки. В общем, не мне тебя учить. Сегодня я делаю доклад о роли судебных и административных органов в борьбе с голодом. А после меня выступишь ты. Только учти,— усмехнулся Ефимов,— что от качества твоего выступления зависит успех розысков... Ясно?

— Ясно.

— Вопросов нет?

— Нет.

— Тогда желаю тебе хорошо подготовиться к лекции и жду в восемнадцать ноль-ноль.

... И вот в восемнадцать ноль-ноль я уже сижу за столом рядом с Ефимовым в большой овальной комнате, которая меньше всего напоминает пристанище муз.

Бедные музы! Один лишь вид стен обратил бы их в паническое бегство.

Стены комнаты, представлявшей импровизированный криминалистический музей «Учебного кадра» — так именовалась школа уголовного розыска,— были увешаны фотографиями и дагерротипами трупов.

Здесь были удушенники, утопленники, люди, отравленные различными ядами, убитые током, застреленные, зарезанные, задушенные и умело расчлененные на части (отдельно ноги, отдельно голова, отдельно руки, отдельно туловище).

От фотографий была свободна лишь одна стена, но взор не мог отдохнуть и на ней — ножи всех видов и фасонов, кастеты, гири на ремешках, веревочные и проводочные петли, ружья, снова ножи и снова револьверы.

— Великолепные экспонаты, правда? — не без гордости сказал Ефимов.

— Просто замечательные! — с энтузиазмом подтвердил я, опасаясь, как бы меня сейчас не стошнило.

Но ничего, обошлось...

Ну что вам сказать о моей лекции, которую я прочел в тот вечер?

Были у меня выступления и хуже и лучше. Но никогда я так не стремился заинтересовать слушателей, заинтересовать во что бы то ни стало. И это меня чуть не подвело...

Начать я решил с мифа о дочери красильщика Арахне, которую прекрасная и мудрая богиня Афина-Паллада первую из всех женщин земли обучила искусству богов — ткачеству. Но Арахна отплатила своей божественной учительнице черной неблагодарностью. Она чрезмерно возгордилась и вызвала Афины на состязание. Мало того — она победила в состязании и поэтому пала жертвой самолюбивой богини, которая не постеснялась превратить ее в паука.

Откуда я мог знать, что сидящий в первом ряду русоволосый парень с кольцом у пояса агент второго разряда Петренко не только сотрудник уголовного розыска, но и руководитель кружка «Милиционер-безбожник»? Еще меньше я мог подозревать, что Петренко воспримет миф об Арахне как злостную попытку подорвать в Петрогуброзыске основы атеистической пропаганды.

Но увы! Как рассказал мне Ефимов, Петренко после лекции заявил: «Мы интернационалисты, а потому коллективно плюем на всех богов и богинь вне всякой зависимости от их расы или, к примеру, национальности. А до ткачества и вышивания наши бабы, в смысле полноправные женщины, своим умом дошли, без божеских поучений. И стыдно профессору всякую зловредную идеологическую тень на плетень наводить».

К счастью, Петренко не поддержали. Да и я, почувствовав во время лекции что-то неладное (Петренко так трубно высморкался, что меня это насторожило), постарался побыстрее закончить с мифологией и перейти к древним египтянам и персам.

Я рассказал об Александре Македонском, который, придя в восторг от украшенного богатыми вышивками шатра побежденного им персидского царя Дария, заказал для себя искусным киприоткам плащ с изображением всех своих побед. Упомянул о золотых вышивках на одеждах римских императоров и рассказал о том, как властелин Византии Юстиниан, желая наладить у себя в стране производство шелка, отправил в Китай двух монахов-миссионеров, которые, похитив там шелковичных червей, тайно привезли их в своих бамбуковых, полых внутри, посохах в Константинополь.

Петренко, на которого я время от времени поглядывал, удовлетворенно кивнул головой («Вот это верно, монахи — они такие, вор на воре»).

Аудитория была дисциплинированная, сидели тихо, только поскрипывали стульями. Но по лицам я видел — скучновато. «Зажечь ребят» я не смог. Не получилось.

Первые проблески интереса появились, когда я стал говорить о Меншикове.

Сподвижник Петра I симпатий к себе не возбудил.

Да и что могло слушателям понравиться в «герцоге Ижорском»? Из бедняков, чуть ли не пролетарского происхождения, а выбрался в князья да герцоги — и тут же забыл о своих братьях по классу, стал крепостником, эксплуататором, казнокрадом. Таких перерожденцев в революцию к стенке ставили. И справедливо.

Другое дело Бухвостов. К нему слушатели сразу же прониклись симпатией. И я их понимал: свой! Он подкупал тем, что никогда не искал теплого местечка, был храбр, мужествен, справедлив и всегда готов, «не жалея живота своего», принять смерть за Россию.

Большинство моих слушателей, прошедших горнило гражданской войны, хорошо знали тяжелую солдатскую долю — холодную ярость штыковых атак, кровавое пламя артиллерийской канонады, разбойничий посвист пуль, тоску по дому и горький дым костров во время коротких привалов. Да и сейчас — разве они не солдаты? Не зря милицию называют младшей сестрой Красной Армии.

Тот же фронт. И раненые, и убитые, и пропавшие без вести...

Солдатская доля, солдатская жизнь!

А Бухвостов между тем сам в солдаты записался, как и они, добровольно, никто его не неволил. Ни наград не искал, ни доходов — какие там доходы! Сознательным был, за родину душой болел, за справедливость. Мы в гражданскую Антанте прикурить дали, а он в те поры шведом огонек поднес. Тоже вроде интервентов были. Ишь, куда добрались — до Полтавы... А натерпелся-то, видно, бедолага — ни в сказке сказать, ни пером описать!

Так протянулась через века незримая ниточка от первого российского солдата Бухвостова и битв, в которых он своей широкой богатырской грудью Ильи Муромца прикрывал Русь от врагов, к бойцам-добровольцам внутреннего фронта, фронта борьбы с бандитами и со всеми теми, кто мешал народу России жить и работать.

Как-никак, а мои слушатели были потомками первого российского солдата...

И, поняв это, я отложил в сторону план лекции.

Теперь я говорил лишь о Бухвостове, причем говорил о нем как о нашем общем знакомом — Сергее Леонтьевиче. И чем больше я о нем рассказывал, не забывая следить за напряженными и зачарованными лицами своих слушателей, тем больше Бухвостов становился похожим на них своей бескорыстностью, готовностью отдать последний кусок хлеба товарищу (тому же голодающему крестьянину Поволжья), кристальной честностью и аскетизмом.

Меня не смущало, что создаваемый мною образ весьма приблизительно соответствовал исторической правде.

Вряд ли, конечно, первый русский солдат задумывался над вопросами социальной справедливости, защищал крепостных от притеснений помещиков, резал правду в глаза бесильному Меншикову, вылавливал разбойничьи шайки, которые грабили землекопов в строящемся Петербурге, и корил царя за жестокое обращение с простым людом.

Но, импровизируя жизнь и образ Бухвостова, я не только не испытывал неловкости, но даже немного гордился силой своего воображения.

Почему?

Да потому, что я понимал, что моим слушателям первый российский солдат дорог именно таким, каким я его изобразил.

И думаю, ежели бы Бухвостов в тот момент воскрес и каким-либо чудом оказался в Петрогуброзыске, он бы не протестовал против искажения истории, не гаркнул зычно: «Слово и дело!» Нет. Проявив должное понимание сложившейся обстановки, он бы промолчал. А после окончания лекции расправил бы свои лихие усы и сказал бы: «Все правильно, товарищи красные милиционеры! Все так и было: там — шведы, турки, персы и прочая Антанта, здесь — лихоимцы, купцы-кровососы, крупные землевладельцы, разбойники да бояре-эксплуататоры... Очень точно обрисовал лектор наше проклятое прошлое. А теперь, дорогие товарищи, поблагодарим лектора — и за дело. Пора, друзья, пора... Шутка ли, в Поволжье голод, как при царизме, здесь, в Петербурге, тоже черт те что творится: вконец лиходеи обнаглели — грабят, убивают, крадут... Я в таких случаях время попусту не терял, не дожидаясь, куда горнист протрубит... Солдат — он навсегда солдат. А ведь в каких условиях приходилось свой солдатский долг исполнять? Врагу не пожелаю. Крепостничество, пропади оно пропадом, феодализм проклятый, монархизм... Правду сказать, монарх-то наш Петр Алексеевич был вроде из передовых, прогрессивных, с головой был монарх и не белоручка, не зазря Великим прозвали — что было, то было, чего там, — а все ж деспот: трон, корона и все такое прочее, да и руками волю давал... чуть что — за дубинку. Недооценивал разъяснительной работы, пропаганды и опять же агитации. Ни в какую не доверял массам. Так что сами понимаете...»

Но так как чудес не бывает, то похожие слова после моего выступления сказал не Бухвостов, а Орест Григорьевич Ефимов. Он же зачитал уже знакомое вам решение общего собрания сотрудников 3-й бригады Петрогуброзыска и преподавателей «Учебного кадра», которое было принято единогласно.

А затем Ефимов познакомил меня с инспектором 3-й бригады Сергеем Сергеевичем Борисовым, седоватым человеком с внимательными серыми глазами, который наминал мне своим чеканным лицом одного известного дореволюционного артиста.

— Рад познакомиться, — сказал Борисов. — И с вами и с Бухвостовым.

Орест Григорьевич улыбнулся:

— Ты так расписал Бухвостова, что Борисов не прочь зачислить его в свою бригаду.

— А что? — поддержал я шутку. — По-моему, лихой бы милиционер из Сергея Леонтьевича получился.

— Лихих у нас и так достаточно, — сказал Борисов, — с умелыми нехватка.

Сергей Сергеевич, как я понял, уже ознакомился с материалами по ограблению антикварной лавки Тарновского. Он меня подробно расспросил о коллекции Шлягина, о самом Шлягине, о моей встрече и разговоре с ним, о подробностях ночного визита Тарновского и Варвары Ивановны, о Генри Мэйле, который в свое время хотел приобрести у Шлягина портрет Бухвостова. Затем Борисов спросил:

— Вам Тарновский говорил, от кого он ждал телеграмму в тот вечер?

— Нет, — сказал я. — Я вообще не уверен, что он ожидал телеграмму.

— Твердой уверенности у меня тоже нет, — признался Борисов. — Но ведь Тарновский будто не из храбрых?

Я не удержался от улыбки. Большого труса мне встречать не приходилось. Он боялся всего: хулиганов, случайных знакомств, лошадей, машин, крыс, сырой воды, собак, простуды, инфекции... Свою квартиру он превратил в неприступную крепость со сложной и хитроумной системой замков, крючков, засовов и цепочек.

— Вот именно, — выслушав меня, кивнул Борисов, — неприступная крепость, как вы выразились. В протоколе осмотра отмечено большое количество запирающих устройств на входной двери и две кованые железные цепочки. Но Тарновский, насколько я понял, цепочками не воспользовался, а сразу же открыл дверь.

— Совершенно верно. Иначе он бы разобрался, что это не почтальон, а налетчики.

— Вот видите, мы уже начинаем мыслить одинаково, — констатировал Борисов. — Потому-то я и предполагаю, что он ждал телеграмму. В противном случае он бы так просто дверь не открыл. Но это между прочим, это я еще уточню с самим Тарновским. А теперь расскажите мне поподробней о вещах, которые хранились в тайнике. Обо всем, кроме портрета Бухвостова, о нем я уже имею исчерпывающее представление: ведь я был на вашей лекции...

Присутствовавший в начале беседы Ефимов, сославшись на дела, давно ушел, а Сергей Сергеевич продолжал задавать мне один вопрос за другим.

Наконец поток вопросов стал иссякать. Воспользовавшись паузой, я спросил, имеются ли у него какие-либо предположения.

Борисов засмеялся:

— Хотите сразу же взять быка за рога? Предположений много, все не перечислишь...

— А наиболее вероятное? Кто мог ограбить Тарновского?

— Видите ли, — сказал Сергей Сергеевич, — я не Шерлок Холмс и не Нат Пинкертон. В провидцы тоже не гожусь... Но, если исключить возможные случайности — а их в нашем деле сотни, — то по почерку похоже на работу Володи Этюдника. Есть такой специалист по антикварным и ювелирным магазинам, гастролер...

— Гастролер?

— Ну да, гастролер. Он к нам на гастроли из Екатеринослава прибыл: уж слишком он наследил там, вот и решил временно переменить место своей деятельности.

— И какие же шансы выловить его, этого самого Этюдника?

— Какие шансы, говорите? — окончательно развеселился Сергей Сергеевич. — Да, наверное, приличные шансы. Если руководил налетом действительно Этюдник, — вставил он свое очередное «если», — то, думаю, наше обязательство мы выполним досрочно: Этюдника Петренко уже три дня «пасет». Не исключено, что вы будете иметь сомнительную честь с ним лично познакомиться в самое ближайшее время... ну, скажем, на следующей неделе. Он в одной «хазе» на Мало-Царскосельском проспекте осел и чуть ли не ежедневно кутит в «Спленидид-Паласе». Так что некоторые ориентиры у нас имеются. В общем, как только будут новости, я вам телефонирую.

Новости не заставили себя ждать. Через день Сергей Сергеевич позвонил мне на работу:

— Если хотите побеседовать с Этюдником, приезжайте.

— Когда?

— А хоть сейчас. Его должны ко мне привести. Но ни слова Тарновскому.

Я бросил все свои дела и помчался в Петрогуброзыск.

У двери кабинета Борисова переминался с ноги на ногу конвойный.

Значит, Этюдник уже здесь. Я постучался.

— Войдите! — крикнул из-за двери Борисов.

Налетчик, худощавый, одетый по последней нэпмановской моде молодой человек с густо набриолиненными волосами, сидел на стуле перед Сергеем Сергеевичем, скудно глядя в потолок и небрежно вытянув длинные ноги в узконосых штиблетах.

— Чего уставился, четырехглазый? — злобно спросил меня Этюдник. — При стеклышках, а туда же, в лягаши...

— Только не хами, Вовочка, — предупредил его Сергей Сергеевич и перевел: — Вовочка хотел вам сказать, что при такой, как у вас, интеллигентной внешности вы могли бы найти себе более благородное занятие, чем работу в Петрогуброзыске, где вам приходится иметь дело со всякой шантрапой вроде него. Он вас принял за нашего сотрудника.

Я кивнул головой: все понятно, дескать.

— А теперь по существу, — сказал Сергей Сергеевич, обращаясь к задержанному. — Искренность украшает любого человека, в том числе и налетчика с мелкобуржуазным происхождением. Признаешь, что брал лавку Тарновского?

— Лавку? — переспросил Вовочка. — Кобелий закуток!

— Вовочка хочет сказать, — вновь перевел для меня Сергей Сергеевич, — что, учитывая скудость ассортимента антикварных изделий и их незначительную ценность, торговое заведение Тарновского нельзя именовать лавкой. Так брал этот закуток?

— А чего не взять, что плохо лежит?

— Значит, брал?

— Брал.

— А с кем?

— С корешами.

— С кем именно?

Налетчик задумался и наморщил лоб.

— И долго мы будем ждать?

— Долго, — злорадно сказал Вовочка.

— Запоматывал? — с участием спросил Сергей Сергеевич.

— Начисто.

— Не украшает, значит, тебя искренность?

— А я и без украшений парень хоть куда.

— Понятно, — сказал Сергей Сергеевич и перевел: — Вовочка хочет сказать, что у него провал в памяти, но,

посидев немного в арестном доме и побеседовав на очных ставках со свидетелями, он постарается восстановить все подробности происшедшего и рассказать о них. А пока он, как и подобает воспитанному человеку, извиняется за напрасно отнятое у нас время и просит отправить его в камеру. Так, Вовочка?

Вечером мне позвонил Тарновский. Помня о предыдущем Борисова, я ему ничего не сказал, хотя и не понимал, почему следует умалчивать об аресте Этюдника, который признался в ограблении. Впрочем, меня волновало не столько это обстоятельство, сколько другое, более существенное: удастся ли разыскать портрет Бухвостова. К тому времени Ефимов торжественно вручил мне протокол общего собрания сотрудников 3-й бригады, где черным по белому было написано: «Заверить красного профессора истории изящных искусств тов. Белова В. П., что в самое ближайшее время портрет С. Л. Бухвостова, который, как явствует из прочитанной лекции, является ценным для пролетариата произведением дореволюционного рабоче-крестьянского искусства, займет положенное ему место в музее «Общества поощрения художеств и популяризации художественных знаний при Российской Академии материальной культуры», где будет вдохновлять раскрепощенный народ на Всемирную революцию».

«Заверить»...

Мне очень хотелось поверить этому заверению, но ситуация отнюдь не внушала оптимизма.

Свой «провал в памяти» Этюдник, правда, восстановил довольно быстро, чуть ли не на следующий день. Его воспоминания о посещении лавки Тарновского заняли добрых двадцать страниц убористого текста. Налетчик подробно рассказал, как он вместе с Подорожником и Федькой Лысым, который был наводчиком, ограбил лавку, перечислил похищенное, рассказал, где оно хранится (налетчики успели продать лишь незначительную часть добычи). Но среди изъятого в подвале дома по Мало-Царскосельскому проспекту не было ни коллекции старинных монет, ни кружев, ни гобеленов, ни портрета Бухвостова...

Этюдник утверждал, что этих вещей он в лавке даже не видел.

Конечно, в лавке он и не мог их увидеть — они хранились в тайнике...

Тайник? Какой тайник? Разве там был тайник? Нет,



ни о каком тайнике он не слыхал. Чего уж тут темнить: семь бед — один ответ. Червонец ему и так и так через решеточку светит. Нет, тайник они не брали. Чего не было, того не было. Как на духу, век свободы не видать. Точно — не знал про тайник, а потому и не шуровали там. Ежели гражданин начальник какое сомнение имеет, пусть у Федьки Лысого, что лавку давал, или у Подорожника справится. Он их заложил, потому выгораживать они его не будут, уж скорей топить зачнут. Так что тут без сомнения, на просвет. Ежели что — заделают. Пусть гражданин начальник справится, а он, Этюдник, с полным чистосердечием и с любовью к Советской рабоче-крестьянской власти колется, как грецкий вроде бы орех колется, на две половинки, без крошек.

«Гражданин начальник» справился — соучастники Этюдника полностью подтвердили его показания: о тайнике они ничего не знали...

«Провал памяти» у всех троих? Не похоже.

Я никогда не считал себя психологом, а тем паче специалистом по психологии уголовников. Но ведь должна быть какая-то логика в поведении арестованных, зачем им врать? Какую реальную пользу могут они теперь из этого извлечь? Да и показания свидетелей не сбросишь со счета...

Но если все они говорят правду, то тогда что же — тупик?

Мне казалось — и совершенно напрасно, — что Сергей Сергеевич тоже растерян и не знает, что ему дальше предпринимать. Во всяком случае, на все мои недоуменные вопросы он лишь пожимал плечами: существуют-де и другие версии, поживем — увидим.

А что мы увидим?

Ожидание, ожидание и ожидание...

Томительно тянулось время. И никаких новостей — ни больших, ни малых...

\* \* \*

Как в дальнейшем выяснилось, Василий Петрович ошибался; каждый день приносил известия, имеющие прямое отношение к вещам, похищенным из тайника. Но ни Борисов, ни Ефимов не считали тогда целесообразным ставить его об этом в известность.

Предположения Сергея Сергеевича Борисова подтвер-

дились: Тарновский действительно ждал телеграмму. И эту телеграмму ему доставили на квартиру как раз в тот день, когда Этюдник счел за благо восстановить в памяти все подробности своего ночного визита в антикварную лавку.

Тарновского не оказалось дома, и за телеграмму расписалась Варвара Ивановна, пообещав сразу же вручить ее адресату, как только тот появится.

— Только не забудьте! — сказал знакомый почтальон. — Телеграмма-то не какая-нибудь — срочная, из Москвы.

— Можете не беспокоиться, — успокоила его Варвара Ивановна, — не забуду. Пока на память не жалуюсь.

Однако домоправительница Тарновского, видимо, все-таки забыла...

Полученная ею телеграмма не была передана хозяину ни в тот день, ни на следующий...

А четыре дня спустя вернувшемуся после допроса из Петрогуброзыска Тарновскому пришлось самому разогревать себе обед: Варвара Ивановна уехала навестить свою внезапно заболевшую тетку, жившую где-то на окраине Петрограда.

Но у тетки Варвара Ивановна в тот день не была.

Выйдя на улицу, она, видимо, в последнюю минуту раздумала. Варвара Ивановна отправилась не к больной, а в противоположную сторону, к гостинице «Европейская».

Со стороны Невы дул сильный ветер. И пока Варвара Ивановна дошла до гостиницы, она до костей промерзла. Тем не менее она вовсе не торопилась поскорей войти в теплое помещение и еще долго стояла, закутавшись в платок, на ветру у подъезда.

Только окончательно убедившись, что за ней никто не наблюдает, домоправительница Тарновского юркнула наконец в подъезд.

Последний раз Варвара Ивановна была здесь вместе с мужем лет десять назад, вскоре после того, как они вернулись в Россию из Парижа. Здесь останавливался старший брат мужа Павел, сибирский золотопромышленник, приехавший в Петербург проверить какое-то дело, а заодно и покутить. Что-то, а кутить Павел умел — с блеском, сибирским размахом и европейским изысканным шиком. Павла в гостинице хорошо знали и к его приезду заранее готовились. К его услугам всегда были лучший номер, свежие спаржа и артишоки, старый

португальский портвейн в узкогорлых бутылках и волжская паровая стерлядь колючиком.

Да, умерший в Омске в девятнадцатом году от сыпного тифа Павел умел пожить, царствие ему небесное!

За прошедшие десять лет в холле гостиницы, пожалуй, ничего не изменилось: тот же располагающий к уюту и сибаритству мягкий полумрак, пушистые, пружинящие под ногами ковры, дорогая массивная мебель...

А вот сама Варвара Ивановна за эти десять лет сильно изменилась — увяла, постарела... Но главное, пожалуй, не в этом, хотя кому приятно стариться. Нет, не в этом главное. Тогда Варвара Ивановна пришла сюда в платье, сшитом у модной парижской портнихи, в бриллиантовом колье, в туфлях из крокодиловой кожи.

А как же иначе? Дочь известного петербургского богача и коллекционера Ивана Ферапонтовича Шлягина, жена любимца великого князя Николая Николаевича полковника Сибирцева, который вот-вот будет произведен в генералы.

Быть принятым в доме Сибирцевых считалось честью, великой честью.

Балы, журфиксы, театры, рысаки, цветы, драгоценности, круизы...

И все прахом, все растаяло, как ледяная сосулька на солнце, — положение в обществе, беззаботная жизнь, богатство, праздность... Муж убит еще в мировую войну где-то в Пинских болотах, отец в эмиграции — жив ли? — а она теперь кто? Комок глины, который каждый хам мимоходом растопчет и не глянет даже. Домоправительница у этого жулика Тарновского, который прикарманил, воспользовавшись удобным случаем, отцовское собрание древностей. И за это должна благодарить бога. Ведь ежели бы Тарновский знал, что она дочь Ивана Ферапонтовича Шлягина, ни за что бы не пригрел, побоялся бы...

«И не зря бы побоялся», — усмехнулась Варвара Ивановна.

Но что тосковать о прошлом, которое не вернешь? Надо думать о будущем.

И, работая у Тарновского, Варвара Ивановна думала об обеспеченном будущем. Долго она терпела, и вот тот самый случай, который обеспечит ее старость.

Нет, она не украла у Тарновского, она взяла то, что принадлежит ей по праву как дочери Ивана Ферапонтовича Шлягина. Так, и только так. Правда, в тайнике у

Тарновского хранилась не только собственность отца Варвары Ивановны. Там еще были старинные монеты. Но что она могла сделать? Если бы она их оставила, это наверняка бы возбудило подозрение. А так все считают, что тайник опустошили налетчики.

Осторожно ступая по ковру стоптанными, заляпанными грязью туфлями, Сибирцева прошла к столику портье. Багровея от стыда за свой вид, Варвара Ивановна сказала, что хочет навести справку. Ее интересует, прибыл ли сегодня из Москвы сотрудник «АРА»<sup>1</sup> мистер Генри Мэйл, которому должны были заказать номер.

Гладкий, откормленный портье в золотых старомодных очках окинул бесцеремонным оценивающим взглядом всю ее неказистую, жалкую фигуру в мятом, лоснящемся на швах пальто. И Варвара Ивановна вновь покраснела.

— Мистер Мэйл? Минутку... — Он перелистал страницы лежащей перед ним книги регистрации гостей. — Да, мистер Мэйл проживает в гостинице.

Варвара Ивановна сказала, что американец назначил ей встречу.

— А мадам не ошибается? — нагло спросил портье. Насколько ему известно, мистер Мэйл никого не ждет.

Нет, мадам не ошибается. Мадам уверена, что мистер Мэйл захочет ее принять.

— Вот как? — Портье в нерешительности пожевал губами и наконец спросил: — Как прикажете доложить?

— Скажите, что от Тарновского.

— От Тарновского?

— Да, он знает.

— Что ж, если мадам настаивает...

Портье позвонил по телефону, и уже через несколько минут в холл спустился секретарь мистера Мэйла, любезный и жизнерадостный молодой человек в мохнатом костюме. Он проводил Варвару Ивановну в номер, где остановился американец.

Номер был большой, трехкомнатный, с зимним садом. Точно такой же номер снимал здесь Павел. Нет, не такой же, а именно этот.

Но вот и мистер Мэйл, пожилой, седоватый, с внимательными серыми глазами и обаятельной улыбкой чело-

<sup>1</sup> «АРА» — сокращенное наименование «Американской администрации помощи», благотворительной организации, которой в 1921 году в связи с голодом была разрешена деятельность в РСФСР.

века, никогда не знавшего голода, холода и унижений.

Улыбка означала, что мистер Мэйл счастлив видеть Варвару Ивановну, хотя и не имеет чести ее знать, что он доволен жизнью, своим секретарем и предстоящей беседой.

— Мне передали, что вы хотите меня видеть. Я к вашим услугам.

Мистер Мэйл настолько хорошо владел русским, что переводчик им не требовался. Это устраивало обоих: уж слишком деликатной была тема предстоящей беседы.

— Я вас слушаю.

Варвара Ивановна откашлялась, как неопытный оратор перед ответственным выступлением.

— Одиннадцать лет назад, господин Мэйл, вы изъявляли желание приобрести вышитый шелком портрет первого российского солдата, а также некоторые другие экспонаты из собрания Шлягина,— неуверенно начала она, когда секретарь вышел.— Теперь, как вам уже известно из письма моего доверителя, которое было передано вам в Москве, вы имеете возможность осуществить эту сделку, если, разумеется, предложенная вами цена будет приемлемой.

— Для кого приемлемой? — пошутил Мэйл, ослепляя Варвару Ивановну своей неотразимой улыбкой.

— Для моего доверителя, понятно, господина Тарновского.

— Что же для него приемлемо?

— Господин Тарновский оценивает портрет Бухвостова в двадцать пять тысяч долларов.

— Недурно. А сколько он хочет получить за гобелены и кружева?

— Пятнадцать тысяч. Собрание же старинных русских монет он готов уступить вам тоже всего за пятнадцать...

— Долларов?

— Да, тысяч долларов...

— Итого пятьдесят пять тысяч?

— Совершенно верно,— несколько ошеломленная получившейся суммой, подтвердила Варвара Ивановна,— пятьдесят пять тысяч долларов. Согласитесь, что господин Тарновский проявляет умеренность. Подлинная цена этих вещей по меньшей мере в четыре раза больше. Таким образом, вы сможете получить триста процентов прибыли.

Мистер Мэйл вновь ослепил Варвару Ивановну улыбкой:

— Один ваш поэт писал, что русская женщина способна остановить любую скачущую лошадь и войти во время пожара в дом. Слушая вас, я понял, что он пересчитал не все главные достоинства русских женщин. Как выяснилось, они умеют еще и торговаться. Это значительно важнее, чем выполнять обязанности конюха или пожарника, ответственной. У нас, к сожалению, женщины — всего лишь хранительницы домашнего очага. Не могу не позавидовать господину Тарновскому, ему повезло с таким умелым поверенным. Но, называя сумму, вы забыли про одно немаловажное обстоятельство: риск, которому я подвергаюсь. Для того чтобы получить триста процентов прибыли, необходимо прежде всего вывезти приобретенное из пределов Советской России. А это, поверьте, труднее, чем остановить скачущую лошадь или погасить пожар.

— Но вы же работаете в «АРА».

— Это дает мне лишь право беспошлинного ввоза товаров в Россию, но не право беспрепятственного вывоза музейных ценностей.

— Тем не менее сотрудники «АРА» их вывозят,— возразила Варвара Ивановна.

— Да, однако это сопряжено с риском. Но оставим пока цифры. До них мы еще доберемся,— сказал Мэйл, продолжая щедро одаривать свою собеседницу улыбками.— В своем письме господин или, как теперь принято в России, гражданин Тарновский писал, что не желает никаких посредников. И вот теперь такая неожиданность, правда приятная, но все-таки неожиданность — вы его представительница. Мне бы хотелось внести необходимую ясность. Поэтому, если вас не затруднит...

Варвара Ивановна не смутилась. Она была к этому готова и заранее подделала письмо-доверенность Тарновского.

— Господин Тарновский,— объяснила она,— к сожалению, вынужден был лечь в больницу на операцию, поэтому он не имеет возможности лично навестить вас. Но он не забыл про необходимые формальности,— и она протянула Мэйлу конверт.

Американец небрежно вскрыл его.

— Вот теперь мы можем вернуться к цифрам,— сказал Мэйл, прочитав письмо, и одарил Варвару Ивановну очередной улыбкой.— Признаюсь вам честно, если бы здесь сидели не вы, а господин Тарновский, я бы предложил за все десять тысяч долларов и ни цента

больше.— Теперь мистер Мэйл уже не улыбался.— Но... как это по-русски?... притеснять женщин да еще таких обворожительных не в моих правилах. Я джентльмен. Вы получите с Тарновского комиссионные?

— Да,— выдавила из себя Варвара Ивановна.

— Сколько процентов от суммы сделки?

— Пятнадцать.

— Приличный процент,— улыбнулся Мэйл.— Оказывается, господин Тарновский тоже джентльмен. Это делает ему честь. Итак,— он выдержал паузу,— я предлагаю двадцать тысяч долларов и десять тысяч в советских червонцах.

Варвара Ивановна отрицательно мотнула головой.

— Тогда очень сожалею,— сухо сказал Мэйл и встал.— Передайте господину Тарновскому мои соболезнования.

Но когда Варвара Ивановна усилием воли заставила себя встать и взяться за ручку двери, американец оставил ее:

— Тридцать тысяч долларов и пятнадцать тысяч рублей.

Варвара Ивановна почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Теперь ее жизнь обеспечена. Но одному богу известно, сколько все это ей стоило.

— Согласны?

— Согласна,— прошептала она и на ватных ногах вернулась на место.

Теперь оставалось обговорить лишь техническую сторону сделки. Это уже было значительно проще. Договорились встретиться завтра в шесть часов вечера у модного среди нэпмачей театра-ресторана «Гротеск», куда Мэйл должен был привезти деньги, а Варвара Ивановна — чемодан с вещами, которые хранились у ее ничего не подозревавшей тетки, родной сестры Шлягина.

— Только не опаздывайте, господин Мэйл,— предупредила американца Варвара Ивановна.— Я всего опасаюсь и не хотела бы рисковать.

Мэйл понимающе кивнул.

— Я буду там со своим секретарем еще до вашего приезда. Риск исключен,— заверил он.

— Тогда до завтра.

— С богом!

Мэйл проводил ее до дверей, одарив на прощание своей самой обворожительной улыбкой.

Когда на следующий день Сибирцева на лихаче подъехала к «Гротеску», ее уже ждали, но не улыбочный американец и его обходительный секретарь, а сотрудник уголовного розыска, агент второго разряда Петренко, тот самый Петренко, который руководил атеистическим кружком «Милиционер-безбожник» и чуть было не сорвал лекцию Василия Петровича, придравшись к мифу о злощастной Арахне...

— Вы арестованы, гражданка. Пройдемте со мной,— сказал он, взяв ее под руку.

— Что это значит? — вскинулась Варвара Ивановна, чувствуя, что совершилось непоправимое.

— На месте все узнаете.

Петренко любезно подсадил Варвару Ивановну в ожидавший их автомобиль Петрогуброзыска и, передав шоферу чемодан Сибирцевой, коротко сказал:

— Поехали, Вася.

\* \* \*

— В тот вечер,— продолжал свой рассказ Василий Петрович,— Ефимов позвонил мне по телефону в девятом часу, когда я, вернувшись с работы, сел за статью, которую уже давно обещал одному научному журналу. Звонок явно был некстати.

— Чем занимаешься?

— Работаю.

— А у меня предложение: бросай свою работу и приезжай ко мне в розыск. Поговорим, чайку попьем.

Я замаялся.

— Приезжай, приезжай. Не пожалеешь. Очень симпатичная компания подобралась...

— Какая еще компания?

— Я, Борисов и Сергей Леонтьевич...

— Какой Сергей Леонтьевич?

— Как — какой? Сергей Леонтьевич Бухвостов, твой старый знакомый, о котором ты нам все уши прожужжал. Первый российский солдат...

У меня мгновенно пересохло во рту.

— Шутишь?

— Какие, к черту, шутки! Ждем.

...И вот я вхожу в комнату Ефимова.

Действительно, здесь, помимо хозяина кабинета и Сергея Сергеевича Борисова, меня встречает собственной

персоной первый российский солдат, занявший почетное место на стене против входной двери. Его спокойные, широко расставленные глаза устремлены прямо на меня.

«Ну как, Василий Петрович, свиделись?» — «Свиделись, Сергей Леонтьевич, свиделись. А ведь никак не ожидал». — «Почто так? Как говаривал господин бомбардир Петр Лексеевич, царствие ему небесное, гора с горой не сходятся, а человек с человеком завсегда... Вот только постарел ты малость с последней нашей встречи, Василий Петрович». — «Зато вы, Сергей Леонтьевич, ничуть не изменились...»

Бухвостов на портрете был таким же молодым, как в битве при Полтаве, когда демонстрировал «Карле» мощь русского оружия. Он ничуть не изменился с далеких времен Петра Великого и Екатерины, светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова и Петра II, Анны Иоанновны и Екатерины II... Сколько их там было, всяких царей, цариц и вельмож, — разве упомнишь?

Ему не прибавили морщин ни ссылка в Раненбург и Березов, ни возвращение в Петербург, ни заключение его хозяев. Русский солдат — он всегда русский солдат. Русский солдат — он вечен. Годы, эпохи, войны и столетия над ним не властны.

Приветствую твое возвращение, Сергей Леонтьевич, и низко тебе кланяюсь. Счастлив тебя вновь увидеть, Сергей Леонтьевич!

Ефимов рассказывал, как на допросе в уголовном розыске Тарновский признался Борисову в своей попытке продать портрет мистеру Мэйлу, о Варваре Ивановне, решившей воспользоваться ограблением лавки в своих целях, о том, как Борисов подготовил операцию...

Но я слушал вполуха, не в силах оторвать глаз от шелкового портрета, вновь и вновь удивляясь тонкости и виртуозности мастерства безвестных вышивальщиц, необычному таланту такого же безвестного, как и они, художника, гармоничности колорита и сдержанной силе рисунка.

— Будем пить чай? — спросил Ефимов, кивнув на стоящий в углу комнаты самовар.

— Что?

— Чай, спрашиваю, будем пить?

— Да, пожалуй, не стоит, — сказал я и спросил: — А Мэйла и его секретаря вы тоже арестовали?

Ефимов и Борисов переглянулись: видимо, я что-то прослушал.

— Мистер Мэйл, — сказал Ефимов, — после беседы в Московском уголовном розыске, которая была с ним там проведена по нашей просьбе, решил от поездки в Петроград воздержаться.

— И все-таки приехал?

— Нет.

— Ничего не понимаю! Ведь ты только что говорил, что Сибирцева приехала к Мэйлу в гостиницу и он собирался приобрести у нее все ценности, похищенные из тайника.

— Правильно, — невозмутимо подтвердил Ефимов.

— Что правильно?

— Все правильно. Действительно Сибирцева не сомневалась, что разговаривает с Мэйлом. И, доставленная в Петрогуброзыск, крайне была удивлена тем, что Мэйл вовсе не Мэйл, а наш работник...

На мгновение я даже забыл про портрет Бухвостова.

— Кто?!

— Наш работник, — повторил Ефимов, — незабываемый тебе Сергей Сергеевич Борисов. Тот самый Борисов, который сейчас сидит перед тобой и напрасно ждет, когда ты в знак благодарности догадаешься наконец пожать ему руку. А роль секретаря американца сыграл — и, по мнению Сергея Сергеевича, совсем недурно — агент третьего разряда Вербицкий. Как видишь, сотрудники третьей бригады Петрогуброзыска умеют выполнять свои обещания. А ты небось сомневался?

\* \* \*

Василий Петрович вложил в папку документы и старую фотографию. Взглянул на часы:

— Однако мы с вами засиделись...

Он поставил папку в один из ящиков картотеки. Разминая затекшие от долгого сидения ноги, прошелся, ссутулясь, по комнате. Устало и буднично сказал:

— Вот, пожалуй, и все. Суд состоялся незадолго до годовщины Рабоче-крестьянской милиции, в октябре 1922 года. Тарновского и Сибирцеву судили по статье 188-й Уголовного кодекса РСФСР за сокрытие памятников старины и искусства, подлежащих передаче государству.

Их осудили условно. Одновременно в соответствии с циркуляром Наркомюста № 14 со всех осужденных, в том числе и с налетчиков, были взысканы в пользу голодающих весьма солидные штрафы. По справке Комиссии Помгола, которую мне показывал Ефимов, эти деньги дали возможность спасти от голодной смерти около ста человек.

Так что первый русский солдат с помощью сотрудников Петрогуброзыска отличился и на фронте борьбы с голодом...

Что же касается портрета, то он после реставрации был выставлен в музее «Общества поощрения художеств и популяризации художественных знаний при Российской Академии материальной культуры».

Я поинтересовался дальнейшей судьбой портрета.

— Погиб,— сказал Василий Петрович.— Осенью двадцать четвертого года во время наводнения в Петрограде.— И, словно оправдываясь перед кем-то, объяснил: — Ничего нельзя было сделать. Тогда снесло несколько мостов, и музей оказался совершенно отрезанным. Погибли не только картины, но и люди. От одних воспоминаний сердце сжимается. И все же... И все же за те полтора года, что портрет Бухвостова находился в нашем музее, он доставил радость тысячам петроградцев, ту великую радость, которую дает лишь подлинное искусство.



## КОГДА АНГЕЛ ИГРАЕТ НА АРФЕ...

В рассказе Василия Петровича присутствовали: фаворитка французского короля мадам Помпадур, алхимик и парфюмер Лоренцо Менотти, с одинаковым искусством изготавливавший самые ароматные духи и самые надежные яды, русская императрица Елизавета Петровна и бесподобный маг Фальери, который умел превращать зиму в

лето, а весну — в осень. В нем было все, кроме ангела, играющего на арфе... Но, во-первых, рамки любого рассказа ограничены, а во-вторых, оказавшийся в заглавии ангел все-таки присутствовал во время нашей беседы. Он пристроился на старинном хрустальном флаконе с остроконечной пробкой. А именно этот флакон и послужил поводом к рассказу.

— Для духов, разумеется, создавались и более изящные сосуды. Но ни у одного из них не было такой богатой биографии, как у нашего флакона, — сказал Василий Петрович и, одобрително кивнув неутомимому ангелу, который уже два века не расставался со своей арфой, спросил: — Как вы думаете, сколько лет насчитывает искусство косметики и парфюмерии?

— Представления не имею.

— А все же?

По веселому блеску в глазах Василия Петровича легко было понять, что на столетия скупиться не следует.

— Веков десять — пятнадцать?

Он отрицательно покачал головой.

— Два тысячелетия?

— Нет, побольше.

— Четыре тысячи лет?

Василий Петрович был явно не в восторге от моей фантазии.

— Палочки губной помады, — назидательно сказал он, — были найдены археологами в доисторических пещерах, голубчик. Да, в пещерах. Чем люди научились пользоваться раньше, огнем или помадой, — это еще вопрос. Во всяком случае, неандертальцы знали по меньшей мере семнадцать косметических красок, а это, согласитесь, не так уж мало. «Четыре тысячи лет»! Четыре тысячи лет назад был золотой век косметики.

Древнеегипетские красавицы, чьи мумии ныне покоятся в различных музеях мира, пользовались великолепными розовыми и красными лаками для маникюра, румянами и помадами.

А о парфюмерии и говорить не приходится. Благовония, которые чаще всего приготавливали из цветов, считались необходимой принадлежностью дома. Во время пиров у Клеопатры лепестками роз усыпали пол, а гирляндами этих цветов украшали стены и колонны. Розовой водой струились многочисленные фонтаны, а гости в розо-

вых венках возлежали на розовых подушках и пили розовое вино из увитых розами кубков...

Дань косметике отдали Финикия, Египет, Эллада, воинственный Рим и Византия.

Первая модница своего времени, византийская императрица Феодора держала при себе целый штат косметологов и парфюмеров. На сделанном из цитрусового дерева туалетном столике императрицы стояли сотни флаконов и баночек с самой разнообразной косметикой. Выкрашенные в голубоватый цвет волосы Феодоры были усыпаны тончайшей золотой пудрой, а благоуханное туалетное мыло ей специально привозили из Испании...

Кстати говоря, косметика вслед за христианством пришла на Русь из той же Византии.

Наши прабабушки умывались отваром овсяной муки, смешанной с белилами, что, по свидетельству летописцев, делало их лица белыми и лучезарными.

Сваренный в воде толченый ячмень заменял нынешний крем от загара. Приготовленное особым способом сорочинское зерно разглаживало морщинки на лице.

Парфюмерию составляли «ячное пиво», «гуляфная водка», росный ладан, розовая вода и перец, ибо, как указывал один из парфюмеров того времени, «перец эфиопский, аще во рту жуем, — благовоние рту наводит».

Русские красавицы удлинляли себе ресницы (для этого существовали специальные «клеельницы») и злоупотребляли гримом.

Боярыни и боярышни красили не только лицо, но и шею, руки. Составленная из металлической сажки с розовой водой черная краска закапывалась даже в глаза. Черные ресницы перекрашивались в белые, а белые — в черные.

Несомненными признаками женской красоты на Руси XVI и XVII веков были белое лицо, красные щеки, тонкие пальцы рук, большие ноги и толстый стан.

В период средневековья искусство красоты в Европе находилось в упадке. А в эпоху Ренессанса две неразлучные сестры — Косметика и Парфюмерия — вновь вернулись на свой благоухающий трон.

Они завоевывали королевские дворцы; неприступные, казалось бы, замки; вторгались в респектабельные дома буржуа и жилища ремесленников. Но они не посягали на сословные перегородки: то, что поощрялось на верхней ступеньке иерархии, запрещалось на нижней.

У каждого сословия были свои наряды, свои украше-



ния, своя косметика. Так определила королевская власть, которая очень опасалась, как бы модистку ненароком не приняли за благородную дворянку, а настоящую принцессу не перепутали с какой-нибудь захудалой графиней, чей замок вот-вот готов развалиться.

Поэтому принцессу, не прибегая к горошине, легко было узнать не только по длине шлейфа (принцессам королевской крови разрешался шлейф до шести метров, а дочерям короля — почти до одиннадцати), но и по яркости румян. Эти румяна так и назывались: «королевские». Поэтому у принцесс, как сообщают братья Гонкур в своей весьма любопытной книге «Женщина XVIII века», были самые пунцовые щеки во всей Франции. Герцогиням и маркизам предписывались более спокойные тона румян. Щеки нетитулованных дворянок напоминали розовую пастилу. А представительницам третьего сословия приходилось проявлять крайнюю умеренность.

Но, обделяя своими дарами третье сословие, Косметика и Парфюмерия были зато в одинаковой степени благосклонны как к женщинам, так и к мужчинам, которые находились при королевском дворе. Каждый придворный должен был не только владеть шпагой, но и кисточкой для косметики. Искусство фехтования, верховой езды и танцев дополнялось искусством накладывать румяна, подводить сурьмой брови, пользоваться миндальными отрубями и красить губы. И герои «Трех мушкетеров» Александр Дюма в промежутках между головокружительными приключениями уделяли немало внимания своей внешности. Если отец д'Артаньяна не позаботился о «косметическом воспитании» своего сына, то д'Артаньян был вынужден срочно восполнять этот пробел, став лейтенантом мушкетеров. Что же касается герцога Букингема, де Тревиля и кардинала Ришелье, то тут уж не может быть никаких сомнений — с косметикой они были знакомы отнюдь не понаслышке... Ничего не поделаешь, перед модой пасуют даже самые отчаянные храбрецы, которым ничего не стоит проткнуть шпагой дюжину противников.

Самой благоденствующей страной косметики и парфюмерии являлась Италия. Но к XVIII столетию она вынуждена была уступить первое место Франции. И русская императрица Елизавета Петровна, плохо разбиравшаяся в географии (увы, она даже не подозревала, что Англия находится на островах), но знавшая толк в косметике, очень хорошо ориентировалась, где зарождается мода и откуда

следует выписывать духи, зеркала, чулки и румяна. Поэтому русский дипломатический агент при дворе Людовика XIV беспрерывно получал от государыни-матушки поручения, не имеющие никакого отношения к его высоким обязанностям. Он каждую неделю высылал в Петербург парижские румяна, духи, пудру и уксусы. По ночам же, скрипя пером и зубами, писал почтительнейшие верноподданнические письма: «А чулки вашему императорскому величеству уже заказал... Стрелки у нех новомодня, а шитых стрелок в здешних европейских краях боле не нашивают, потому как оне показывают ногу гораздо толще...»

Не только русская императрица проявляла повышенный интерес к французским «галантным изделиям». Из всех «европейских краев» в Париж шли заказы на косметику, галантерею и парфюмерию.

Изготавливавшиеся здесь духи высоко ценились и при английском дворе, и при испанском. Ими пользовались светские дамы Австрии, Саксонии, Польши, Пруссии, Голландии и Испании.

— Но,— Василий Петрович выдержал эффектную паузу,— среди флаконов с французскими духами, которые отправлялись в Дрезден, Вену, Петербург, Мадрид, Лондон и Варшаву, не было ни одного с изображением ангела, играющего на арфе. Подобные духи нельзя было приобрести и в самой Франции. Ими пользовалась лишь маркиза де Помпадур, которая, родившись в семье лакея, сумела с помощью короля стать первой дамой в царстве Косметики и получить право употреблять более яркие румяна, чем сама французская королева.

Косметика маркизы, отличавшаяся многообразием и поразительной утонченностью, была верхом совершенства.

И, воспевая алые губы прекрасной маркизы, ее божественные глаза, волосы, щеки, придворные поэты тем самым невольно отдавали дань искусству косметики. А искусство, как известно, требует жертв. Жертвы, правда, в данном случае несла не Помпадур, а Франция, которой косметика фаворитки обходилась в круглую сумму. Если расходы маркизы на покупку книг не превышали двенадцати тысяч франков в год, то на косметику она тратила около четырех миллионов. И злоязычные версальские дамы шутили, что королю легче завоевать мир, чем оплатить бесконечные счета за духи, румяна, пудры и белила.

Когда Помпадур передавали эти высказывания — у маркизы была своя тайная полиция,— она только усме-

халась. Маркиза не сомневалась, что любая из сплетниц готова заложить все свои драгоценности за возможность воспользоваться услугами ее несравненного Лоренцо Менотти, бога косметики и парфюмерии.

Духи «Грезы Версаля», «Берег Слоновой Кости», «Аромат тропического леса», «Орхидей», румяна «Зори Эллады», белила «Легконогая Диана», пудра «Феодора» и «Карнавал в Венеции» — баночки и флаконы с этими волшебными атрибутами красоты можно было увидеть только в лаборатории Лоренцо Менотти и будуаре фаворитки французского короля.

Разве это не стоило четырех миллионов франков?!

Что же касается злословия дам, то это единственное, чем они могут себя утешить, бедняжки!

Маркиза хорошо помнила, что творилось в Париже, Вене и Лондоне, когда пронесся слух, что дрезденский музыкант и парфюмер Блонд разгадал секрет ее духов «Грезы Версаля».

Вся улица, на которой жил этот авантюрист, была заставлена экипажами. К нему ездили на поклон не только косметологи, аптекари и парфюмеры, но и светские дамы, которым не терпелось хоть в этом сравниться с мадам Помпадур.

Блонд не страдал скромностью, о нет!

«Метр Менотти,— вещал он,— открыл великую тайну запахов, которая для меня перестала быть тайной. Имя этой тайны — гармония. Если гармония звуков улаживает наш слух, то гармония запахов чарует наше обоняние. Букет духов — это симфония ароматов, состоящих из благоуханных аккордов». Блонд утверждал, что каждой из семи нот соответствуют строго определенные запахи: ноте «до» — ароматы розы; «ре» — сандала и бергамота; «ми» — вербены или акации; «фа» — бобровой струи, серой амбры, мускуса. «Соль» — это душистый горошек, сирень, флер д'оранж; «ля» — лаванда, толуанский бальзам; «си» — мята, корица, ночная фиалка или гвоздика.

Но то ли в музыке было все-таки слишком мало общего с парфюмерией, то ли Блонд оказался плохим композитором, но «гармонии запахов» у него не получилось. «Ноктюрн «Грезы Версаля» надежд не оправдал. Духи Блонда оказались жалкой копией шедевра, созданного Лоренцо Менотти. И во избежание неприятностей Блонд ночью покинул свой дом, не забыв, разумеется, захватить с собой деньги, полученные от легковых красавиц...

Мадам де Помпадур тогда очень смеялась.

Безудержно хохотала она и позднее, когда ей стало известно, что посланец некой австрийской герцогини пытался выведать у Лоренцо Менотти рецепты духов «Аромат тропического леса» и румян «Зори Эллады». Мадам де Помпадур верила в столь дорого оплачиваемую ею преданность своего парфюмера.

— Но уже давно известно,— сказал Василий Петрович,— что все предусмотреть нельзя. В этой старой истине пришлось как-то убедиться и мадам де Помпадур...

Я посмотрел на флакон, и мне показалось, что ангел на его хрустальной стенке лукаво подмигнул нам.

Но разве ангелы, играющие на арфе, могут подмигивать?..

\* \* \*

Луна с прилежанием подмастерья, который решил во что бы то ни стало выбиться в мастера, щедро серебрила темные воды Сены, крутые черепичные крыши с лесом каминных труб, башни собора Парижской богородицы и листья каштанов на старинных бульварах вдоль правого берега Сены.

Давно погас свет в окнах Тюильри. Погрузились в сонное оцепенение средневековый Марэ и изысканный Сен-Жермен.

Париж спал.

В это позднее время бодрствовали разве что городские стражники да алхимики в грязном и зловонном Сен-Марсо, которое парижане называли «предместьем страждущих».

Впрочем, беспокойно ворочавшийся на своей постели широкоплечий старик в ночном колпаке не был ни стражником, ни алхимиком, хотя он не хуже любого стражника охранял покой королевской фаворитки и знал многие тайны науки избранных. Недаром же к парфюмеру маркизы Помпадур, метру Менотти, любил заходить по вечерам длинный и худой, как жердь, мосье Каэтан, алхимик из Латинского квартала, снимавший комнату недалеко от церкви святой Сульпиции.

По глубокому убеждению Каэтана, метр был единственным порядочным человеком в этом новом Вавилоне, именуемом столицей Франции. По крайней мере, у него

не только можно было перехватить деньжат, но и потолковать о «магистерии философов» — философском камне, о великом алхимике всех времен Гебере и о дяде самого мосье Каэтана, графе Руджиеро, который наверняка нашел бы способ превращения презренной ртути в благородное золото, если бы ему не помешал погрязший в невежестве прусский король. По уверениям мосье Каэтана, его дядя оказался на виселице, украшенной мишурным золотом, как раз в тот момент, когда в его руках почти уже был секрет «магистерии философов». Если бы проклятый пруссак хоть на неделю отсрочил казнь, то превратился бы в самого богатого монарха Европы, а племяннику повешенного алхимика не пришлось бы теперь бедствовать в Париже. Что ни говорите, а терпение — величайшая человеческая добродетель. Но что смелят в добродетелях варвары пруссаки?! Ведь они внемлют не мудрости, а барабанному бою, и предпочитают божественному нектару знаний обычное пиво.

Вспомнив сетования Каэтана, Менотти усмехнулся и подоткнул под голову подушку.

Бедняга Каэтан, по его мнению, страдал не столько от опрометчивости короля, который, не дождавшись философского камня, приказал вздернуть алхимика, сколько из-за собственных заблуждений.

Разве золото можно делать только из ртути, свинца или меди? Золото можно делать из всего. Например, дедушка метра, Петро Менотти, спаси господи его грешную душу, умел превращать в чистое золото изобретенный им порошок, который в Венеции называли «порошком дьявола». Достаточно было растворить щепотку порошка в кубке вина, и выпивший кубок без боли и страданий мгновенно переселялся в лучший мир.

Никому не пришло в голову вешать, колесовать или топить Петро Менотти. Все понимали, что без такого сведущего человека республике не обойтись. И венецианский Совет Десяти назначил его главным государственным отравителем. На этом высоком и почетном посту он оказал немало услуг Венеции, избавляя ее от многочисленных врагов.

Благородным искусством превращения ядов в звонкое золото неплохо владел и сам метр. Но яды не были его «философским камнем». Метр предпочитал делать золото из духов, помад и румян. Умелые руки метра могли превратить дурнушку в неземную красавицу, заставить всех ка-

валеров Франции преклонить колени перед женщиной, которую они вчера не замечали.

Метр был всемогущ и богат. Косметика уже дала ему два миллиона франков.

Чем не «магистерия философов»?

Кто из великих алхимиков сделал за свою жизнь столько золота?

Нет, прусский король был неповинен в бедствиях нищего алхимика из Латинского квартала. Кажется, это стал понимать и сам мосье Каэтан. Недаром же последние дни он так заинтересовался наукой о запахах и красоте.

Метр Менотти закрыл глаза, но сон, который в эти часы полновластно царствовал во всех домах Парижа, к нему не приходил.

Проклятая бессонница!

Менотти спустил ноги с кровати, надел халат и зажег свечу. Шаркая по полу комнатными туфлями на толстой подошве, метр направился в свою лабораторию. Он всегда сюда приходил, когда его мучила бессонница.

Метр разжигал камин, садился в кресло и долго не мигая смотрел на длинный узкий стол, заставленный тиглями и ретортами из гессенской глины, штативами, в которых теснились бюретки, железными и фарфоровыми ступками, коническими колбами, воронками, пробирками и стеклянными баллонами для перегонки.

Кастаньятами танцовщиц щелкали пылающие дрова, надрывно гудело пламя в каминной трубе. В комнате постепенно становилось тепло, а затем и жарко.

Когда шея метра покрывалась потом, он открывал шкаф и доставал из него розовые «слезки» сиамского росного ладана, мекку-бальзам из далекой Аравии, греческий бурый опопанакс и прозрачный, как драгоценный камень, перуанский бальзам. Потом он бросал в камин пригоршню истолченных в порошок сухих листьев, лепестков и кореньев. Комната наполнялась запахами раскаленной огнедышащим солнцем пустыни, теплого, как парное молоко, океана, пряным ароматом орхидей и удушливыми испарениями спеленатого лианами непроходимого тропического леса.

Ветер запахов уносил метра за тысячи миль от Парижа.

Шелестели золотым песком волны прибоя. Пронзительно кричали обезьяны. Притаился, готовясь к прыж-

ку, леопард. В зеленом полумраке сладкой прели порхали огромные, невиданные в Европе бабочки.

Африка, Индия, Цейлон, Сиам, Ост-Индия...

И утомленный своими странствованиями метр засыпал.

Но в эту ночь парфюмеру маркизы Помпадур не суждено было уснуть...

Когда Менотти вошел в лабораторию, с кресла у камина поднялся человек в плаще и молча поклонился хозяину дома. Верхнюю половину лица незнакомца закрывала серая маска. Из-под плаща был виден кружевной воротник и расшитый золотом голубой камзол. Вдоль панталон, в полном соответствии с модой, спускались золотые цепочки с брелоками от двух пар часов. В ухе незнакомца переливалась парламунтом серьга с жемчужиной. Под плащом угадывались очертания шпаги.

Менотти протянул руку к колокольчику, чтобы позвать слугу, но ночной посетитель перехватил своими железными пальцами его запястье.

— Зачем, метр? — сказал он с иностранным акцентом. — Гастон слишком устал за день. Стоит ли без особой на то необходимости беспокоить его по ночам?

От незнакомца пахло мускусными духами, которые изготовлял в Мадриде Диего. Плохие духи. Они били по обонянию молотом, а молот приличествует лишь кузнецу.

«Испанец? — подумал Менотти. — Нет, не похоже. Испанцы носят серьги с изображением бабочек и стрекоз. Ганноверец? Нет. Ганноверец имеет такое же представление о духах, как обезьяна о рагу из зайчатины. Швед? Поляк? Голландец?»

— Духи мне подарил один испанский друг, — сказал незнакомец. — Они слишком резки и грубы, не правда ли? Но я не привык обижать друзей.

Менотти вздрогнул: уж слишком догадлив этот таинственный человек с жемчужиной в ухе, который, видимо, пробрался сюда через окно, выходящее в сад. Сколько раз метр говорил Гастону, чтобы тот починил ставень и привинтил крючок! Ставень скрипел и стучал от малейшего ветра. Но Гастон, как и все бургундцы, был слишком ленив и беззаботен. Недаром мосье Каэтан шутил, что и ставень и Гастон одинаково ветрены.

Метр потерял запястье и поморщился.

— Надеюсь, я не причинил вам боли? — заботливо спросил человек в маске, от внимания которого ничто не ускользало. — Это было бы ужасно!

— Кто вы?

— Ваш покорный слуга, метр, и поклонник вашего таланта.

— Мои поклонники приходят обычно днем, а главное — без маски.

— Увы, это было не в моей воле. Я слишком робок по натуре, — охотно объяснил незнакомец. — Как я мог нарушить ваш покой, когда вы священнодействовали в своей лаборатории? Нет, я бы никогда на это не решился. Сейчас же вас томит бессонница, и вы не прочь немного поболтать. Только это соображение и заставило меня преодолеть робость. Что же касается маски... Вы ведь любите прекрасное, метр, а моя внешность никогда не отличалась красотой...

— И все же я предпочел бы видеть ваше лицо, — резко сказал Менотти.

— Зачем? Что значит лицо? Это та же маска, которую природа надела на душу человека при его рождении.

У незнакомца были изысканные манеры и мягкий голос, но Менотти прекрасно понимал, что ни голос, ни манеры не помешают ему в случае необходимости воспользоваться шпагой, той самой шпагой, которая оттопыривает сзади его плащ. По рассказам, у дедушки метра, главного государственного отравителя Венеции Петро Менотти, голос тоже был слаще меда и мягче гусяного пуха, особенно в те минуты, когда он готов был угостить кого-то своим порошком...

— И давно вы тут?

— Нет, метр, вы не заставили себя ждать.

— Вы предполагали, что я приду ночью в лабораторию?

— Я в этом не сомневался.

— Ах, вон как! Но послушайте, мосье, вам не кажется, что сегодняшняя ночь может закончиться для вас Бастилией или Консьержери?

Незнакомец улыбнулся.

— Не беспокойтесь, метр. Этому помешает все та же робость: я никогда не решусь занять в каземате место, достойное более высокопоставленных лиц. Но мне бы не хотелось нарушать ваш обычный распорядок. Прикажете разжечь камин и достать благовония?

Человек в маске поднял над головой руку и щелкнул пальцами. В то же мгновение парфюмер маркизы Помпадур почувствовал запах дыма. Он обернулся — камин светился багровым светом. За узорчатой железной решеткой, кружась и извиваясь, бежали по поленьям огненные ящерицы.

Затем что-то скрипнуло. Это сами собой распахнулись кованые дверцы шкафа.

И вот уже на столе склянки с благовонными смолами и бальзамами — росный ладан, опопанакс, перуанский бальзам...

Менотти схватил колокольчик и стал неистово его трясти, но тот не издал ни звука.

Метр попытался что-то сказать, но губы его не слушались. Он тяжело опустился на сиденье стула.

Человек в маске небрежным движением руки смахнул со своего лица усы и остроконечную бородку.

— У парижских цирюльников тупые бритвы, — объяснил он, — приходится обходиться без их помощи. Извините, что занялся своим туалетом в вашем присутствии, но я, к сожалению, не только робок, но и забывчив. Уж столько лет хотел избавиться от растительности на лице, а все забываю. Да и недосуг: дела, дела, дела... Иной раз так закрутишься, что и не вспомнишь без посторонней помощи, какой город, какая страна, какой год... Итак, вы желаете увидеть меня без маски?

— Н-нет, — мотнул головой Менотти.

— Вот видите, — улыбнулся незнакомец, — теперь вы уже не хотите того, что хотели минуту назад. Желания людей так же переменчивы, как майский ветер. — Он потер пальцем верхнюю губу и, наткнувшись на вновь появившиеся неведомо откуда усы, брезгливо стер их ладонью. — Проклятая рассеянность! Если бы вы только знали, как она мне мешает! Вы, конечно, не поверите, но однажды я по рассеянности принял какого-то принца или маркграфа за пуделя и потрепал его за уши... Что тогда творилось! Даже вспомнить страшно. Но надо признать, что бедняга действительно смахивал на черного пуделя, хотя хвоста у него, как жется, не было. Однако визжал он по-собачьи, это я хорошо помню. Как будто даже пытался укусить меня за палец. Впрочем, нет. За палец меня хотел укусить не маркграф, а его пудель. Ну да, они стояли рядом, поэтому я и ошибся... Но о чем, простите, мы с вами разговаривали,

метр? Ах, да, о маске. Вы уже успели к ней привыкнуть точно так же, как к ней за прошедшие столетия привык я сам.

«Столетия?!» — мелькнуло в голове у Менотти.

— Да, столетия, — подтвердил ночной посетитель, словно читая его мысли. — Если мне память не изменяет, я с ней не расстанусь уже лет семьсот или что-то вроде того.

Большинство относилось к ней довольно терпимо. Но, признаться, не все, далеко не все. Например, этот рыжий... как его?... ну да, Ричард Львиное Сердце. Он ненавидел мою маску до рвоты. Почему? Не понимаю. Мы с ним познакомились на рынке, вернее, в Англии, которую он ухитрился превратить в рынок. Чтобы скопить немного денег на крестовый поход, рыжий оптом и в розницу распродал всем желающим государственные должности. Тогда каждый за умеренную плату мог стать королевским министром, святым или, на худой конец, епископом.

«Если бы нашелся покупатель, — говорил он, — я бы с удовольствием продал Лондон».

Лондон в то время был не слишком лакомым куском: теснота, сырость, пожары, чума, грязь. И все же я бы его купил. В нем был какой-то шарм.

Ричард торговался, как последний барышник. И не будь на мне этой маски, мы бы с ним ладили. А так он продал Вильгельму Шотландию, а Лондон сохранил за собой.

Шотландия, правда, пошла за бесценок, не дороже брюссельской капусты в базарный день, но недостающую сумму ему удалось добрать с министров и советников своего покойного отца. Все это знатное стадо рыжий согнал в тюрьму и потребовал выкупа. Уплатили...

Малосимпатичный король, хотя, помнится, неплохо разбирался в музыке и поэзии. Да и сам что-то сочинял — то ли стихи, то ли песни.

Хотя Менотти никак не мог разглядеть рога, хвост и копыта, он не сомневался в обоснованности своих подозрений.

Душу несчастного охватил ужас. Он попытался встать со стула, но не смог: ноги не слушались.

— Однако я заболтался и забыл про свои обязанности, — сказал ночной посетитель, и комнату тут же

заполнили ароматы далеких стран. Но на этот раз они не навевали привычных ночных грез. Нет, парфюмер не отправился в путешествие, подгоняемый ветром запахов. Он по-прежнему сидел на своем стуле, придавленный ужасом происходящего.

Не было ни золотого песка, ни безбрежного океана, ни тропических лесов. Лоренцо Менотти видел перед собой лишь сверкающие в прорезях маски огненные глаза страшного человека... Человека? Нет, дьявола, могущественного и коварного князя тьмы, от которого нет спасения ни в порошке Петро Менотти, главного государственного отравителя Венеции, ни в философском камне алхимика из Латинского квартала мосье Казтана.

Лоренцо Менотти тяжело дышал, со всхлипом втягивая в себя воздух. Он задыхался.

Ему казалось, что в его камине полыхают пламенем не дрова, а кипит и булькает зловонная сера. Синее пламя ада лизало своим жадным языком стены, потолок, уставленный пробирками стол.

Тяжелый густой дым забивал ноздри, першил в горле, застилал жгучими слезами глаза, острием кинжала вонзался в трепещущее сердце.

— Что с вами, метр, вам дурно? — словно издалека, донесся до Менотти ласковый голос.

Парфюмер с трудом раскрыл глаза и вдохнул в себя воздух.

Запах серы исчез. От незнакомца, как и раньше, пахло испанскими мускусными духами.

— Надеюсь, причиной вашего обморока были не мои воспоминания?

Менотти стремительно вскинул дрожащую руку и трижды перекрестил своего мучителя. Но тот не исчез. Нет. Он только весело расхохотался, и от его хохота мелодично зазвенели на столе склянки.

— Неужто вы могли предположить, что я испугаюсь святого креста? За прошедшие столетия я так же к нему привык, как люди привыкают к клопам или, простите, блохам — неприятно, но терпимо. Разве лишь слегка зудит... — Ночной посетитель стыдливо почесался под камзолом.

— Изыди! — крикнул Менотти.

— Ну, зачем же так громко? Успокойтесь, метр, успокойтесь. Так вы разбудите Гастона, а ему, согла-

ситесь, надо отоспаться. Не хотите ли лучше понюшку табаку? Табак очень успокаивает.

Ночной посетитель достал из кармана камзола серебряную табакерку и подбросил ее вверх. Вместо того чтобы упасть на пол, табакерка плавно опустилась на стол и лягушкой запрыгала к парфюмеру.

Волосы на голове Менотти зашевелились.

— Угощайтесь, мосье, — проквакала табакерка, звонко щелкнув крышкой.

— Угощайтесь, — поддержал табакерку ночной посетитель. — Смеем вас уверить, что это лучший нюхательный табак в Париже.

— Изыди! — простонал парфюмер.

— Однако вы просто невежливы, — удивился ночной посетитель. — Хотя тот рыжий король, о котором я вам рассказывал, — опять забыл его имя! — был порядочным грубияном, но и он выбирал выражения. А ведь ему очень хотелось втридорога всучить мне свой отсыревший Лондон. Вы, конечно, не король, метр, но...

— Невежа! — громко квакнула табакерка и возмущенно застучала крышкой.

— Изыди... — прошептал парфюмер.

— Хорошо, хорошо, метр, — успокаивающе сказал незванный гость. — Только не волнуйтесь. Вам вредно волноваться. Я готов выполнить любое ваше желание. Но услуга за услугу...

— Тебе нужна моя душа? — прохрипел Менотти.

— О нет, метр, не беспокойтесь. Вашу душу я охотно уступлю всевышнему. Я уже давно не коллекционирую душ. Приелось.

— Что же тебе от меня нужно?

— Суший пустяк, метр.

— Что?

— Рецепт «Весеннего луга» и флаконы с этими очаровательными новыми духами, которые вы уже приготовили для блистательной мадам.

— Ты ими будешь кропить ад?

— Нет, мосье, в аду по-прежнему обходятся серой. Надеюсь, моя скромная просьба вас не очень затруднит?

— И ты тотчас же исчезнешь?

— Конечно.

— И больше никогда не будешь сюда приходить?

— Готов поклясться адом, мосье!

Менотти вновь почувствовал запах серы, густой, тя-

желый, удушливый. Фигура незнакомца теряла свои очертания, расплывалась, превращаясь в зловонное облако дыма. Чья-то рука все сильнее и сильнее сжимала сердце парфюмера, безжалостно выдавливая из него кровь. Менотти задыхался.

— Надеюсь, у вас нет никаких возражений, метр?

— Я... с-согласен,— заикаясь прошептал Менотти и, дернувшись всем телом, медленно стал валиться со стула.

— Метр! Что с вами, метр?!

Но, увы, парфюмер маркизы Помпадур уже не слышал этих восклицаний своего мучителя: он был мертв...

Скрипнул ставень. В окно неловко пролез долговязый мосье Каэтан и склонился над телом Менотти:

— Умер...

Человек в маске поднял руку Менотти. Она была тяжелой и безжизненной.

— Кажется, вы правы, черт побери!

— Вы его убили, мосье,— сказал алхимик.

— Его убил не я, а страх,— возразил незнакомец.— Откуда я мог знать, что у старика такое слабое сердце! Досадно, очень досадно... Но свои двадцать тысяч ливров вы все равно получите. А такая сумма может утешить в любом горе. Но скажите мне, где Менотти обычно хранил готовые духи?

— Не знаю,— тихо сказал алхимик.

— Вы шутите?

— Нет, я плачу, мосье. Я оплакиваю единственного человека в Париже, который ко мне хорошо относился и которого я так подло предал.

— Это вы не опоздаете сделать и завтра,— сказал незнакомец.— А сейчас все-таки попытайтесь припомнить, где покойный прятал флаконы с духами. Тысячу ливров за каждый найденный флакон! Вы слышите меня, Каэтан?

Но мосье Каэтан даже не повернул в его сторону головы. Он неподвижно стоял над телом парфюмера, и по его морщинистым щекам текли слезы. Алхимик из Латинского квартала оплакивал так неожиданно умершего Менотти, повешенного по приказу прусского короля блистательного графа Руджиеро и свою несчастную жизнь в этом богом проклятом городе, где никак нельзя заработать честным путем столь необходимые ему для опытов деньги...

\* \* \*

— А теперь,— сказал Василий Петрович,— предоставим ночным посетителям продолжать свои розыски в доме парфюмера, а сами посетим «скромную хижину» мадам Помпадур — так она именovala свой загородный дворец Бельвю. Именно в Бельвю и будут развиваться дальнейшие события.

\* \* \*

Некто по имени Жюль Сури писал о Помпадур: «Ее лицо, очень подвижное, изменялось постоянно от цвета платья, прически... времени дня. Она казалась совсем иной при свете люстры, чем при дневном свете. Короче сказать, у нее не было определенных черт и определенной физиономии».

— Если к этому добавить разнообразные наряды, мощный арсенал косметики и незаурядные артистические способности,— сказал Василий Петрович,— то легко понять, почему так противоречивы высказывания о внешности маркизы ее современников и современниц.

Для одних мадам Помпадур была вульгарной дочерью лакея, для других — очаровательной золотошвейкой, для третьих — надменной светской дамой. И каждый из них был прав: маркиза беспрерывно меняла платья, грим, лицо, фигуру и манеру держаться.

Разнообразие ролей, которые сыграла в своей жизни фаворитка короля, могла бы позавидовать любая актриса «Комеди Франсез».

Но по утрам Помпадур всегда избирала роль крестьянки. За несколько минут перед зеркалом щеки маркизы покрывались загаром, и, весело стуча деревянными башмаками, она отправлялась в коровник. Впрочем, это помещение только с большой натяжкой можно называть коровником. Скорей, это было что-то вроде роскошного загородного дворца, предназначенного для отдыха и развлечений коров маркизы. Пол здесь был выложен мраморными плитками, а стены украшали пейзажи самых модных французских художников. Фарфоровые же подойники, которыми пользовалась мадам Помпадур, изготовлялись в знаменитом Севре. Да и коровы мало чем напоминали обычных. И если они, подобно своим соплеменницам, давали все-таки молоко, то только в силу природной

доброжелательности и личного уважения к мадам де Помпадур.

Затем маркиза посещала птичник. Здесь тоже все радовало глаз. Овальный голубой пруд с руанскими утками и тулузскими гусями, усаженный аккуратно подстриженными кустами двор, фарфоровые клетки, где томились сонной одурью раскормленные кохинхинки.

Смотритель птичьего двора церемонно подносил мадам серебряное блюдо с катышками замешанного на молоке теста.

Это был завтрак сидящих в клетках каплунов, которые предназначались для королевского стола.

«Христианнейший король» был совсем не дурак поесть. Аппетит вместе с Францией достался ему по наследству. Дедушка покровителя маркизы — Король-солнце съедал за один присест четыре полные тарелки супа, целого фазана, фаршированного грибами, жирную куропатку, солидную порцию салата, несколько ломтей ветчины и, ощущая легкий голод, заедал все это овощами и вареньем.

Продолжая семейные традиции, Людовик XV отдавал должное жареным каплунам, которых специально для него откармливала маркиза, и «королевскому бульону». На приготовление трех чашек такого бульона требовалось 60 фунтов отборного мяса.

Таким образом, добрый король не только думал за своих подданных, но и со свойственным королям великодушием ел за них, не жалея желудка.

Накормив каплунов, мадам с помощью смотрителя птичника добавляла в корм курам-несушкам имбирь, кайенский перец, горчицу и вымоченный в вине хлеб. Теперь она могла быть спокойна: ее куры будут нестись с королевской щедростью.

Затем она небрежно прощалась с воинственным и глупым петухом Фрицем, названным так в честь прусского короля Фридриха (Помпадур не забыла эпиграмму, которую посвятил ей этот мальчишка), и, пробегая мимо коровника, приветствовала волоокую Марию-Терезию (чем не австрийская императрица? Разве что немного изящней...)

Затем она сбрасывала с ног деревянные башмаки, а вместе с ними и все заботы по хозяйству.

Доярка и птичница вновь превращалась в первую даму во Французском королевстве и великом царстве Косметики.

Коров, фазанов, цесарок, уток, петухов и кур сменяли

флаконы, кисточки, щетки, баночки, коробки, зеркала, гребенки. С их помощью маркиза могла воскресить натурщицу Праксителя и Апеллеса прекрасную Фрину, бесподобную Аспасию, чей салон так любил посещать Сократ и из-за которой, по преданию, разгорелась Пелопоннесская война, или восхитительную Лаису, которую фессалийские женщины убили из зависти к ее красоте в храме Афродиты. Все зависело лишь от платья, косметики и каприза мадам.

В то утро Помпадур вспомнила о великом Рубенсе и его жене Елене Фурман. Рубенс считал, что «туловище женщины не должно быть ни слишком худым и тонким, ни слишком полным и жирным, а только умеренно полным, подобно античным образцам». Что же касается цвета, то художник отстаивал белый, слегка окрашенный в розоватый тон — «смесь лилии с розой». «Одним словом, — заключал влюбленный в очаровательную жену живописец, — в женской фигуре следует обращать внимание на то, чтобы черты, контуры, мускулы, манера ходить, стоять, садиться, все движения, все позы, все действия были бы так изображены, так переданы, чтобы ничто в ней не напоминало мужчину. Она должна быть круглая, нежная и гибкая и представлять совершенный контраст с мужеством и силой мужской фигуры».

Живописец предусмотрел все, кроме духов: запах духов, видно, нельзя передать кистью. Но если бы Рубенс был знаком с шедеврами Лоренцо Менотти, он бы, наверное, все-таки дополнил свой трактат несколькими фразами о духах. На этом бы настояла Елена Фурман, которая, насколько было известно маркизе, не чуждалась косметики и парфюмерии.

Преображаясь в идеал Рубенса, то есть в Елену Фурман, маркиза одновременно внимательно слушала стоявшего за ее спиной маленького хлипкого человечка с перебитым носом (утверждали, что нос ему прищемили дверью, когда он его совал куда не положено).

Человечек возглавлял тайную полицию маркизы. Это был всезнающий и всеведущий проныра, от которого ничто не могло укрыться. Его утренний доклад занимал не более получаса. Но за эти полчаса маркиза обогащалась самыми разнообразными сведениями. Она узнавала раньше короля о волнениях черни в Париже, об интригах Англии, о фасонах тех пятидесяти платьев, которые тайно заказала во Франции русская императрица Елизавета Петровна,



о воинственных намерениях Фридриха II и о модах во Флоренции...

— Мосье Менотти уже прибыл в Бельвю? — спросила Помпадур, закончив накладывать китайскую тушь на ресницы (чем не Елена Фурман?).

Человечек с перебитым носом замаялся: он любил сообщать только приятные новости.

— Я очень сожалею, мадам...

Помпадур, а теперь уже почти Елена Фурман резко повернулась, сбросив со столика баночку румян «смесь лилии с розой».

— Что-нибудь случилось?

— Увы, мадам. Мосье Менотти уже больше никогда не сможет делать вам свои благоухающие сюрпризы. Его душа уже предстала перед престолом всевышнего. Нам остается лишь скорбеть и молиться.

Маркиза вскочила с кресла.

— Говорите толком, болван! — крикнула она, сразу же превратившись в дочь лакея, которая не привыкла стесняться в выражениях. — Не забывайте, что я оплачиваю каждое ваше слово!

— Вы очень щедры, мадам, — смиренно поклонился человечек. — Но дело в том, что обстоятельства смерти метра еще не совсем выяснены. На его теле нет ран, но, как известно, яд следов не оставляет...

— Его отравили?

— Не знаю.

— А что вы знаете, черт вас побери?!

— Только то, — невозмутимо продолжал человечек, — что полицейский чиновник, который осматривал дом мосье Менотти, считает, что там ночью кто-то побывал. Он утверждает, что в комнатах все перевернуто вверх дном, а окно из лаборатории в сад распахнуто настежь. Он допрашивал слугу покойного, и тот сказал, что под утро слышал какой-то шум. Гастон — так зовут слугу — считает, что...

— Духи! — взвизгнула Помпадур и запустила пудреницей в голову человечка. — Где новые духи Менотти?!

— Здесь. Все пять флаконов уже привезены в Бельвю, — успокоил свою повелительницу человечек с перебитым носом и поднял с ковра пудреницу.

— «Весенний луг»?

— Разумеется, — подтвердил человечек, понимая, что гроза пронеслась. — Я осмелился вынуть на мгновение

пробку из одного флакона... У меня не хватает слов, мадам, чтобы передать свои ощущения. Это запах рая. Метр был великим парфюмером.

— Да, у него не было соперников, — скорбно согласилась маркиза и посмотрела на себя в зеркало: конечно же, Елена Фурман...

Помпадур хотелось плакать. Покойный метр был достоин того, чтобы его кончину оплакала первая дама Франции. И маркиза наверняка бы заплакала, если бы вовремя не вспомнила про тушь на ресницах. Китайская тушь совсем не выносила влаги. То ли китайки никогда не плакали, то ли не красили ресниц — это для маркизы было загадкой.

Помпадур раскрыла несессер, где в гнездах лежали пять хрустальных флаконов с остроконечными пробками и музицирующими ангелами.

Как жаль, что она не может заплакать!

— Осмелюсь вас предостеречь, мадам, — сказал человечек с перебитым носом.

Маркиза подняла на него глаза.

— Пока полиция не арестовала людей, которые ночью пробрались в дом метра, видимо, следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Я думаю, они искали духи.

— Думаете?

— Я в этом уверен.

— Приятно, что вы хоть в чем-то уверены. Но что из этого следует?

Человечек развел руками.

— Вы опасаетесь, что преступники могут проникнуть в Бельвю? — расхохоталась Помпадур. — Я была бы рада: ведь для них это самая короткая дорога в Бастилию. Боюсь лишь, что они не так глупы, как вы, мосье. Нет, здесь они, к сожалению, не появятся.

— Все во власти бога... и дьявола, мадам. Стоит ли искушать судьбу?

— Ну что ж, чтобы доставить вам удовольствие, я постараюсь ни на минуту не расставаться с этими флаконами, — согласилась Помпадур.

— Благодарю вас, мадам, — поклонился человечек и стал задом пятиться к двери — так по придворному этикету полагалось покидать королевские апартаменты. Правда, Помпадур не была королевой, но почему бы и не польстить фаворитке? Лесть — единственное блюдо, ко-

торое все любят: и короли и башмачники. Оно не приедается и от него никогда не бывает изжоги или несварения желудка.

Хорошего вам аппетита, мадам!

— Минуту, мосье,— остановила человечка маркиза.— Как вы думаете, понравился бы «Весенний луг» Елене Фурман?

— Простите, мадам?..— изогнулся он вопросительным знаком.

— Елене Фурман, жене Рубенса.

Мосье Рубенса человечек с перебитым носом не знал. Досье на этого господина в его картотеке не было. Об этом он точно помнил. И тайные агенты ничего ему про Рубенса не сообщали.

Но разве можно рисковать своей репутацией всезнающего полицейского!

— Мадам, рад буду завтра же сообщить вам об этом со всеми подробностями в своем утреннем докладе. Но я и сейчас ни капли не сомневаюсь, что, узнав про «Весенний луг», мадам Рубенс умрет от зависти.

— Умрет?

— Конечно, мадам.

— Но она уже умерла,— вздохнула Помпадур.

Человечек с перебитым носом был обескуражен. Подобной подлости от мадам Рубенс он не ожидал.

— Мои агенты мне об этом не сообщали,— признался он.— Видимо, это произошло совсем недавно?

— Да, всего сто лет назад,— одарила его одной из своих самых ослепительных улыбок мадам Помпадур.

Так начался этот неудачный день.

Смерть Менотти была для маркизы, конечно, ударом. Но Помпадур не привыкла падать духом. Она никогда не печалилась о прошедшем. Ведь печаль портит цвет лица и оставляет морщины.

Поэтому маркиза не вспоминала о загадочной смерти своего парфюмера ни во время приема послов, которые, посетив Версаль, приехали в Белью, ни позднее, когда наслаждалась чудесами «профессора черной и белой магии, астролога его светлости князя Лимбур-Гольштейнского, кавалера орденов святого Филиппа, Белого слона и Золотого тигра» несравненного Фальери.

Мадам де Помпадур всю жизнь любила чудеса, полагая, что они сродни не только косметике и портняжескому искусству, но и политике. А «профессор черной и белой

магии», который перед этим успешно выступал в Дебеллинском театре в Берлине, обещал многое.

Красочные афиши Фальери возвещали о говорящей собаке-оборотне, постигшей все тайны земли и неба, о поющем на английском, итальянском и французском языках фазане, о танцующих вещах и призраках великих людей.

Каждый посетивший сеанс магии мог не только увидеть римского императора Нерона, Шекспира, кардинала Ришелье или Рафаэля, но и побеседовать с ними. Вызванные Фальери призраки были довольно общительны и охотно отвечали на все вопросы зрителей. Правда, вели они себя не всегда прилично. Так, например, Мария Стюарт, рассердившись на что-то, швырнула свою отрубленную голову в одну из зрительниц, испачкав кровью платье из шелка. Но чаще всего призраки повиновались Фальери. «Профессор черной и белой магии» обладал над всем и вся неограниченной властью.

Человечек с перебитым носом рассказывал маркизе, что, когда в лондонском «Хеймаркет-театре» Фальери вызвал дух грозного Кромвеля, офицер королевской гвардии выстрелил в мага из пистолета. Публика застыла от ужаса. Но Фальери успел перехватить пулю в воздухе.

«Жаль, что таких магов слишком мало и из них нельзя набрать войска,— сказала с улыбкой Помпадур.— Армия его величества стала бы непобедимой, особенно если бы маги заодно научились еще ловить и пушечные ядра».

«Профессор магии» и его помощник, лицо которого закрывала серая маска, полностью оправдали ожидания маркизы.

Вечер начался с того, что по предложению Фальери четыре дворянина, сидящие в зале, разрядили свои пистолеты в «профессора магии» и человека в маске.

Когда пороховой дым рассеялся, все могли убедиться, что оба невредимы. Хотя про искусство мага ловить пули было уже хорошо известно, это все-таки произвело впечатление.

Фальери хотел было перейти к следующему номеру, но его остановил шевалье д'Алонсо, известный дуэлянт, который считался лучшим стрелком Франции.

— Кто-то вынул пулю из моего пистолета! — крикнул он.— Я хочу повторить выстрел.

Помпадур, желавшая досмотреть представление до конца, попыталась отговорить шевалье от его рискованного намерения, намекнув, что никто не помешает ему доказать свою меткость сразу же после завершения сеанса

магии. Но человек в маске заверил маркизу, что он к услугам обиженного мосье и ничего не имеет против вторичного выстрела.

Д'Алонсо выбрал пулю, опустил ее в дуло пистолета, забил пыж и насыпал на полку порох.

— Надеюсь, вы не хотите убить мосье? — снова вмешалась Помпадур.

— Разумеется, нет, но я вынужден это сделать, — отпарировал шевалье. — На карту поставлена моя честь.

Прогремел выстрел, и мадам Помпадур невольно зажмурила глаза, а когда она их открыла, то увидела, что живой и невредимый помощник Фальери держит в зубах пулю...

— Надеюсь, вы теперь удовлетворены, мосье?..

— Дьявол! — крикнул шевалье и отшвырнул дымящийся пистолет.

— Вы мне просто льстите, — улыбнулся человек в маске. — Я всего-навсего жалкий подмастерье великого мастера, против которого бессилён не только свинец, но и огонь.

Действительно, в то время как д'Алонсо целился в помощника Фальери, четыре негрятенка в белых одеждах разложили у ног «профессора магии» костер.

Огонь и дым окутали тело мага, но он улыбался.

Взрыв — и пламя погасло, а сверху на обоих волшебников обрушился ливень золотых монет.

— Из этого мага может получиться не только бравый офицер, но и неплохой министр финансов, — сказала Помпадур.

Повинуясь взмаху руки Фальери, сцена превратилась в апельсиновый сад. Весна сменялась летом, лето — осенью. Распускались листья и цветы, порхали бабочки, гнулись под тяжестью плодов ветви деревьев. Поймав где-то в воздухе серебряное блюдо, Фальери сорвал с ветки несколько апельсинов и галантно преподнес их маркизе.

Одно чудо сменялось другим.

Грациозно танцевали стулья, пел арии из опер фазан, оживали каменные статуэтки, а собака-оборотень мило рассказывала поучительные истории.

А потом началось то, чего все ждали с таким нетерпением. В клубах густого дыма стали появляться призраки.

Первым был римский император Калигула. Он сидел верхом на своей лошади, которая удостоилась чести попасть во все учебники истории. Конь императора был

строен, красив и величествен. И мадам Помпадур подумала, что Калигула, видимо, был прав, назначив этого великолепного жеребца вначале жрецом храма, а затем и римским консулом. Конь с такой благородной внешностью мог бы сделать карьеру при любом европейском дворе. Что же касается самого Калигулы, то он напрасно претендовал на то, чтобы его почитали как бога, когда он появлялся в храме Кастора и Поллукса в виде Вакха, Аполлона или Юпитера. Подобную физиономию нельзя облагородить даже современной косметикой.

Калигула отказался отвечать на вопросы присутствующих, пригрозив, что прикажет бросить наиболее надоедливых на растерзание диким зверям.

Более покладистыми оказались призраки Карла Смелого Бургундского, вспомнившего о своей давней расправе с Людовиком XI, и знаменитого провансальского трубадура Бертрана де Борна, чьи песни вдохновляли рыцарей на подвиги.

А затем по желанию мадам Помпадур профессор Фальери вызвал призрак Лоренцо Менотти. И вот он появился, в халате и ночном колпаке.

Как и при жизни, лицо метра было угрюмым и мало-подвижным. Он окинул присутствующих своим суровым взглядом и едва слышно спросил у маркизы, привезли ли ей флаконы с «Весенним лугом».

— Не беспокойтесь, метр, — сказала польщенная вниманием призрака Помпадур, — ваши духи не пропали. Это прекрасные духи.

— Где они?

Помпадур показала на несессер, который держала на коленях ее камеристка.

Менотти вздохнул, протянул в сторону маркизы свою тонкую, прозрачную руку, через которую, как через стекло, можно было увидеть человека в маске, и шевельнул бестелесными пальцами.

— Метр хочет убедиться в том, что это те самые духи, которые он изготовил накануне своей смерти, — объяснил помощник Фальери.

— Ах, вон что! Ну что ж...

— Если мадам позволит... — Человек в маске взял у камеристки Помпадур несессер, раскрыл его и поднес к глазам призрака.

— Да, это «Весенний луг», — подтвердил с облегчением Менотти.

В то же мгновение раздался какой-то странный скрежет, и призрак, а вместе с ним и несессер, исчезли в густой струе фиолетового дыма.

— Несессер! — вскрикнула Помпадур, вскакивая со своего места.

Поднялся с кресла и человек с перебитым носом, а д'Алонсо, уже не рассчитывая на пистолеты, выхватил шпагу.

Но человек в маске лишь поднял вверх руку.

— Не беспокойтесь, мадам, — сказал он. — Несессер у вашей камеристки.

Действительно, несессер с драгоценными флаконами каким-то таинственным образом вновь оказался на коленях девушки. Растерявшийся было во время переполоха Фальери выдал на своем побледневшем лице улыбку.

— Метр убедился в подлинности духов, — объяснил он маркизе, — и счел свою миссию оконченной. Но если мадам пожелает, я вновь могу вызвать его дух...

— Не надо, — поспешно сказала Помпадур.

— Как вам угодно, — поклонился Фальери. — Может быть, вы хотите побеседовать с Аристотелем?

— Нет.

— С Платоном, Сократом, Пифагором?

— Хватит призраков, — решительно сказала Помпадур.

— Как будет угодно мадам, — вновь поклонился «профессор магии» и опасливо покосился в сторону д'Алонсо, который с мрачным видом сжимал эфес своей шпаги.

Человек в маске взмахнул платком, и дым рассеялся.

Сцену заполнили щебечущие птицы, а большой пестрый попугай подлетел к маркизе и преподнес ей букет хризантем.

На этом представление закончилось, и фокусники, покинув Бельвю, уехали в Париж.

А на следующий день утром, когда мадам Помпадур достала из несессера покойного Лоренцо Менотти флакон с духами, она не увидела на нем ангела, играющего на арфе. Не было его и на остальных флаконах. Маркиза поспешно выдернула пробку — в будуаре запахло испанскими мускусными духами.

Все флаконы были подменены...

Фальери проклинал тот день и час, когда ему пришла в голову мысль посетить Францию.

Беднягу подняли с постели и, не дав одеться, увезли

в карете с зашторенными окнами в Бастилию, где поместил в самый сырой и зловонный каземат.

— Вас может отсюда вызволить только ваше искусство или чистосердечное признание, — объяснил ему тщедушный человек с перебитым носом, которого несчастный маг видел во время своего триумфа в Бельвю.

На магию Фальери не надеялся: его фокусы все-таки были иллюзией, а Бастилия — реальностью.

Увы, перед стенами тюрьмы магия бессильна.

Что же касается признания, то у него никаких возражений не было. Он готов был покаяться и молить у маркизы прощения. Но в чем ему признаваться?

«Всемогущий» Фальери плакал, клялся, бился головой о стену.

Возможно, он так и сгинул бы в неизвестности, если бы в полицию не пришел терзаемый раскаянием мосье Казтан.

На допросе алхимик поведал о том, как к нему явился неизвестный и пообещал большие деньги за то, чтобы Казтан помог ему проникнуть в дом метра. Незнакомец заверил, что не причинит Менотти никакого вреда, а получилось иначе...

Казтан подробно рассказал обо всех обстоятельствах смерти парфюмера и неудачной попытке найти духи.

«Возьмите эти деньги, — сказал он. — Они жгут мне руки. Деньги за предательство никогда не приносят счастья».

По описанию алхимика, неизвестный очень походил на помощника Фальери. Поэтому в гостиницу «Капризная Жанна», где тот остановился, немедленно отправилось четверо полицейских. Но их ждало разочарование. Хозяин гостиницы сказал, что помощник Фальери сразу же по возвращении в Париж из Бельвю поспешно рассчитался за комнату и приказал своему слуге собирать вещи. Куда мосье уехал, хозяин не знал.

Кто же этот человек в серой маске?

Когда Фальери назвал его имя, многое стало проясняться.

Человека в маске звали Блондом. Это был тот самый дрезденский музыкант и парфюмер, который некогда распространил слух о том, что раскрыл секрет духов «Грезы Версаля».

— Мерзавец! Какой мерзавец! — рыдал Фальери. — Я подобрал его в жалком трактире, когда ему нечем было расплатиться за постой. Я научил его магии. Я любил его, как родного сына. И вот, вот она, благодарность!

Человечек с перебитым носом доложил о результатах расследования маркизе, которая на этот раз была уже византийской императрицей Феодорой.

«Императрица Феодора» молча его выслушала, а затем ласково спросила, есть ли в Бастилии свободный каземат.

— Для тех, кто имел неосторожность вызвать неудовольствие маркизы, там всегда найдется место,— заверил ее человечек.

— Вот и чудесно,— еще ласковей сказала Помпадур.— Теперь я знаю, где смогу вас увидеть, если Blond не будет доставлен в Бельвю живым или мертвым.

— Я сам явлюсь в Бастилию, мадам, если не смогу выполнить вашу волю,— поклонился человечек.

Через день труп Blond был привезен в Бельвю.

Blondу не удалось воспользоваться плодами своей ловкости и хитроумия. В одном из постоянных дворов в полутора лье от границы его убил и ограбил собственный слуга.

Таким образом, Лоренцо Менотти, мадам Помпадур и маг Фальери были отомщены: судьба жестоко покарала пройдоху. Но, к сожалению, она не позаботилась о том, чтобы вернуть маркизе духи.

Все попытки разыскать бесценные флаконы закончились безуспешно. Они как в воду канули. И первой даме в благоухающем царстве Косметики пришлось с этим примириться.

\* \* \*

— Заговоры, интриги, войны...— сказал Василий Петрович.— Как видите, история косметики была отнюдь не безоблачной. В ней были свои Наполеоны, свои Фуше и Талейраны, а к запаху духов нередко примешивался и запах крови... Но вернемся к нашим флаконам. Как вы, конечно, помните, в несессере их было пять. Куда девались три из них, неизвестно. Что же касается остальных двух, то утверждали, что их приобрела жена любимца саксонского курфюрста Августа III графиня Брюль, урожденная Коловрат-Краковская. Август III известен лишь тем, что дважды бежал из собственной страны, спасаясь от прусского короля Фридриха II. А его министр Генрих Брюль прославился только своим тщеславием, жадностью и умением разбираться в винах. Но графиня Коловрат-Краковская, оспаривавшая у мадам Помпадур звание первой

дамы царства Косметики и Парфюмерии, была не только общепризнанной красавицей Польши и Саксонии. Графиня никогда не забывала, что ее предок, Владислав Краковский, был знаменитым астрологом, календарь которого знала некогда вся Европа. Поэтому графиня считала своим долгом покровительствовать ученым. Разумеется, при ней процветали не только астрологи, но и парфюмеры. А если быть до конца откровенным, то придется признаться, что парфюмерия графине обязана больше, чем астрология.

В отличие от Помпадур жена Брюля охотно делилась своими косметическими секретами с дрезденскими придворными дамами. Но чтобы делиться секретами, надо их знать. Поэтому, став обладательницей знаменитых духов, она пригласила к себе во дворец десять лучших аптекарей, алхимиков и парфюмеров Дрездена. Тому из них, кто раскроет секрет Менотти, было обещано солидное вознаграждение, настолько солидное, что графиня ни на минуту не сомневалась в успехе. И действительно, через некоторое время вместо отданного на исследование флакона графиня получила девять. Все девять напоминали своим ароматом «Весенний луг», но, как вскоре Коловрат-Краковская убедилась, ни один из них не был «Весенним лугом»... И тогда, как гласит легенда, графиня вспомнила про десятого парфюмера, того, кто отказался участвовать в состязании. Как раз на него графиня возлагала наибольшие надежды: это был самый опытный парфюмер, духи которого высоко ценились в Дрездене и Варшаве.

— Похоже на то, что вы не нуждаетесь в деньгах, метр?

— Разве есть люди, которые в них не нуждаются? — возразил парфюмер.

— Вы не смогли определить составные части «Весеннего луга»?

— В него входят спиртовые вытяжки из помад фиалок, акаций, жасмина и роз. Тинктура же приготовлена из серой амбры, сибирской бобровой струи, сиамского росного ладана и листьев пачули.

— Так где же флакон с вашим «Весенним лугом»?

— Его нет и не будет.

— Но почему? — удивилась Коловрат-Краковская.

— Видите ли, графиня,— сказал старый парфюмер,— я знал некоего живописца, картины которого ныне украшают стены многих дворцов. Это был преуспевающий художник, но он умер в нищете. Никто, кроме меня, не знал, куда исчезли заработанные им деньги. Между тем

нищим его сделало неумное тщеславие. Он всю свою жизнь приобретал шедевры мирового искусства. Нет, не для того, чтобы преклонить колени перед творениями великих гениев. Он хотел вырвать у времени тайну их мастерства. По ночам он слой за слоем соскабливал краски с бесценных полотен Тициана, Рафаэля, Рембрандта... Он губил полотна великих мастеров, чтобы самому превратиться в великого мастера.

— И что же? — спросила Коловрат-Краковская.

— Через какое-то время он познал все тайны техники и секреты красок. Он узнал все, но так и не стал ни Тицианом, ни Рафаэлем. Он умер, как и жил, обычным модным живописцем. И поверьте, графиня, умирать ему было тяжело. Потому-то я и не взялся за эту работу. Я знаю все составные части «Весеннего луга», но разве это что-нибудь значит? Для того чтобы создать точно такие же духи, а не их жалкую копию, нужно быть метром Менотти.

— Видимо, графиня была разумной женщиной, — заключил Василий Петрович. — Во всяком случае, говорят, что она больше никогда не пыталась раскрыть секрет «Весеннего луга».

А этот флакон, один из тех легендарных пяти, я приобрел в антикварном магазине в Дрездене. Для продавца это был обычный, ничем не примечательный флакон времен Людовика XV. Действительно, сам по себе он не заслуживает внимания. Флакон как флакон. Им бы, пожалуй, даже не заинтересовались и наши любители хрусталя. Хрусталь-то не из первосортных...

Не обращая на нас внимания, вырезанный на флаконе ангел продолжал усердно музицировать на арфе.

Судя по его безразличной физиономии, его совсем не занимала эта давняя история, свидетелем которой он некогда был. «Грезы Версаля», «Весенний луг» или «Шипр» — не все ли равно? Не задело его и замечание Василия Петровича о качестве хрусталя. Ангел не хотел ни во что вмешиваться, предпочитая роль стороннего наблюдателя.

Что ему косметика и парфюмерия, метр Менотти, Блонд, мадам Помпадур, графиня Коловрат-Краковская, маг Фальери и мосье Кэтан?

Суета сует...

— И больше никто не пытался разгадать секреты Менотти? — спросил я Василия Петровича.

— Не знаю. Но разве это так уж существенно?

— Пожалуй, нет.

Я машинально вынул из флакона остроконечную гра-  
неную пробку...

Нет, мне не почудилось. Я явственно ощущал запах настоянных на солнце роз, фиалок и жасмина.

— «Весенний луг»?!

— Нет, — улыбнулся Василий Петрович, — создать духи, которые сохранили бы свой аромат двести лет, не мог даже Лоренцо Менотти.

— Но запах?

— Это запах истории, голубчик. Истории свойственен свой аромат, особенно если это история парфюмерии...

## О Г Л А В Л Е Н И Е

ПЕЧАТЬ И КОЛОКОЛ . . . . .	5
СЕРДЦЕ МАРАТА . . . . .	54
ТАЛИСМАН . . . . .	92
ПОЯС ЗОЛОТ . . . . .	125
ПОРТРЕТ . . . . .	164
КОГДА АНГЕЛ ИГРАЕТ НА АРФЕ... . . . .	209

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО  
ВОЗРАСТА

Юрий Михайлович Кларфв

### ПЕЧАТЬ И КОЛОКОЛ

*(Рассказы старого антиквара)*

ИБ № 5447

Ответственный редактор *В. С. Мальт*  
Художественный редактор *Н. Э. Левинская*  
Технический редактор *М. В. Гагарина*

Корректоры *Г. Ю. Жильцова и Э. Н. Сизова*

Сдано в набор 26.10.80. Подписано к печати 23.02.81. А06953.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. тип. № 2. Шрифт латинский. Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отг. 13,02. Уч.-изд. л. 13,33. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2480. Цена 65 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушёвский вал, 49.

Отпечатано с фотополномерных форм «Целлофот»



